Два взгляда из-за рубежа

Андре Жид

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ СССР

Лион Фейхтвангер

МОСКВА 1937


ЛУЧШЕМУ УДАРНИКУ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ
6ти УСЛОВИЙ
Т. СТАЛИНА


СССР


ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК


ЦИК СССР
ЦИК СССР ВСФК
ГОТОВ
БУДЬ ГОТОВ К САНИТАРНОЙ ОБОРОНЕ СССР.



Андре
Жид
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ СССР

Два взгляда из-за рубежа

Лион
Фейхтвангер
МОСКВА 1937



Москва немало видела на своем веку. И Москву, естественно, видело немало людей. В разное время года и разные столетия. Она представала перед разными поколениями, различаясь не только своим архитектурным обликом, но и царившим в ней духом, той атмосферой, нравственной и политической, в которой жили люди. Какой же увидели ее А. Жид и Л. Фейхтвангер? А. Жид — такой: «После Ленинграда хаотичность Москвы особенно заметна. Она даже подавляет и угнетает вас. Здания, за редкими исключениями, безобразны... не сочетаются друг с другом. Я знаю, что Москва преображается, город растет... Все устремлено к будущему... Москва остается самым привлекательным городом — она живет могучей жизнью».

Л. Фейхтвангер: «Никогда еще город с миллионным населением не строился так основательно по законам целесообразности и красоты, как новая Москва... Здесь с самого начала все строится целесообразно, планово, разумно, осмысленно».

Шел 1937 год...

Андре Жид

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ СССР

Два взгляда из-за рубежа

Лион Фейхтвангер

МОСКВА 1937

Москва
Издательство
политической
литературы
1990

ББК 63.3(2)716
Д22

Д22 **Два** взгляда из-за рубежа: Переводы.— М.: Политиздат, 1990.— 272 с.: ил.
ISBN 5—250—01403—8

В это издание включены две нашумевшие в свое время книги известных западных писателей: А. Жид «Возвращение в СССР» (1936 г., переведена лишь в 1989 г.) и Л. Фейхтвангер «Москва 1937». Сопоставление этих фактически полемизирующих друг с другом работ представляет определенный интерес: ведь мы имеем дело со свидетельствами авторитетных и талантливых людей, с их впечатлениями о событиях трудного и противоречивого периода жизни нашей страны.
Об особенностях и истории создания этих книг, о позициях их авторов размышляет в предисловии известный журналист А. Плутник.
Издание иллюстрировано редкими фотографиями, рассчитано на массового читателя.

Д $\frac{0503020500-290}{079(02)-90}$ **ББК 63.3(2)716**

Заведующий редакцией *В. М. Подугольников*
Редактор *Н. Б. Чунакова*
Младший редактор *Л. Г. Еремина*
Художник *В. В. Медведев*
Художественный редактор *А. Я. Гладышев*
Технический редактор *Ю. А. Мухин*

ИБ № 8916

Сдано в набор 21.05.90. Подписано в печать 11.09.90. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 15,23. Усл. кр.-отт. 16,80. Уч.-изд. л. 15,16. Тираж 200 000 экз. Заказ № 903. Цена 3 р. 60 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

ISBN 5—250—01403—8

АНАТОМИЯ ТАКИХ РАЗНЫХ УБЕЖДЕНИЙ

Перед нами — два взгляда, две точки зрения виднейших представителей прогрессивной западной интеллигенции на нашу страну, советское общество и советское руководство второй половины 30-х годов. Два взгляда на события политической и социальной жизни, отбросившие длинную тень в историю: их последствия все эти годы мы пытаемся преодолеть, наталкиваясь на серьезные трудности.

Издание этой книги я назвал бы ликвидацией досадного упущения. В самом деле, не поразительно ли, что никому не приходило в голову поселить «под одной крышей» два знаменитых памятника документальной прозы — «Москва 1937» Лиона Фейхтвангера и «Возвращение из СССР» Андре Жида. И это в то время, когда так велик интерес к истории нашей страны, ко всему, в частности, что связано с ее послеоктябрьским периодом, с разного рода «коренными переломами» в ее экономике и политике, со Сталиным и сталинизмом.

Для советского читателя судьба этих произведений сложилась по-разному. Первое тотчас же после выхода в Амстердаме в 1937 году на немецком языке было выпущено и у нас, но быстро изъято из обращения, что выглядит как будто не очень логично. Зачем в таком случае вообще было издавать? Однако и символическое, я бы сказал, появление книги имело немалое значение. Книги, написанной как бы объективным наблюдателем, открыто говорившим о неоднозначной реакции Запада на происходившие в нашей стране политические судебные процессы, впрямую, хотя и без тени осуждения, обсуждавшим вопрос о культе личности Сталина. Но, сделав этот, больше рассчитанный на Запад, жест — издание книги Л. Фейхтвангера, Сталин, видимо, решил, что не следует заходить

слишком далеко. Поскольку «неподготовленный» читатель вряд ли способен правильно понять все эти слова насчет ста тысяч портретов «человека с усами», его маленького роста, невыразительной внешности. Тем более зачем ему, читателю, знать, что отнюдь не все в мире приходят в восторг от каждого слова «великого Сталина». И книгу предпочли засекретить — она оказалась в спецхране. Фактически десятилетиями она оставалась запрещенной.

Что же касается книги А. Жида, та и вовсе была предана анафеме заодно с автором. Путь к советскому читателю ей сразу был закрыт: такой взгляд на советскую действительность был абсолютно неприемлем при Сталине, да и многие десятилетия после него. И только сейчас книга опубликована у нас, спустя более полувека после ее написания,— в 1989 году в восьмом номере журнала «Звезда».

Напечатать «рядом» эти произведения, как бы расселить по соседству, предоставив читателю возможность сопоставить одно с другим, не только полезно, но и весьма логично. Дело в том, что вышедшее через несколько месяцев после появления в Париже книги А. Жида произведение Фейхтвангера в какой-то мере построено как прямая полемика с «Возвращением из СССР». Писатели, в одно и то же время посетившие нашу страну, во многом расходятся в оценке происходивших в ней событий, в характеристике главных действующих лиц.

Таким образом, мы имеем дело с документальными свидетельствами о трудном и противоречивом периоде нашей истории, ценность которых с годами отнюдь не уменьшилась, напротив — неизмеримо возросла.

Да, сегодня к 30-м годам пристальное внимание. Выходит множество всевозможных публикаций, авторы которых зачастую основываются на уже многократно описанных фактах, анализируют не раз проанализированные ситуации, отражают не раз отраженную действительность. Пишут о том, что где-то прочитали или услышали, а не о том, что видели, наблюдали собственными глазами.

В этом, разумеется, нет ничего плохого, если у исследователя есть собственный взгляд, если он объективно и честно стремится, сопоставляя разные точки зрения, познать истину, пробиться к ней сквозь все

наслоения многолетней предвзятости и предубеждений — сознательных или бессознательных.

Но несомненно: свидетельства очевидцев по своей исторической ценности неизмеримо значимее, чем многие позднейшие суждения потомков. Особенно если наблюдателям не откажешь ни в политической проницательности, ни в таланте социального анализа, если волею судьбы они могли свободно излагать свои взгляды. В нашем же случае было именно так — оба произведения вышли из-под пера иностранных авторов, то есть людей как бы со стороны. А значит, они могли позволить себе роскошь абсолютной независимости при выражении мнений о советской действительности. Значит, их мнения не подвергались «нашенской» цензуре (книги выходили прежде всего на Западе и предназначались для западного читателя). Поскольку такие исследователи обладали несомненными преимуществами перед нашими соотечественниками, обделенными в годы культа личности многими правами, и прежде всего правом на свободомыслие, то и доверия к их свидетельствам, к неподцензурной печати, гораздо больше. Писали, надо полагать, именно то, что и хотели написать. Как думали.

Андре Поль Гийом Жид (1869—1951) приехал в Советский Союз летом 1936 года в возрасте 67 лет. Он еще не нобелевский лауреат по литературе (до этого оставалось 11 лет), но изысканная по форме проза, повести и романы «Изабелла», «Пасторальная симфония», «Подземелье Ватикана», «Имморалист», «Фальшивомонетчики», книги о путешествиях, дневники, эссе уже одарили его всемирной славой блистательного мастера слова, живого классика, наследника и продолжателя лучших традиций великой французской, да и мировой, литературы XIX века. Его пестовала литературная среда, представленная такими именами, как Поль Валери и Марсель Пруст, он был другом и учеником Оскара Уайльда.

Подлинным мэтром прибыл к нам несколько месяцев спустя и Лион Фейхтвангер (1884—1958). Всемирно-исторические драмы XX века, на перекрестке которых всякий раз оказывалась Германия, вызвали к жизни немецкую литературу огромной силы, широкого исторического размаха. В ряду крупнейших ее

представителей, таких как Генрих и Томас Манны, Бертольт Брехт, Арнольд Цвейг, Иоганнес Бехер, стоит и имя Лиона Фейхтвангера.

В 1936-м ему 52 года. Еще не написаны «Лисы в винограднике», «Гойя» и «Мудрость чудака», но романы «Безобразная герцогиня», «Успех», «Семья Опперман» («Семья Оппенгейм») уже принесли ему широкое признание и известность.

Два знаменитых писателя, чьи репутации честнейших художников до поры до времени ни у кого, кажется, не вызывали сомнений. Потом относительно А. Жида, а отчасти и Л. Фейхтвангера эти сомнения появились.

Во всяком случае, из наших литературных справочников и энциклопедий имя Андре Жида вдруг надолго исчезло, а если и упоминалось даже несколько десятилетий спустя, скажем, в «Советском энциклопедическом словаре», то при этом писателю давалась весьма нелестная, односторонняя характеристика: де, в его произведениях сочетаются картины упадка буржуазного общества с проповедью эстетизма и аморализма.

Могли ли у нас в доперестроечное время признаваться немалые достоинства художника, который посмел когда-то не в лучшем свете представить нашу жизнь, из-под пера которого вышло такое долго именовавшееся клеветническим сочинение, как «Возвращение из СССР»? Но времена меняются, а стало быть, надо пересматривать отношение ко многому, что было сказано и написано, ко многому и ко многим, посмевшим задолго до XX съезда партии, тем более до апреля 1985-го обнажить перед миром страшную правду, тщательно скрываемую официальной пропагандой.

Примечательно, что до того приезда к нам у А. Жида складывались с Советским Союзом самые лучшие отношения. Он был среди тех, кого руководство страны чтило, одаривало знаками высшего внимания. Чего стоит, например, выход в 1935 году в Ленинграде, в Государственном издательстве художественной литературы собрания его сочинений в 4-х томах. Причем специально написанное автором к русскому изданию предисловие не оставляет никаких сомнений в том, что и он со своей стороны полон горячих симпатий к СССР.

Датированное февралем 1934 года, это предисловие стало как бы продолжением известных записей из «Дневника 1932 года», в котором писатель, горько

разочарованный капитализмом, желал гибели ему и всему, что укрывалось под его сенью,— злоупотреблениям, несправедливости и лжи. Теперь, предваряя знакомство советских читателей со своими произведениями, А. Жид говорит:

«Не без страха вижу я мои книги в ваших руках, молодые люди новой России. Настолько загружены они устарелыми проблемами, которыми вам не надо больше утруждать себя! Нам приходится бороться здесь с мнимым благодеиствием, с призраками, со страшилищами, от которых вы теперь освобождены. Чаща, сквозь которую я пробирался, потеряла для вас значение. Но в моих книгах вы, может быть, почувствуете, как я всегда верил в человека, как убежден был, что от него можно добиться гораздо больше того, что им достигнуто, что он только еще в начале своего пути, у подножия горы, и что в благоприятных условиях лучшего социального строя перед его взорами откроются неподозреваемые им перспективы.

На постоянный мучительный вопрос, который, впрочем, не я один ставил: «Что может человек?» — СССР дал уже победоносный ответ. Отсюда наша признательность ему.

Молодые советские граждане наших дней, понимаете ли вы, что такое для нас СССР? Осуществление смутной еще мечты и неопределившихся желаний. Долгожданный ответ. Живое доказательство того, что казавшееся утопией может стать реальностью.

Молодые люди СССР, держитесь стойко! Не отдыхайте на половине пути. Не дайте себя соблазнить. Чтобы сиять на далекие пространства по ту сторону границ, мужество ваше должно оставаться примерным. Вы не кончили побеждать и бороться. Благодаря вам, надежды наши окрепли. Товарищи из СССР, братское мое сердце вас радостно приветствует».

17 июня 1936 года «Известия» публикуют статью «Привет Андре Жиду!». Ее тон и содержание — еще одно прекрасное свидетельство того, каким было отношение к писателю в СССР, и прежде всего у руководства страны.

«Сегодня красная столица встречает виднейшего писателя современной Франции, лучшего друга Советского Союза, непреклонного борца против войны и фашизма, одного из руководителей Международной ассоциации писателей для защиты культуры— Андре Жида.

Трудящиеся массы Советского Союза знают Андре Жида как писателя. Его лучшие произведения переведены на русский язык и другие языки народов Советского Союза. В герое «Фальшивомонетчиков» Эдуарде советский читатель давно уже распознал автора этого романа, такого же «человечного, рассудочного и прекрасного», как и его герой. Наш читатель помнит «Путешествие в Конго» и «Возвращение с озера Чад» — две книги, в которых Жид обнажает лицо хищнического империализма, его колониальную политику, «белую цивилизацию», угнетающую народы. Советский читатель с глубоким волнением читал, читает и перечитывает «Страницы из дневника» Андре Жида, в которых он решительно порвал с капитализмом и также решительно приветствовал Страну Советов и коммунизм.

Трудящиеся массы Советского Союза знают Андре Жида как человека, поднимавшего свой высокий голос, когда нашей стране грозила опасность войны и интервенции. Молодежь нашей страны помнит слова великого писателя, которыми он приветствовал ее как зарю нового человечества.

В прошлом году на международном конгрессе защиты культуры Андре Жид в своей речи сказал: «СССР для нас теперь — зрелище невиданного еще значения, огромная надежда и, скажу прямо, пример... Одни только противники коммунизма могут видеть в нем стремление к единообразию. То, чего мы от него ждем и что после сурового периода борьбы и временных затруднений, приведших к более полному освобождению, показывает нам СССР,— это социальный строй, способствующий всестороннему развитию каждого человека, выявлению и использованию всех его возможностей».

А несколько дней тому назад Андре Жид приветствовал из Парижа проект новой Конституции: «Товарищи из Советского Союза! Ваш французский друг счастлив, что может приветствовать вас и воскликнуть с далекого Запада: «Да здравствует новая Конституция! Она является естественным завершением того, что создавалось с такой большой энергией».

Сегодня Андре Жид вступит на ту землю, которую он полюбил, как родную, из своего далека. Трудящиеся Советской страны с чувством глубокой радости и дружбы встретят великого французского писателя.

Привет Андре Жиду!»

Что же произошло потом?

Почему из нашего друга он превратился в нашего недоброжелателя? Были ли реальные основания в корне изменить представление о нем?

Напомню, А. Жид приехал в Москву 17 июня, а уже на следующий день случилась трагедия, которую он воспринял как глубоко личную,— умер Горький. Неожиданно для многих, а не только для французского писателя, мечтавшего и уже как будто условившегося о встрече с Алексеем Максимовичем. Можно предположить, что и Горький очень желал подобной встречи: вот уже несколько месяцев он различными путями безуспешно пытался установить контакт с Луи Арагоном. О чем собирался он поведать своим зарубежным друзьям, чем хотел поделиться с ними, он, так долго остававшийся, по сути, «самым свободным» узником сталинских лагерей?

На траурной панихиде после В. М. Молотова, выступавшего от Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б), Н. А. Булганина, представлявшего московские советские и партийные организации, а также А. Н. Толстого, произнесшего речь от Союза советских писателей, слово было предоставлено Андре Жиду — от Международной ассоциации писателей. И снова, теперь над гробом Горького, то есть абсолютно искренне, он говорит о том же — о своей любви к нашей стране.

«...До сих пор во всех странах света крупный писатель почти всегда был в той или иной степени мятежником и бунтарем. Более или менее сознательно, с большей или меньшей ясностью он думал, он писал всегда против чего-нибудь. Он не соглашался ничего одобрять. Он вселял в умы и сердца брожение непокорности, мятежа. Сановники власти, если бы они умели предвидеть, без сомнения, угадали бы в нем врага.

Сейчас в Советском Союзе вопрос впервые стоит иначе: будучи революционером, писатель не является больше оппозиционером. Наоборот, он выражает волю масс, всего народа и, что прекраснее всего,— волю его вождей. Эта проблема как бы исчезает, и эта перестройка настолько необычна, что разум не может ее сразу осознать. И это лишь одно из многого, чем может гордиться СССР в эти замечательные дни, которые продолжают потрясать наш старый мир. Советский Союз зажег в новом небе новые звезды, открыл новые

проблемы, о существовании которых мы по сей день не подозревали».

Это сказано человеком, который только что пересек нашу границу, еще не успел осмотреться, взглянуть на происходящее вокруг незамутненным взглядом проницательного наблюдателя. А значит, все то, что он говорил, было результатом отвлеченных знаний, было, в сущности, догадкой, заимствованием из тех представлений, которые существовали в мире, и в частности в среде прогрессивной западной интеллигенции, для значительной части которой первая социалистическая страна и в годы сталинизма оставалась воплощенным идеалом самых светлых социальных преобразований.

Два месяца А. Жид ездил по нашей стране. В Москву вернулся накануне открытия судебного процесса по делу так называемого троцкистско-зиновьевского террористического центра. Разумеется, уже эти два события — смерть Горького и судебный процесс, как бы окаймлявшие пребывание писателя в Советском Союзе, могли многое поколебать в его представлениях о нашей действительности.

Но ведь и Фейхтвангер не меньше видел и слышал. И тем не менее написал нечто такое, что впоследствии многократно преподносилось как своего рода панегирик сталинскому режиму. Как оправдание всех творимых им беззаконий. Если подобная оценка книги «Москва 1937» справедлива, то перед нами — некий феномен творческого ослепления. Или и того хуже — продажности, прецедент которой не так просто найти в истории литературы: видный писатель пробует себя в неблаговидной роли короля «желтой прессы». Но правомерно ли подобное обвинение?

...9 января 1937 года «Правда» сообщает: «Вчера, 8 января, товарищ СТАЛИН принял германского писателя Л. ФЕЙХТВАНГЕРА.

Беседа длилась свыше трех часов» (ТАСС).

Публикуется огромный снимок на первой странице, на котором запечатлены писатель Л. Фейхтвангер, И. В. Сталин и завотделом печати и издательств ЦК ВКП(б) Б. М. Таль.

10 января выступление знаменитого гостя записывается на пленку Всесоюзным радиокомитетом. Л. Фейхтвангер в восторге от встреч с советской молодежью, от макета будущей столицы. Говорит

ли он то, что от него хотят услышать гостеприимные хозяева, или же он абсолютно искренен в своих восторгах?

Вот что сказал он в этом радиовыступлении, напечатанном затем в газетах, о том впечатлении, которое произвела на него встреча со Сталиным:

«Первое непосредственное впечатление — это необыкновенная простота. В течение многочасовой беседы я не мог заметить у него ни одного жеста, похожего на позу. Сталин в своих словах ясен до резкости. Он готов спорить, хорошо умеет это делать и твердо защищает то, что говорит. Он не через меру вежлив, но зато и не обижается, когда его собеседник на него нападает.

Он говорит с откровенностью, которая производит впечатление; при этом он не лишен известного, почти добродушного лукавства. Он обладает юмором и хорошо понимает юмор. Скоро начинаешь понимать, почему массы его не только уважают, но и любят. Он — часть их самих, он вышел из масс — настоящий представитель 160-миллионного Советского Союза, более достойный, чем мог бы вообразить любой художник. При этом у него, видимо, имеются внутренние противоречия и человеческое ему не чуждо. Сталин, как он предстает в беседе, не только великий государственный деятель, социалист, организатор,— он прежде всего — настоящий Человек».

Можно, конечно, находить второй смысл во фразе: «У него, видимо, имеются внутренние противоречия и человеческое ему не чуждо». Но скорее всего, писатель не стремился заключить «между строк» нечто не вполне согласующееся с его безраздельным восхищением своим собеседником, не лишенным «известного, почти добродушного лукавства».

Понимал ли он на самом деле, с кем имеет дело? Написать в 1937-м о «добродушном лукавстве» генсека... И все-таки, не желая оставлять у читателя и тени сомнения в том, что Сталин обладает всеми достоинствами великого человека, не намеревался ли писатель убедить других в том, в чем сам отнюдь не был убежден?

6 февраля 1937 года, покидая страну, Фейхтвангер шлет послание советским читателям: «...нет нужды еще раз говорить о том, как глубоко отразился на моем представлении о мире живой, непосредственный

контакт с советским народом, как под его влиянием изменилось это представление. На тысячах крупных и мелких явлений повседневной жизни я мог наблюдать, мог понять, что такое социализм. Я видел, с какой силой и мудростью народы Советского Союза, их руководители и особенно тот человек, который воплощает этот новый мир, вооружили себя всеми средствами защиты своего великого дела.

Я увидел величественную героическую картину того, как одна шестая часть земного шара в одно и то же время вооружает себя против одичалых и жестоких противников и создает гигантское здание торжества разума. Эта небывало героическая картина — самый ценный подарок, который я увожу из Советского Союза на всю мою дальнейшую жизнь. Я благодарю всех тех людей, которые подарили мне этот волнующий дар».

Итак, Андре Жид под влиянием личных впечатлений резко изменил свои представления о нашей стране, Лион Фейхтвангер остался им верен. А ведь писатели отправились в СССР во многом с одним и тем же багажом — безраздельно симпатизировали социализму, эксперименту, поставившему себе целью построить гигантское государство только на базисе разума. Хотя к этим симпатиям у них и добавлялась известная доля сомнения, поскольку, как пишет Фейхтвангер в «Москве 1937», практический социализм мог быть построен только посредством диктатуры класса, и СССР был в самом деле государством диктатуры. «Правда, Советский Союз выработал демократическую, свободную конституцию; но люди, заслуживающие доверие, говорили мне, что эта свобода на практике имеет весьма растрепанный и исковерканный вид, а вышедшая перед самым моим отъездом небольшая книга Андре Жида только укрепила мое сомнение».

Важная подробность: один писатель отправляется к нам, имея перед собой свидетельства другого писателя. Естественно, он стремится в ходе поездки не только, так сказать, выяснить свои собственные взгляды и впечатления, но и сверить нарисованные «соперником» картины действительности с реальной жизнью. Разумеется, нет никаких оснований утверждать, что Фейхтвангер, глубоко чтивший А. Жида, называвший его великим писателем, как бы заранее решил не соглашаться, опровергать по крайней мере половину из

его утверждений, хотя элемент творческого противоборства не мог, полагаю, не сыграть определенную роль. Сказать «в пику», обнаружить несоответствие — это могло наложить свой отпечаток на иные характеристики. Но подобные «расхождения» если и возникали, то носили, несомненно, лишь частный характер. Слишком серьезен был предмет изучения, слишком важен для мирового общественного мнения итог поездок двух крупнейших деятелей мировой культуры, чтобы они, сознавая это, могли свести дело к личному соперничеству литературных амбиций.

Они, скорее всего, потому по-разному увидели нашу жизнь, что каждый исходил из собственной сверхзадачи. И диктовалась она даже не мерой любви к Советской стране: оба, без сомнения, горячо сочувствовали ей, искренне желали успехов. Не только степенью подлинного литературного дара, предполагающего «глубокое проникновение в изображаемую действительность»: оба отмечены печатью замечательной одаренности. Тут дело в другом. В чем именно — мы поймем это дальше. Сейчас же важно заметить, что неизменность взглядов Фейхтвангера — куда большая загадка, чем в считанные недели претерпевшие глубокие изменения представления А. Жида.

Интересно проследить, по каким именно позициям возникают у Фейхтвангера возражения Жиду и какие аргументы приводит он, оспаривая правоту французского писателя и доказывая свою, да и насколько глубоки расхождения в представлениях о нашей жизни, о том, что в ней типично, а что — нет, что случайно, а что — закономерно.

Фейхтвангер, к примеру, лишь отчасти соглашается с утверждением о существовании в СССР конформизма, с тем, что люди в Советском Союзе обезличены, их образ жизни, их мнение стандартизованы, унифицированы, нивелированы, с тем, что у А. Жида выражено в словах: «Когда говоришь с одним русским — говоришь со всеми». Да, конечно, признает он, собрания, политические речи, дискуссии, вечера в клубах — все это похоже как две капли воды друг на друга, а политическая терминология во всем обширном государстве сшита на одну мерку.

Однако, тут же оговаривается он, если присмотреться поближе, то окажется, что весь этот пресловутый «конформизм» сводится к трем пунктам, а именно: к общности мнений по вопросу об основных принципах коммунизма, к всеобщей любви к Советскому Союзу и к разделяемой всеми уверенности, что в недалеком будущем Советский Союз станет «самой счастливой и самой сильной страной в мире». Словом, по мнению Фейхтвангера, этот конформизм не так уж плох, во всяком случае, не настолько плох, как представляется это Жиду, не понимающему, что конформизм в СССР надо не осуждать, а приветствовать. Поскольку это — патриотизм.

Чтобы судить о том, кто прав, а кто не прав в данном случае, следует прежде всего посмотреть, из какого именно контекста взяты слова, процитированные Л. Фейхтвангером.

Вчитайтесь.

«В СССР,— пишет А. Жид,— решено однажды и навсегда, что по любому вопросу должно быть только одно мнение. Впрочем, сознание людей сформировано таким образом, что этот конформизм им не в тягость, он для них естественен, они его не ощущают, и не думаю, что к этому могло бы примешиваться лицемерие. Действительно ли это те самые люди, которые делали революцию? Нет, это те, кто ею воспользовался. Каждое утро «Правда» им сообщает, что следует знать, о чем думать и чему верить. И нехорошо не подчиняться общему правилу. Получается, что, когда ты говоришь с каким-нибудь русским, ты говоришь словно со всеми сразу. Не то чтобы он буквально следовал каждому указанию, но в силу обстоятельств отличаться от других он просто не может».

Сегодня, когда мы так многое узнали о нашем обществе, о его былом и нынешнем состоянии, нам гораздо легче рассудить этот спор двух мастеров западной культуры. Увы, надо признать с высоты теперешней осведомленности, что более прав не тот, кто думал о нас лучше, а тот, кто думал хуже. Конформизм был во многом не только характерной чертой, но, кажется, самой сутью нашего образа мысли, образа действий. Думать, как скажут. Как принято. Как требуется. Что означало абсолютное единодушие, долголетнее «монолитное» единство мнений «по всем обсуждавшимся вопросам»?

Для многих высшим принципом становилась беспринципность. К этому побуждал инстинкт самосохранения. Как тара товаром, люди заполнялись идеологическими установками, передаваемыми, подобно семейным реликвиям, из поколения в поколение, «от сердца к сердцу». И всякое отступление от них, каждый шаг в сторону расценивался как побег от истины. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

«Надо иметь в виду также,— продолжает А. Жид,— что подобное сознание начинает формироваться с самого раннего детства... Отсюда странное поведение, которое тебя, иностранца, иногда удивляет, отсюда способность находить радости, которые удивляют тебя еще больше. Тебе жаль тех, кто часами стоит в очереди,— они же считают это нормальным. Хлеб, овощи, фрукты кажутся тебе плохими — но другого ничего нет. Ткани, вещи, которые ты видишь, кажутся тебе безобразными — но выбирать не из чего. Поскольку сравнивать совершенно не с чем — разве что с проклятым прошлым,— ты с радостью берешь то, что тебе дают. Самое главное при этом — убедить людей, что они счастливы настолько, насколько можно быть счастливым в ожидании лучшего, убедить людей, что другие повсюду менее счастливы, чем они. Этого можно достигнуть, только надежно перекрыв любую связь с внешним миром (я имею в виду — с заграницей). Потому-то при равных условиях жизни или даже гораздо более худших русский рабочий считает себя счастливым, он и на самом деле более счастлив, намного более счастлив, чем французский рабочий. Его счастье — в его надежде, в его вере, в его неведении».

Самое поразительное в этих словах — то, что давняя констатация фактов выглядит как прогноз на далекое будущее. В самом деле, сегодня — те же самые проблемы. Очереди, отсутствие выбора. Неужели и через следующие 50 лет «все опять повторится сначала»? А ведь может, если не двинемся дальше теоретических положений о многообразии форм собственности, о многоукладности экономики, если по-прежнему мертвой хваткой будем держаться за идеологические догмы, полагая, что верность им — превыше хорошей, достойной человека жизни.

А. Жид удивительно точно определил характерную черту так называемого «нового человека», которого

у нас выводили и тогда, и позже, вплоть до недавнего прошлого: утрата личностного начала. «Всеобщее счастье достигается обезличиванием каждого. Счастье всех достигается за счет счастья каждого. Будьте как все, чтобы быть счастливым». Только проникнувшись горькой правотой этого «диагноза», мы сможем должным образом оценить те принципиально иные обстоятельства, в которые ныне поставила советского человека перестройка.

Л. Фейхтвангер, продолжая спор, заключает: «Множество мелких неудобств, осложняющих повседневный московский быт и мешающих видеть важное, легко могло привести человека к несправедливому и слишком отрицательному суждению. Я очень скоро понял, что причиной неправильной оценки, данной Москве великим писателем Андре Жидом, были именно такого рода мелкие неприятности».

«Очень скоро понял...» «Очень скоро» — не наспех ли? Лишь одно суждение А. Жида о нашей столице. Сравнивая ее с Ленинградом («Что восхищает в Ленинграде — это Санкт-Петербург»), он пишет: «После Ленинграда хаотичность Москвы особенно заметна. Она даже подавляет и угнетает вас. Здания, за редкими исключениями, безобразны (и не только современные), не сочетаются друг с другом. Я знаю, что Москва преображается, город растет. Свидетельства этому повсюду. Все устремлено к будущему. Но боюсь, что делать это начали плохо. Строят, ломают, копают, сносят, перестраивают — и все это как бы случайно, без общего замысла. Но все равно Москва остается самым привлекательным городом — она живет могучей жизнью».

Нет, подобные претензии к городу не могли родиться как результат каких-то бытовых осложнений путешественника. Тут нечто гораздо более основательное. Это отчетливее понимаешь сейчас, когда так много волнений, связанных с архитектурными утратами, понесенными столицей именно в те 30-е годы. Оттуда многие наши беды, градостроительные в том числе,— по сей день многое «преображается» без ясно выраженного общего замысла.

Глубоко расхождение знаменитых гостей по вопросу о «врожденной», по выражению А. Жида, малой производительности русского человека. Фейхтвангер гневно протестует против такой постановки вопроса:

пора бы положить конец этой распространенной небылице о лени русского человека. «Народ, который еще двадцать лет тому назад почти задыхался в нищете, грязи и невежестве, является в настоящее время обладателем высокоразвитой промышленности, рационализированного сельского хозяйства, громадного количества новоотстроенных или до основания перестроенных городов и, кроме того, полностью ликвидировал свою неграмотность. Возможно ли, чтобы ленивые по природе люди могли выполнить такую работу? Допустим, что Советскому Союзу посчастливилось найти необычайно талантливых вождей, но даже если бы все гении, которыми на протяжении веков располагало человечество, были собраны в эти двадцать лет в Москве, они не смогли бы заставить ленивый по природе народ проделать такую гигантскую работу».

Примечательна, так сказать, попутная комплиментарность вождям, хотя в основе своей и предназначенная безвинно обвиненному народу. Безвинно — это вне всякого сомнения. Стародавнее обвинение в лености народной представляется мне традиционной на Руси формой выгораживания, да и возвеличивания руководителей — феодалов, князей, царей, новоявленных высокопоставленных бонз. Дескать, мы вами отменно руководим, а все равно ничего не выходит — с таким народом. Эта традиция дошла и до наших дней, выразившись в формуле: как работаем, так и живем... «Товарищи ученые! Боритесь за выведение новых высокоурожайных сортов плодов и овощей!» «Товарищи земледельцы! Проводите все сельскохозяйственные работы в лучшие агротехнические сроки!» Ну вывели, допустим, ученые новые сорта, земледельцы, допустим, вырастили отменные урожаи. А что потом? Зачем, спрашивается, хорошо работать, если едва ли не половина урожая гниет, гибнет, если из-за хозяйственной безалаберности (которая не ученых вина и не земледельцев) не на то переводим ценнейшее сырье, если тысячи гектаров плодороднейших земель, тысячи гектаров великолепных лесных массивов попадают в зоны затопления, если построенные ударными темпами и введенные в эксплуатацию до срока крупнейшие в мире электростанции затем годами работают вхолостую, дожидаясь, когда будут построены те самые энергоемкие производства, ради которых, собственно, и требовались электростанции. Вот так взращивалась,

стимулировалась лень, привыкали работать ни шатко ни валко. Все поставлено с ног на голову! В условиях, когда многие решения принимаются непродуманно, волевым порядком, без ясного представления об их смысле, даже всеми проклинаемая чиновничья волокита выглядит подчас как проявление разумной неспешности и осмотрительности...

Фейхтвангеру бросилась в глаза как раз исключительная деловитость, активность, трудолюбие москвичей, которые мчатся по улицам с сосредоточенными лицами, торопливо пересекают мостовую, как только вспыхивает зеленый свет светофора, теснятся на станциях метро, набиваются в трамваи, автобусы, суетятся повсюду, как муравьи. «На фабриках я почти не видел, чтобы рабочий или работница поднимали глаза на посетителя: настолько они были поглощены собственным делом. Я уже не говорю о тех, кто занимает сколько-нибудь ответственное положение. Эти почти не уделяют времени для еды, они почти не спят...»

Еще не раз впоследствии добрым словом помянет писатель руководителей страны (особенно того человека, «который воплощает этот новый мир»), причем всякий раз, как и в данном случае, принимая внешние приметы деловитости за саму деловитость. Определенно, развенчивая одну ошибку, Фейхтвангер впадает в другую — создает очередной миф о всепоглощенности наших людей, особенно начальства, своим делом. Он не видел — так все заняты,— чтобы кто-то поднимал глаза на посетителя... И вывод: раз не видел, значит, этого не бывает. А то, что людей подготовили к появлению иностранца, проинструктировали,— об этом он словно бы не может догадаться. (Да что говорить о тех временах, если еще вчера «неподготовленным» людям у нас нельзя было, так сказать, несанкционированно поговорить с иностранцем.)

Любопытно, что все эти рассуждения, подводящие к выводу: «Я нигде не встречал такого количества неутомимо работающих людей, как в Москве», понадобились ради опровержения взгляда А. Жида на стахановское движение.

А. Жид скептически оценивает его и при знакомстве с одним из стахановцев, которому «удалось, говорят мне, выполнить за пять часов работу, на которую требуется восемь дней (а может быть, наоборот: за восемь часов — пятидневную норму, я уже теперь

не помню). Осмеливаюсь спросить, не означает ли это, что на пятичасовую работу сначала планировалось восемь дней. Но вопрос мой был встречен сдержанно, предпочли на него не отвечать».

Гость видит в стахановском движении замечательное изобретение, рассчитанное на то, чтобы встряхнуть народ от спячки (когда-то, замечает он, для этой цели был кнут). Он утверждает: в стране, где рабочие привыкли работать, стахановское движение было бы ненужным. Но здесь, оставленные без присмотра, они тотчас же расслабляются.

Налицо явное упрощение самой сути того положения, в котором находился, да и по сей день во многом продолжает пребывать, трудящийся человек в той системе, которая называется сейчас командно-административной. Он пользуется любым предлогом, чтобы отлынивать от работы, и не потому, что он лентяй, а потому, что в производительной и качественной работе он просто-напросто не заинтересован. Зависимость как раз обратная — он становится лентяем, потому что система его на это провоцирует. В самом деле, ведь только сейчас мы стали как будто всерьез задумываться о создании саморегулирующейся экономической системы, стали внедрять хозрасчет, прочие новшества, смысл которых в том, чтобы человек перестал быть придатком бездумной производственно-экономической машины. Чтобы он не только ради труднопостижимой подчас «общей пользы» стремился сделать свое дело получше, но и себе самому на пользу. Чтобы не отторгался производитель от плодов труда своего. Десятилетиями же происходило отторжение, расчет был исключительно на голый энтузиазм.

Или и того хуже — на принудительный. Поистине под страхом смерти. На труд заключенного. Не случайно ведь в качестве «образцов свободного труда» приводились и успехи строителей Беломорско-Балтийского канала, предвоенного БАМа и других «объектов» строгого режима. Теперь также хорошо известно, что многим из тех, кто, например, олицетворял в глазах современников и потомков размах и глубину стахановского движения, часто создавались искусственные условия для покорения «невиданных высот».

А постоянный поиск героев — не признак ли общественного недуга? Ведь герои требовались, чтобы восславить свою эпоху и ее великого вождя, доказать

«всему прогрессивному человечеству» (реакционному все равно ничего не докажешь), что наступила наконец желанная эра невиданных возможностей, открывшихся перед простым человеком...

Но, говоря об этих политических играх, мы тем не менее должны воздать должное патриотическому порыву и воодушевлению тех, кто свято верил в свою миссию. Да и, в конце концов, они же действительно себя не щадили во имя «светлого будущего». А значит, меньше всего заслуживали, чтобы кто бы то ни было недобро посмеивался над ними.

В позиции А. Жида, в его холодной констатации бессмысленности стахановского движения отчетливо заметна чрезмерная отстраненность от наших реальных проблем, отсутствие, быть может, времени на то, чтобы ради несомненно верного «общетеоретического» наблюдения дать себе труд почувствовать, насколько трагически отражается общий порядок вещей в конкретных человеческих судьбах, даже в судьбах «героев своего времени». И, отвергая этот античеловечный порядок, А. Жид волей-неволей как бы винит в нем и тех, кто были его жертвами. В данном случае осуждать, не поняв до конца сути происходящего,— это даже дальше от объективного взгляда, чем, не поняв, хвалить, как это делает Л. Фейхтвангер.

Частных расхождений в их оценках и характеристиках очень много, но, как бы ни были таковые значительны, не они, даже в сумме, составляют здесь принципиальное различие двух подходов, хотя эти «частные расхождения» и есть производные от главных, основополагающих.

Главное проявляется при оценках общей политической ситуации в стране, которые даются на фоне усиливающейся борьбы с «врагами народа». Что стоит за этими «политическими процессами» — действительная борьба за социализм, за интересы народа или жестокая, беззаконная расправа Сталина и его окружения с политическими оппонентами, кровавая борьба за власть?

Вот где проходит глубочайший водораздел двух взглядов — в политических и философских оценках «текущего момента», переживаемого советским обществом.

Писатели придерживались различных, часто противоположных мнений в вопросе о том, в какой мере была допустима в нашей общественной жизни подлинная критика. Фейхтвангеру кажется, что слова «большевистская самокритика» — отнюдь не пустые. Он говорит в подтверждение о статьях в стенгазетах, выступлениях на рабочих собраниях, в которых прямо-таки зверски ругали директоров и ответственных лиц. Он радуется (как мы еще убедимся, не вполне обоснованно) тому, что советские газеты не подвергают цензуре его статьи, даже если он сетует в них на чрезмерный культ Сталина. Руководители страны, с которыми он встречался, по его мнению, больше расположены выслушивать возражения, чем льстивые похвалы. Если же у нас берутся сравнивать собственные достижения с достижениями Запада, то очень часто переоценивают чужие успехи и недооценивают свои. Но вот когда чужестранец разменивается на мелочную критику и за маловажными недостатками не замечает общих достижений, тогда советские люди начинают терять терпение. (Возможно, предполагает Фейхтвангер, что резкость, с которой Советский Союз реагировал на книгу Жида, объясняется именно тем, что Жид, находясь в Союзе, все расхваливал и, только очутившись за его пределами, стал выражать неодобрение. В дальнейшем мы увидим, что это суждение позаимствовано писателем у одного из его «неожиданных» собеседников в СССР.)

Какая же именно критика «чужестранца», то есть Андре Жида, представляется Фейхтвангеру мелочной?

«Нас восхищает в СССР стремление к культуре, к образованию,— пишет А. Жид.— Но образование служит только тому, чтобы заставить радоваться существующему порядку... почти совершенно отсутствует (несмотря на марксизм) критическое начало. Я знаю, там носятся с так называемой «самокритикой»... Однако я быстро понял, что кроме доносительства и замечаний по мелким поводам (суп в столовой холодный, читальный зал в клубе плохо выметен) эта критика состоит только в том, чтобы постоянно вопрошать себя, что́ соответствует или не соответствует «линии». Спорят отнюдь не по поводу самой «линии». Спорят, чтобы выяснить, насколько такое-то произведение, такой-то поступок, такая-то теория соответствует этой священной «линии». И горе тому, кто попытался бы от нее

отклониться. В пределах «линии» критикуй, сколько тебе угодно. Но дальше — не позволено...»

По сути, вопрос о критике и самокритике у А. Жида вырастает в вопрос о недопустимости инакомыслия в тогдашнем советском обществе. У него не остается и тени сомнения — никакого, как мы бы сейчас сказали, плюрализма мнений в сталинском обществе быть не могло. Не могло и не было. О чем гораздо раньше, чем миллионы советских людей, обманутых и ослепленных идеологическими предписаниями, одурманенных угаром верноподданничества, узнали на Западе. Во многом благодаря откровенности и прямоте таких художников, как Андре Жид.

Только сейчас, то есть полвека спустя, благодаря перестройке мы и сами заговорили об этом. Только сейчас учимся признавать не только за «вождями», но и за каждым право по-своему оценивать жизнь и события в ней, исходя из собственного опыта, на основании собственного образа мыслей. Ну а тогда «генеральная линия» была единственной магистралью, по которой под жестким контролем государства осуществлялось движение общественной мысли. С этим, впрочем, не спорит и Фейхтвангер, прямо сказавший, что если в СССР часто можно услышать или прочитать возражение по поводу тех или иных частностей, то критики «генеральной линии» партии вы нигде не услышите. В этом вопросе действительно существует конформизм. Отклонений не бывает, или если они существуют, то не осмеливаются открыто проявляться. Но для Фейхтвангера это «неудобство» словно бы не выглядит существенным, поскольку в его представлении «генеральная линия» очень правильная, а когда всех вынуждают идти по правильному пути, то это равносильно всеобщему признанию здравого смысла...

А. Жид наотрез отказался признать справедливость и необходимость тех жертв, которые приносятся на алтарь «светлого будущего». В то время как Л. Фейхтвангер признает, по сути, их справедливость и необходимость.

По мнению Л. Фейхтвангера, та реакция, которую вызвали у многих западных интеллигентов судебные процессы в Москве, объяснима в большей степени не столько самими «произвольными и насильственными» процессами, сколько предубеждениями определенной части интеллигенции против социализма и Советского

Союза, теми неприятными чувствами, которые возбуждает у нее само существование новой социалистической государственной формации, ведь она приемлет последнюю лишь в теории, но не на практике. «Загадочность» троцкистских процессов дала этой интеллигенции возможность поиронизировать над Советским Союзом и заклеймить мнимый произвол суда. «Террор», обнаружившийся в Советском Союзе, служил для нее, к ее вящему удовольствию, свидетельством того, что Союз не отличается от фашистских государств, и это укрепляло веру, что она поступала правильно, не поддакивая Союзу.

Фейхтвангер иронизирует над сторонниками такого взгляда, приводя в кавычках слова «загадочность» троцкистских процессов, «террор». Между тем из сегодняшнего далека мы уже можем сказать со всей определенностью, что в тех самых процессах действительно была загадочность — они были инспирированы, придуманы. Да и слово *террор* по отношению к тем годам употребляется уже без кавычек. Характеристики сталинской эпохи в новое время во многом отличаются от прижизненных оценок, данных замечательным романистом. Ну а те западные интеллигенты, вроде А. Жида, чье поведение Фейхтвангер заклеймил как близорукое и недостойное, оказались все же ближе к истине. Многие страницы книги французского писателя и сегодня, по прошествии стольких лет, при открывшейся с годами возможности яснее увидеть прошлое, точнее понять и проанализировать уже ушедшую в историю эпоху, поражают глубиной вйдения. В самом деле, ведь именно тогда, в 1936 году, А. Жид написал:

«Сейчас, когда революция восторжествовала, когда она утверждается и приручается, когда она вступает в сделки, а по мнению иных — набирается ума,— те, в ком бродит еще революционный дух и кто считает компромиссом все эти последовательно совершаемые уступки, становятся лишними, они мешают, и поэтому их проклинают и уничтожают. И не лучше ли вместо словесного жонглирования признать, что революционное сознание (и даже проще: критический ум) становится неуместным, в нем уже никто не нуждается. Сейчас нужны только соглашательство, конформизм. Хотят и требуют только одобрения всему, что происходит в СССР. Пытаются добиться, чтобы это одобрение было не вынужденным, а добровольным и искренним,

чтобы оно выражалось даже с энтузиазмом. И самое поразительное — этого добиваются. С другой стороны, малейший протест, малейшая критика могут навлечь худшие кары, впрочем, они тотчас же подавляются. И не думаю, чтобы в какой-либо другой стране сегодня, хотя бы и в гитлеровской Германии, сознание было бы так несвободно, было бы более угнетено, более запугано (терроризировано), более порабощено».

Два взгляда на нашу страну. Две различные точки зрения, что вполне естественно. Два незаурядных человека, видя одну и ту же натуру, способны обнаружить в ней совсем разный смысл. Поскольку все зависит от склада личности, творческой манеры, пристрастий и убеждений. Всегда так было и есть — и подобное разночтение не зло, а благо... Но созданные двумя наблюдателями картины так разнятся потому, что авторы придерживаются принципиально разных взглядов на то, зачем, чего ради надо представлять миру Страну Советов 30-х годов, чего ради выносить на всеобщее обозрение увиденное, понятое, открытое. Тут, по-моему, многое объясняет данная себе каждым художником целевая установка.

Два подхода, два «творческих метода». Один — А. Жида,— как говорится, прост, как правда: писатель решает показать нашу жизнь такой, какой он ее видит. Отразить без приукрашивания, без искажения. Он решает, ни перед кем не заигрывая, расставаясь по возможности со всеми иллюзиями, с прежними представлениями о том, как живет СССР и как живется в СССР, воспроизвести реальную жизнь, доверяясь не стереотипам, как бы заманчиво они ни выглядели, а своим глазам, своим впечатлениям, живой действительности.

А что же Фейхтвангер? Ведь он, судя по его заметкам, увидел во многом совсем иную картину? Чьим же глазам мы должны больше верить? Если исходить из того, что Жид говорил правду, то, кажется, ничего не остается, как предположить, что Фейхтвангер правды не говорил. Или же представления о том, что же такое «правда», у этих двух наблюдателей заметно расходились?

Честно говоря, меня давно смущает ставшее ходульным определение: прост, как правда. Да так ли

проста правда? Так ли доступна пониманию любого и каждого? Во всяком случае, пробиться к ее простоте подчас бывает необычайно сложно и для самого искушенного правдоискателя.

Задумаемся: а всякая ли неправда — ложь? То есть результат умысла, а не, скажем, искреннего, продиктованного порой самыми благородными намерениями заблуждения? Полагаю, что этот вопрос постоянно надо «держать в уме», разбираясь в принципиально различных подходах двух писателей.

У этих двух книг один главный герой — сталинская действительность. И на таком фоне сам ее творец — И. В. Сталин.

Книга «Москва 1937» сдана в производство 23 ноября 1937 года, а подписана в печать 24 ноября, то есть на следующий же день.

И эти темпы становятся вполне понятны, когда читаешь: «Сталин, в противоположность другим стоящим у власти лицам, исключительно скромен. Он не присвоил себе никакого громкого титула и называет себя просто Секретарем Центрального Комитета. В общественных местах он показывается только тогда, когда это крайне необходимо... О частной жизни Сталина, о его семье, привычках почти ничего точно не известно. Он не позволяет публично праздновать день своего рождения. Когда его приветствуют в публичных местах, он всегда стремится подчеркнуть, что эти приветствия относятся исключительно к проводимой им политике, а не лично к нему. Когда, например, съезд постановил принять предложенную и окончательно отредактированную Сталиным Конституцию и устроил ему бурную овацию, он аплодировал вместе со всеми, чтобы показать, что он принимает эту овацию не как признательность ему, а как признательность его политике.

Сталину, очевидно, докучает такая степень обожания, и он иногда сам над этим смеется. Рассказывают, что на обеде в интимном дружеском кругу в первый день нового года Сталин поднял свой стакан и сказал: «Я пью за здоровье несравненного вождя народов великого, гениального товарища Сталина. Вот, друзья мои, это последний тост, который в этом году будет предложен здесь за меня».

Как мы знаем теперь, тот тост не оказался последним. «Вождю» так и не удалось пресечь безудержное восхваление. Это при его-то скромности. И при его власти.

Делясь личными впечатлениями о встрече со Сталиным, Фейхтвангер пишет: «На мое замечание о безвкусном, преувеличенном преклонении перед его личностью он пожал плечами. Он извинил своих крестьян и рабочих тем, что они были слишком заняты другими делами и не могли развить в себе хороший вкус, и слегка пошутил по поводу сотен тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с усами,— портретов, которые мелькают у него перед глазами во время демонстраций...» Когда же писатель добавил, что портреты вождя, его бюсты выставляются подчас и в тех местах, к которым они не имеют никакого отношения, Сталин стал серьезен. Он высказал предположение, что это люди, которые довольно поздно признали существующий режим и теперь стараются доказать свою преданность с удвоенным усердием. Да, он считает возможным, что тут действует умысел вредителей, пытающихся таким образом дискредитировать его. «Подхалимствующий дурак,— сердито сказал Сталин,— приносит больше вреда, чем сотня врагов». Всю эту шумиху он терпит, заявил он, только потому, что он знает, какую наивную радость доставляет праздничная суматоха ее устроителям, и знает, что все это относится к нему не как к отдельному лицу, а как к представителю течения, утверждающего, что построение социалистического хозяйства в Советском Союзе важнее, чем перманентная революция».

Поистине изумительно это простодушие изощренного писательского ума. Приехав в нашу страну в ту пору, когда санкционировалось почти все, что происходило, он и мысли не допускает, что и культ личности создавался с ведома самой этой личности, что и тут действовала своего рода директива. С детской наивностью писатель верит, что вождь с добродушным неудовольствием взирает, как народ восславляет его, в порыве коллективного творчества создает из него сверхчеловека. Он верит, что, если даже вождю все это не очень нравится, тот все же предпочтает не вмешиваться — из особой деликатности, как бы не желая

лишать свой народ любимого занятия. Но неужели столь проницательный автор и в самом деле убежден, что Сталин, которому докучает беспредельность обожания, просто не находит действенного средства пресечь это славословие? Это он-то не находит, тот, кто умел во множестве других случаев намертво запечатывать рты, кто вынудил народ онеметь на десятилетия?!

Гуманность покинула гуманиста? Проницательный наблюдатель оказался вдруг заурядным верхоглядом? Словом, хочу понять, откуда эти авторские воззрения и оценки, данные Сталину и сталинизму, оценки, которые сегодняшнему читателю — а он знакомится с книгой, так сказать, во всеоружии исторического опыта — кажутся откровенно предвзятыми, принадлежащими откровенному сталинисту. В уме не укладывается, как можно, пусть даже «лицом к лицу», заблуждаться настолько. Такому человеку... Писатель, кажется, бросил тень не только на свою репутацию. Мы ведь привыкли: раз так думает М. Горький... Раз это сказал Р. Роллан... Раз так считает П. Пикассо... Привыкли: мнение виднейших деятелей мировой культуры равнозначно истине.

Сталин не ограничивался одними правильными высказываниями, утверждает Фейхтвангер, он работал, он шел по правильному пути. Он объединял крестьян в артели, развивал промышленность, возделывал почву для социализма в Советском Союзе и строил социализм. Писатель не задается вопросом: а как все это делалось, какой ценой достигалась, скажем, та же всеобщая коллективизация деревни, по какой такой логике построения самого гуманного общества на земле под лемех того самого плуга, которым возделывалась почва для социализма, попало так много людей? Будто это и не так существенно. Будто превыше всего — выдумать прекрасную цель. А потом — к ней напролом...

А. Жид куда более осторожен и осмотрителен. Зная, каким неимоверным трудом достигалось все то, чем сегодня располагает Советский Союз, он вдруг выводит, оценивая итоги, полные трагического накала строки: «И если не сам Сталин, то человек вообще, натура человеческая разочаровывают. Все, чего добились, чего хотели, чего, казалось, уже почти достигли ценой такой борьбы, пролитой крови, слез, — и все это «выше человеческих сил»? И что теперь? Ждать еще,

смириться, отложить на будущее свои надежды? Вот о чем с отчаянием спрашиваешь себя в СССР. Даже думать об этом страшно.

После стольких месяцев, лет усилий человек вправе себя спросить: можно ли наконец немного приподнять голову? Головы никогда еще не были так низко опущены».

То, что Сталин всегда прав, считает А. Жид, означает, что Сталин восторжествовал над всеми. От взгляда Фейхтвангера тоже не ускользает «поклонение и безмерный культ, которыми население окружает Сталина». Но он находит этому объяснение. «И хотя это обожествление Сталина может показаться прибывшему с Запада странным, а порой и отталкивающим, все же я нигде не находил признаков, указывающих на искусственность этого чувства. Оно выросло органически, вместе с успехами экономического строительства...» Народ, считает Фейхтвангер, должен иметь когонибудь, кому мог бы выражать благодарность за несомненное улучшение своих жизненных условий, и для этой цели избирает не отвлеченное понятие, не абстрактный «коммунизм», а «конкретного человека» — Сталина.

Интересно, что эти суждения о Сталине немецкий писатель публично высказал еще до того, как они попали в его книгу. И высказал, именно не соглашаясь с тем, что написал Андре Жид в «Возвращении в СССР». Они содержались в его статье «Эстет о Советском Союзе», опубликованной в «Правде» 30 декабря 1936 года:

«Что касается более серьезных упреков Жида, то он прежде всего в ожесточенной форме критикует «обоготворение» Сталина. Верно, что в Советском Союзе столь исключительно чествуют Сталина, что это кажется необычным западноевропейскому человеку. Но если присмотреться глубже, то становится ясным, что это исключительное почитание относится не к Сталину, как к отдельному человеку, а как к представителю социализма. Это почитание Сталина не является чем-то искусственным, оно выросло вместе с результатами строительства социализма. Народ благодарен Сталину за хлеб и мясо, за порядок и образование и за оборону всего этого путем создания новой армии. Народ говорит: «Сталин» — и подразумевает под этим увеличивающееся благосостояние, растущее просве-

щение. Народ говорит: «Мы любим Сталина»,— и это является естественным, человеческим выражением его единомыслия с социализмом и с режимом».

Не доказывает ли это лишний раз, что личное знакомство с СССР ничего не изменило во взглядах писателя на нашего «вождя и учителя», на весь уклад нашей жизни по сравнению с заочно сложившимися представлениями?

Итак, культ личности как проявление искренней благодарности народа к своему благодетелю. Чем не объяснение? Обратите внимание, что среди высших благ, дарованных вождем народу, среди таких, как «хлеб», «мясо», значится и «порядок». Тот самый, теперь уже почти легендарный, наводимый «железной рукой». Даже в репрессиях, проводимых Сталиным, писатель увидит полезную публичную чистку собственного дома накануне войны. (Идея близости войны постоянно присутствует в его размышлениях, что важно помнить для понимания хода мысли Л. Фейхтвангера.)

Но то, что приветствует Фейхтвангер, у Жида трактуется совсем иначе, вызывает острую и решительную неприязнь. Уничтожение оппозиции в государстве или даже запрещение ей высказываться, действовать — дело чрезвычайно опасное. По А. Жиду, это — приглашение к терроризму. Для руководителей было бы удобнее, если бы все в государстве думали одинаково. Но кто тогда при таком духовном оскудении осмелился бы говорить о «культуре»? Как избежать крена без противовеса? «Я думаю,— заключает французский писатель,—что большая мудрость — прислушиваться к противнику; даже заботиться о нем по необходимости, не позволяя ему вредить,— бороться с ним, но не уничтожать. Уничтожить оппозицию... Как хорошо, что Сталину это плохо удается».

Не заслуживает ли это рассуждение пристального внимания именно в то время, когда мы заговорили о создании более демократических государственных и общественных структур, о необходимости ликвидировать наконец партийную монополию на власть, заговорили о многопартийности в жизни политической и многоукладности — в экономической. Без противовеса действительно не избежать крена. Какой же продолжительности должен быть «опыт», если и семьдесят с лишним лет «эксперимента», похоже, не всех убедили в этом?

А. Жида абсолютно не интересует степень искренности того обожания, которым окружен Сталин. Его, во всяком случае, гораздо больше занимают реальные последствия созданного в обществе режима личной власти, диктатуры новоявленного образца: «Диктатура пролетариата» — обещали нам. Далеко до этого. Да, конечно: диктатура. Но диктатура одного человека, а не диктатура объединившегося пролетариата, Советов. Важно не обольщаться и признать без обиняков: это вовсе не то, чего хотели. Еще один шаг и можно будет даже сказать: это как раз то, чего не хотели».

Немецкий писатель судит о Сталине, во многом основываясь на личных впечатлениях. Французский — черпает свои наблюдения исключительно из «отвлеченных» материалов — из наблюдений за нашей жизнью. Чье же мнение нам, потомкам, следует признать правильным? Удалось ли на сей раз опровергнуть известное утверждение о том, что лицом к лицу лица не увидать?

Присутствует ли «правда жизни» в таком, скажем, рассуждении Фейхтвангера? «По общему виду это походило больше на дискуссию, чем на уголовный процесс, дискуссию, которую ведут в тоне беседы образованные люди, старающиеся выяснить правду и установить, что именно произошло и почему это произошло. Создавалось впечатление, будто обвиняемые, прокурор и судьи увлечены одинаковым, я чуть было не сказал спортивным, интересом выяснить с максимальной точностью все происшедшее».

О каком таком нестрашном суде идет здесь речь? Что за святочная история излагается? А речь — о суде над «троцкистской группой Пятакова и Радека». Причем Л. Фейхтвангер излагает не чьи-то досужие домыслы — он свидетельствует. Пишет о том, что видел своими глазами.

Газеты сообщили: 23 января 1937 года в Октябрьском зале Дома союзов военная коллегия Верховного суда СССР в открытом судебном заседании приступила к разбору дела Пятакова, Радека, Сокольникова, Серебрякова и других, обвиняемых в измене Родине, шпионаже, диверсиях, вредительстве и подготовке террористических актов. Состав суда: председательствую-

щий— председатель военной коллегии Верховного суда СССР армвоенюрист В. В. Ульрих, члены суда — корвоенюрист И. О. Матулевич и диввоенюрист Н. М. Рычков. На процессе присутствуют рабочие московских заводов, представители советской общественности, писатели, в том числе А. Н. Толстой, Лион Фейхтвангер и другие. Широко представлена советская и иностранная печать. Присутствуют также члены дипломатического корпуса.

Свидетельствует литератор с мировым именем, тонкий знаток человеческой души, глубокий и проницательный художник-гуманист, которого никак уж не заподозрить в угодливой готовности извращать факты, писать на потребу. Значит, все — правда?

У «Москвы 1937» есть подзаголовок: «Отчет о поездке для моих друзей». Этой книгой автор как бы продолжает разговор с «людьми вообще довольно разумными», которые, напутствуя его в дорогу, говорили о том, что происходящие в Москве судебные процессы от начала до конца трагикомичные, варварские, из-за которых многие бывшие друзья Советского Союза стали его противниками. Многим, видевшим в общественном строе нашей страны идеал социалистической гуманности, стало казаться, что пули, поразившие Зиновьева и Каменева, убили вместе с ними и новый мир.

Фейхтвангер (с процессом Зиновьева и Каменева он знакомился по материалам печати и рассказам очевидцев) отвечает тем, кто так думает: «И мне тоже, до тех пор, пока я находился в Европе, обвинения, предъявленные на процессе Зиновьева, казались не заслуживающими доверия... Весь процесс представлялся мне какой-то театральной инсценировкой, поставленной с необычайно жутким, предельным искусством.

Но когда я присутствовал в Москве на втором процессе, когда я увидел и услышал Пятакова, Радека и их друзей, я почувствовал, что мои сомнения растворились, как соль в воде, под влиянием непосредственных впечатлений от того, что говорили подсудимые и как они это говорили. Если все это было вымышлено или подстроено, то я не знаю, что тогда значит правда».

Что и говорить, советская действительность сталинского образца ставила зарубежных друзей перед

суровой необходимостью каким-то образом совместить с наименьшим ущербом для коммунистических идеалов осуществляемую идею создания самого справедливого общества на земле с антигуманной политикой культа личности. С беспощадной расправой над политическими оппонентами, подавлением инакомыслия столь радикальным путем — истреблением инакомыслящих. То, что происходило у нас, в частности стремительное исчезновение с политической арены, а затем и из жизни известных всему миру партийных и государственных деятелей, выдающихся ученых, блистательных мастеров культуры, не могло пройти для мира незамеченным. А значит, не вызвать за пределами СССР тревоги, не подвести к вопросу: что же происходит, что изменилось в Стране Советов, на знамени которой попрежнему начертаны идеалы свободы и социального равенства, добра и справедливости и на которую попрежнему с надеждой устремлены взоры миллионов людей Земли? Не имея реального представления о масштабах творившихся беззаконий, внимательные наблюдатели тем не менее имели ясное представление о том, что казни и репрессии прочно вошли в действительность второй половины 30-х годов. Потрясенные и недоумевающие, изливали свою горечь и боль в письмах и дневниках Ромен Роллан, Стефан Цвейг, Томас Манн и многие другие выдающиеся деятели западной культуры, для кого слова «Октябрь», «Советский Союз» всегда звучали как пароль в прекрасное будущее.

Стефан Цвейг писал Ромену Роллану 28 сентября 1936 года: «Какой-то рок, какая-то метафизическая воля приводят людей к ослеплению. Так, в Вашей России Зиновьев, Каменев, ветераны Революции, первые соратники Ленина, расстреляны, как бешеные собаки... Вечно та же техника, как у Гитлера, как у Робеспьера: идейные разногласия именуют «заговором»; разве не было бы достаточно применить ссылку? Она была бы даже более суровым наказанием, чем эмиграция, которая (см. Троцкий) медленно грызет, убивает, доводит до бессилия...»

Австрийский писатель, радуясь за Россию, писал о ней как об интереснейшей стране, превосходящей полнотой жизни все страны мира, но добавлял при этом, страдая за Россию, что там сформировалась сверхмуссолиниевская диктатура, что там обожествлен диктатор.

Зарубежных друзей приводило в ужас, что в первой в мире социалистической стране происходили события, во многом напоминавшие те, что имели место в Италии в 1926 году, когда в связи с возвращением Муссолини в Рим одна из газет, приветствуя его, восклицала: «...нужно покончить с дурацкой утопией тех, которые считают, что каждый человек может мыслить своей собственной головой. Италия имеет только одну голову, фашизм имеет один только мозг. Эта голова, этот мозг — наш вождь. Инакомыслящим мы отрубим головы без всякой пощады».

Ромен Роллан запишет в своем дневнике в конце 1937 года: «В течение полутора лет (точнее — со времени смерти Горького) развернулся террор, который свирепствует по всему СССР... Смертельная тревога завладела всей жизнью Союза...» И далее следуют слова, которые, в сущности, и означают тот выход, который прогрессивные мыслители Запада нашли для себя самих, да и для всех, кто, невзирая на новые страдания и потрясения, выпавшие на долю первой в мире страны социализма, по-прежнему преисполнен веры в величие проводимого социального эксперимента. «Я не Сталина защищаю, а СССР — кто бы ни стоял в его главе,— пишет Роллан.— Вреднейшая вещь — идолопоклонство по отношению к отдельным лицам, будь то Сталин, Гитлер или Муссолини. Я стою за дело свободных народов, хозяев своей судьбы».

Тот же вопрос — о двух лицах Советского Союза — мучил и Фейхтвангера: «Советский Союз имеет два лица. В борьбе лицо Союза — суровая беспощадность, сметающая со своего пути всякую оппозицию. В созидании его лицо — демократия, которую он объявил в Конституции своей конечной целью. И факт утверждения Чрезвычайным съездом новой Конституции как раз в промежутке между двумя процессами — Зиновьева и Радека — служит как бы символом этого».

Логично ли это рассуждение? И нелогично, и негуманно. В промежутках между двумя «громкими процессами» появляется «самая демократическая Конституция» в мире, что само по себе трудно осознать демократически настроенному уму. А проникновенный художник-гуманист, не находя ни слова жалости к беспощадно уничтожаемым, ни слова осуждения того, кто таким образом вершит «правый суд», пытается примирить непримиримое — демократию и деспотию,

усматривает едва ли не добрый знак в том, что всего очевиднее свидетельствует совсем о другом — о безграничном лицемерии правящего режима.

Даже справедливость возмездия, когда она принимает формы жестокого насилия, наполняет трепетную душу состраданием, «милостью к падшим». А что же в этом случае? Поразительно: Фейхтвангер безоговорочно берет сторону власти, сторону Сталина. Он решительно отвергает всякие подозрения в том, что, привлекая к суду своих противников-троцкистов, обвиняя их в государственной измене, шпионаже, вредительстве и другой подрывной деятельности, Сталин руководствовался какими-то корыстными мотивами, например личными: «Объяснять эти процессы — Зиновьева и Радека — стремлением Сталина к господству и жаждой мести было бы просто нелепо. Иосиф Сталин, осуществивший, несмотря на сопротивление всего мира, такую грандиозную задачу, как экономическое строительство Советского Союза, марксист Сталин не станет, руководствуясь личными мотивами, как какой-то герой из классных сочинений гимназистов, вредить внешней политике своей страны и тем самым серьезному участку своей работы».

Собственные бездоказательные предположения представляются автору абсолютно неопровержимыми аргументами в пользу его точки зрения. И кажется, одно это требует серьезно заняться анатомией поразительного заблуждения выдающегося романиста.

Непонимание нашей жизни у Фейхтвангера порой, чуть ли не нарочито, граничит с преднамеренностью. Он вдруг «на полном серьезе» оповещает своих читателей о том, что с культом личности в СССР уже покончено. В 1937 году! Во всяком случае, «партийные комитеты Москвы и Ленинграда уже вынесли постановления, строго осуждающие «фальшивую практику ненужных и бессмысленных восхвалений партийных руководителей», и со страниц газет исчезли чересчур восторженные приветственные телеграммы».

С высоты наших сегодняшних знаний подобные суждения представляются по меньшей мере удивительно наивными, хотя нет никаких оснований сомневаться в их искренности. В самом деле, видимо только не разобравшись в практике взаимоотношений между высшим партийным руководством и низовыми звеньями, можно было так просто допускать в уме подобную

степень самостоятельности этих звеньев. Сами решили, сами постановили. Пошли, так сказать, против воли верхов. И далее — еще более «грубое искажение» нашей действительности тех лет: «В общем и целом новая демократическая Конституция, которую Сталин дал Советскому Союзу,— это не просто декорация, на которую можно посматривать, высокомерно пожимая плечами. Пусть средства, которые он и его соратники применяли, зачастую и были не совсем ясны — хитрость в их великой борьбе была столь же необходима, как и отвага,— Сталин искренен, когда он называет своей конечной целью осуществление социалистической демократии». А давно ли мы сами стали разбираться в том, что было тогда, давно ли появилось в нашем словаре это понятие: командно-административная система? Так что, оценивая сказанное и написанное тогда, справедливости ради необходимо делать поправку на время.

Интересно узнать, что имеет в виду автор, говоря о «хитрости», о «неясных средствах», тем более об «искреннем стремлении к социалистической демократии»? Не забывайте — это писалось в тот исторический момент, который лишь с годами предстанет перед в ужасе замершим человечеством как вершина сталинского произвола, как период расправ и казней, апофеоз беззакония и глумления над жизнью человека, не говоря уж о такой «мелочи», как его честь и достоинство.

С годами многие «хитрости» и «неясные средства», к счастью, прояснились. И теперь уже можно сопоставить во многом интуитивные предположения автора «Москвы 1937» с реальными фактами, со свидетельствами тех, кто отнюдь не со стороны взирал на те же, скажем, процессы, о которых повествует и Фейхтвангер, гневно бичующий всех, смевших из своего «прекрасного далека» сочувствовать Пятакову, Радеку и другим; всех, «хватавшихся» за самые абсурдные гипотезы бульварного характера, вместо того, чтобы поверить в самое простое, а именно, что обвиняемые были изобличены и их признания «соответствуют истине».

Он утверждает: «Советские люди только пожимают плечами и смеются, когда им рассказывают об этих гипотезах. Зачем нужно было нам, если мы хотели подтасовать факты, говорят они, прибегать к столь трудному и опасному способу, как вымогание ложного признания? Разве не было бы проще подделать

документы? Не думаете ли Вы, что нам было бы гораздо легче, вместо того чтобы заставить Троцкого устами Пятакова и Радека вести изменнические речи, представить миру его изменнические письма, документы, которые гораздо непосредственнее доказывают его связь с фашистами?..

Этого впечатления у меня действительно не создалось. Людей, стоявших перед судом, никоим образом нельзя было назвать замученными, отчаявшимися существами, представшими перед своим палачом. Вообще не следует думать, что это судебное разбирательство носило какой-либо искусственный или даже хотя бы торжественный, патетический характер».

«Советские люди смеются...» Между прочим, Фейхтвангер многократно использует в книге один и тот же прием, одну и ту же «систему доказательств» — ссылку на высший непререкаемый авторитет. «Советские люди убеждены», «Советских людей поражает...» И это при том, что, как ни трудно было заметить столь внимательному наблюдателю, у любого иностранца уже тогда, да и в более поздние годы, было, мягко говоря, не так уж много возможностей свободно встречаться и беседовать с представителями различных слоев советского общества. Так что это чрезмерная смелость любого из них утверждать, не рискуя обознаться, в чем же именно убеждены, а в чем нет советские люди; когда они смеются. а когда плачут. Подобная ссылка — своего рода литературный подлог, прибегнуть к которому честного художника могли вынудить разве что чрезвычайные обстоятельства. А ощущал ли себя в подобных обстоятельствах такой честный писатель, как Лион Фейхтвангер?

Помедлим еще немного с ответом на этот вопрос, чтобы внимательнее присмотреться, каким образом замечательный романист опровергает предположения своих друзей, перед которыми отчитывается этой книгой. Каким образом пытается убедить их, будто все сомнения насчет московских процессов лишены серьезных оснований? Он вводит их в обстановку этих процессов, как бы ближе знакомит с обвиняемыми, воссоздавая их характеры, в подробностях живописуя их поведение в ходе судебного разбирательства, их манеры и внешний вид.

Автор так усердно уверяет читателя в бесспорности вины подсудимых, да и в абсолютной правдивости своих собственных наблюдений, что в этом в конце концов начинает сквозить вроде бы нарочитость. В самом деле, зачем человеку, тем более обладающему чувством меры, так много раз повторять, что он прав, если сам он не сомневается в своей правоте? И зачем в характеристиках главных «героев» процесса опускаться до холодной бесчувственности, если ситуация располагает скорее к обратному — к тому, чтобы чувства били через край?

Понимая, что его психологические зарисовки подсудимых способны убедить далеко не всех и далеко не во всем, писатель продолжает втолковывать «своим друзьям», как следует им понимать происходящее в Москве, с тем чтобы не остывала их любовь к нашей стране. Кажется, он готов поставить на карту свой высокий авторитет, свою репутацию проницательного социального исследователя и честного литератора, лишь бы побудить многих еще и еще раз задуматься над тем, что происходит у нас и во всем мире, еще и еще раз задуматься, быть может, для того, чтобы не ставить знак равенства между нашей предвоенной действительностью и уже утвердившимся германским фашизмом.

Ведь, в сущности, он берется доказать, что приговоренные к жестоким наказаниям, чаще всего — к смерти, иной участи просто не заслуживали. Следствие, суд глубоко разобрались в деле, и лишь прирожденные скептики могут по-прежнему в чем-то сомневаться. Тем не менее таковые находятся и среди его друзей. Они все еще отказываются признать достоверность обвинения на том, например, основании, что поведение обвиняемых перед судом психологически необъяснимо.

«Почему обвиняемые, спрашивают эти скептики, вместо того чтобы отпираться, наоборот, стараются превзойти друг друга в признаниях? И в каких признаниях! Они сами себя рисуют грязными, подлыми преступниками. Почему они не защищаются, как делают это обычно все обвиняемые перед судом?»

Вопрос о том, почему обвиняемые признаются, был одним из ключевых. Об этом много говорилось и писалось. Разумеется, больше всего на Западе. Версии существовали самые разные — от «абсолютно

достоверных» до совершенно фантастических. Поскольку безоговорочные признания столь многочисленных обвиняемых, людей очень разных по характеру и образу поведения, действительно наводили на подозрения относительно методов ведения следствия, принципов подготовки к судебному разбирательству, его организаторы и исполнители, чувствуя, что надо ответить официально, решили, что называется, пойти ва-банк. Задать всех волнующий вопрос тут же, в зале заседания. И не кому-нибудь — самим обвиняемым. Дескать, таким образом и будет раз и навсегда установлена истина. Раз сами говорят...

Итоги этого «опыта» подведены в «Правде», в статье «Почему они признаются», принадлежащей перу Д. Осипова и увидевшей свет 27 января 1937 года. Автор недоумевает поначалу, что кого-то вообще может удивить признание всеми подсудимыми своей вины. Эта картина суда, считает он, необычна на буржуазный взгляд. Но не на наш. Она ведь в той или другой мере повторялась и на предыдущих процессах контрреволюционных организаций. Так было на процессе Промпартии и на процессе меньшевиков. Так было и на процессе троцкистско-зиновьевского центра.

Так почему же, по мнению автора «Правды», признавались подсудимые в советском суде?

«Этот вопрос был задан государственным обвинителем тов. Вышинским Богуславскому и Муралову — старым троцкистам, членам сибирского центра троцкистской подпольной контрреволюционной организации.

Быть может, спрашивал тов. Вышинский, есть давление со стороны во время заключения? Ведь распространяет наиболее лживая часть буржуазной печати нелепые басни о каких-то неведомых методах допроса на предварительном следствии. (Заметьте, уже в форме вопроса содержится подсказка обвиняемым. Если другое мнение — нелепые басни, распространяемые наиболее лживой прессой Запада, если методы допроса, с помощью которых можно получить какие угодно показания, просто нелепы, то, стало быть, подсудимые, будь они «до конца честными», должны сказать именно то, что от них требуется.— *А. П.*) Подсудимые категорически отвергли такое предположение. Они подтверждают, что следствие велось в совершенно корректной форме, что ни о каком насилии, прямом или

косвенном, не может быть и речи. Подсудимый Муралов заявил, что в заключении к нему относились все время культурно и воспитанно.

Известно, что подсудимые не сразу после ареста дали показания. Муралов отрицал вину восемь месяцев, Богуславский — восемь дней. Радек запирался три месяца... Но сколько бы времени ни старался молчать каждый из них о подлинных своих преступлениях, все они в конце концов заговорили.

Заговорили... Но степень полноты и откровенности признания определяется прежде всего полнотой собранных против них улик. Подсудимые признают то, что уже раскрыто следственными органами НКВД и прокуратуры. Обвинение обосновано строго фактически. Преступник убеждается в том, что его роль в контрреволюционной организации известна. Против него свидетельства других участников, документы, точные данные.

Эта точность, обоснованность обвинения — важнейшая черта всех процессов. Подсудимые подавлены прежде всего тяжестью неоспоримых улик. Бессмысленно отрицать свою вину перед лицом очевидности. Запирательство в таких условиях только подтверждает виновность. На суде оно поставило бы подсудимого в жалкое и смешное положение. Так было, например, с И. Н. Смирновым на процессе троцкистско-зиновьевского центра. Организатор троцкистских банд пытался отрицать факты строго проверенные, точно установленные. Его высмеивали и разоблачали собственные его единомышленники и жена...»

А почему они признаются, по Фейхтвангеру? Какова его версия? «Вот почему, говорят советские люди» — так названа специальная главка, где содержится ответ на этот вопрос. «То, что обвиняемые признаются, возражают советские граждане, объясняется очень просто. На предварительном следствии они были настолько изобличены свидетельскими показаниями и документами, что отрицание было бы для них бесцельно. То, что они признаются все, объясняется тем, что перед судом предстали не все троцкисты, замешанные в заговоре, а только те, которые до конца были изобличены...»

«Правда» указывает и на другой мотив признания: заговорщиков разъедали сомнения — и тем больше, чем больше выяснялась разница между словами,

директивами Троцкого и подлинной советской действительностью. Троцкий говорил: советская страна идет к гибели. Факты говорили: страна крепнет. Троцкий говорил: надо возвращаться к капитализму. Факты говорили: страна строит социализм. Троцкий говорил: в стране должна расти нищета. Факты говорили: в стране растет благосостояние трудящихся.

Другой мотив указывает и Фейхтвангер. «Обвиняемые,— пишет он,— были приверженцами Троцкого: даже после его падения они верили в него. Но они жили в Советском Союзе, и то, что изгнанному Троцкому представлялось в виде далеких смутных цифр и статистики, для них было живой действительностью. Перед этой реальной действительностью тезис Троцкого о невозможности построения социалистического хозяйства в одной, отдельно взятой стране не мог рассчитывать на продолжительное существование. В 1935 году, перед лицом возрастающего процветания Советского Союза, обвиняемые должны были признать банкротство троцкизма».

Словом, им «ничего другого не оставалось,— если они были убежденными социалистами,— как в последнем выступлении перед смертью признаться: социализм не может быть осуществлен тем путем, которым мы шли,— путем, предложенным Троцким, а только другим путем — путем, предложенным Сталиным».

Такому истолкованию абсолютной логичности событий позавидовал бы, кажется, любой штатный апологет сталинизма из числа внутренних обозревателей, десятилетиями набивавших руку на внушениях, будто все происходящее у нас отвечает лучшим народным чаяниям и народ не сегодня завтра будет уже счастлив, поскольку страна вот-вот достигнет светлого будущего. Все у нас близко к совершенству, а уж суд над троцкистами уже, можно сказать, само совершенство.

Но вот что заметно при сопоставлении взглядов «внутренних обозревателей» с суждениями Л. Фейхтвангера: они близки не только по смыслу, но и по фразеологии. Сразу становится ясно, кого конкретно имеет в виду знаменитый автор под словами «советские люди». Под этим «псевдонимом» он преподносит мнение не какого-то своего московского знакомого, не случайного прохожего, а взгляд официальной пропаганды. При этом и мысли не допускает, что у советских

людей может быть на сей счет какое-то другое мнение, кроме изложенного на страницах партийного официоза.

Еще до появления своей книги Лион Фейхтвангер как бы развернул борьбу за зарубежного читателя. Он был, надо думать, далек от намерения пробудить ко всему написанному А. Жидом недоверие в читательской среде в надежде на то, что, чем меньше будут доверять его литературному сопернику, тем больше — ему самому. Тем не менее, предвосхищая публикацию да и написание «Москвы 1937», он немало сделал, чтобы заставить читателя усомниться в компетентности суждений А. Жида об СССР. Уже упоминавшаяся статья «Эстет о Советском Союзе» может быть расценена именно так.

«Когда Андре Жид в свое время, после путешествия в глубь Африки, объявил себя коммунистом, то это обращение прежде всего было делом эстетики, припадком сентиментальности чувствительного писателя, нервы которого потрясли страдания эксплуатируемых негров Конго,— пишет Л. Фейхтвангер.— В Советском же Союзе приняли то, что он говорил о коммунизме, то, что он выразил в своей красивой книге о путешествии в Африку, как нечто реально-политическое. В действительности этого никогда не было. «Коммунизм» Жида не является результатом логических рассуждений. Его приход к коммунизму был делом настроения; было случайностью, что он тогда не высказался за католицизм. Он с тем же успехом мог прийти к Иисусу и Марии, как к Марксу и Ленину.

Вдобавок Жид, без сомнения, отправился в Советский Союз с неправильными предпосылками. Он неправильно понял проект Советской Конституции и спутал подлинную демократию, к которой пришел СССР, с формальной демократией западноевропейских стран. И он был глубоко разочарован, когда не нашел в Советском Союзе свободы мнений и печати в западноевропейском смысле. Он был, несомненно, серьезно расстроен, когда увидел, что советские люди не намерены сменить свой социализм на парламентаризм западноевропейской чеканки».

Конечно, нелепо и ошибочно оценивать сейчас сказанное и написанное в определенной исторической

обстановке по законам совершенно другой эпохи. Тем не менее надо иметь в виду: здесь один художник слишком уж размашисто, безапелляционно судит о другом, словно бы отказывая ему в праве претендовать на иной взгляд.

«Андре Жид,— продолжает Фейхтвангер,— поехал в СССР как парижанин с утонченным вкусом, насмешливый, крайне эгоцентричный, рассматривая Париж как само собой разумеющийся центр мира. Он взирал без всякого участия на то великое, что можно видеть в Советском Союзе; зато его внимание и интерес привлекли некоторые мелкие неоспоримые безвкусицы, которые здесь можно найти. Подобно тому как французы в течение долгого времени лишь против своей воли признавали величие Шекспира, постоянно обвиняя его в безвкусице и варварстве и в лучшем случае считая его гениальным дикарем,— Жид придирчивым глазом увидел в Советском Союзе некоторые мелкие неполадки, безвкусицу, недостаток комфорта. Но он не увидел великую, возвышенную планомерность целого.

Советский Союз так окреп, его оформившаяся разумная сущность является настолько очевидным фактом, что сегодня суждение, высказываемое о Советском Союзе, свидетельствует больше о личности наблюдателя, чем об объекте наблюдения. В Советском Союзе можно видеть огромные достижения социализма, можно наблюдать, насколько богаче, мощнее, образованнее и счастливее стала страна. В то же время, однако, можно усмотреть, что в этой стране еще не живется комфортабельно в западноевропейском смысле. Можно, например, наблюдать, что в большинстве уборных висит газетная, а не клозетная бумага, какую можно обычно найти в западноевропейской уборной; Жид предпочел во всем устремить свое внимание на недостаток клозетной бумаги...»

Но вот весьма важное для наших последующих выводов заключение: нельзя отрицать, что в отдельных областях желательна бо́льшая терпимость, соглашается Л. Фейхтвангер. «Но разве Жиду не известно, что Советский Союз находится под серьезной угрозой, что он чувствует себя в состоянии войны? Разве Андре Жиду не известно, что люди здесь должны работать, подобно тем библейским евреям, которые строили свой новый храм, держа в одной руке инструмент каменщика, а в другой — меч? В этих условиях не так

просто, да и нецелесообразно ослаблять дисциплину. Вожди Советского Союза поступают мудро, продолжая крепко держать в руках кормило правления. Ведь пока что не устранены опасности, которыми угрожает фашизм.

Жид приехал в Советский Союз не как человек, который желает наблюдать без предвзятости, а как пресыщенный эстет, жаждущий новых ощущений. Ему здесь пришлось не по вкусу. Это его частное дело. Но он заявил об этом в момент, когда нападение на Испанию угрожает делу борьбы за социализм во Франции и во всем мире; это было,— и это должен был понимать даже эстет Жид,— помощью противнику, ударом по социализму, ударом по прогрессу всего мира».

На видный план у Фейхтвангера, как не раз впоследствии в «Москве 1937», выступают соображения войны и мира, соображения большой политики.

Словом, задолго до завершения поездки в СССР, до начала январского 1937 года судебного процесса над «антисоветским троцкистским центром» у писателя сформировались многие его взгляды и представления о «советском образе жизни» и мысли, которые позже и будут подаваться как результат личных впечатлений и наблюдений над нашей реальной действительностью, как следствие личных ощущений, вынесенных из многочисленных встреч с представителями всех слоев советского общества. Он словно бы упорно не желал замечать живую реальность.

Он критикует Жида, опровергая и самые бесспорные его наблюдения, за то, что тот отправился в СССР с неправильными предпосылками и не уловил отличия «подлинной демократии» от формальной буржуазной. Фейхтвангер обосновывает разумными доводами все наши ошибки и просчеты. И, между прочим, в этом остается верен многолетней традиции, в соответствии с которой другом нашей страны мог считаться лишь тот, кто умел воспринимать наши слабости как безусловное, хотя и своеобразное проявление силы, кто все наши недостатки, вплоть до чудовищных извращений, воспринимал не иначе как продолжение огромных достоинств.

А ведь, как теперь доподлинно известно, многое, обозначившееся уже в процессе его работы над правдинской статьей, могло насторожить и заставить задуматься о том, что в советском обществе происходят

какие-то процессы, которые глубокий и честный художник не может не отразить.

Статья об Андре Жиде появилась в «Правде» в несколько видоизмененном, точнее, искаженном виде. О том, почему это произошло и чего это стоило Фейхтвангеру, докладывала «в инстанции» Д. Каравкина, «опекавшая» писателя в дни его московской жизни. Из ее донесений явствует, что первоначальный вариант, которым сам автор был доволен, не устроил «Правду». «Сегодня был трудный день,— сообщает сотрудница,— так как Фейхтвангер поспешил излить на меня все свое негодование по статье о Жиде. Вот, мол, и оправдываются слова Жида о том, что у нас нет свободы мнений, что нельзя высказывать своих мнений и т. д.

Мехлис (в те годы главный редактор «Правды».— *А. П.*) предложил ему переделать некоторые места, в частности о «культе» Сталина. Я ему объяснила, в чем суть отношений советских народов к тов. Сталину, откуда это идет, что совершенно ложно называть это «культом».

Он долго кипятился, говорил, что ничего не будет менять, но, когда пришла сотрудница «Правды» Мария Остен, он уже остыл, смирненько сел с нею в кабинете и исправил то, что она просила, за исключением фразы о «терпимости», которую ни за что не хотел выбросить».

Так как такой весьма внушительный факт, как признания обвиняемых, их точность и определенность, опровергнут быть не может, уверяет Фейхтвангер, сомневающиеся стали выдвигать самые авантюристические предположения о методах получения этих признаний. В первую очередь, конечно, было выдвинуто наиболее примитивное, по его мнению, предположение, что обвиняемые под пытками и под угрозой новых, худших пыток были вынуждены к признанию.

Увы, «примитивное предположение», как теперь мы знаем, оказалось правильным. А вот столь блистательные психологические изыски романиста предстали с годами неким искусным нагромождением слов, результатом по меньшей мере заблуждения.

Опровержений с высоты сегодняшних знаний можно приводить множество. Вот лишь одно — свидетельствующее о том, как создавались и самые «неопровер-

жимые улики», как делались те самые «дела», форма и содержание которых как будто представлялись Фейхтвангеру абсолютно бесспорными. Свидетельство принадлежит Александру Орлову, в прошлом генералу НКВД, бежавшему на Запад и умершему в США в 1973 году. Его воспоминания — не просто очевидца, а скорее участника событий 1937 года, ясно, что не со стороны защиты. (Отрывки из книги А. Орлова впервые в советской печати появились в «Комсомольской правде» от 6 июля 1989 года, публикация С. Заворотного, затем главы из нее опубликовал журнал «Огонек» в № 46—52 за 1989 год.)

Одним из «препарированных результатов» предварительного следствия было «искреннее признание» Пятакова на суде в том, что он встречался с Троцким уже в те годы, когда, изгнанный из СССР, тот проживал в Норвегии. Естественно, подобное признание стало своего рода козырным тузом обвинения, одним из опорных пунктов доказательства существования троцкистского заговора. Но, как выясняется (в том числе и из свидетельства Орлова), замысловатый сюжет показаний Пятакова к реальным событиям никакого отношения не имел. И возник он не где-нибудь, а в Кремле — при личном участии Сталина, о котором, к слову, Фейхтвангер очень верно замечает: «Сталин — мне много об этом рассказывали и даже документально это подтверждали — обладает огромной работоспособностью и вникает сам в каждую мелочь, так что у него действительно не остается времени на излишние церемонии». Действительно, ему до всего было дело. В том числе и до формирования «правильных показаний» иных подследственных.

При слушании в Кремле уже добытых у Пятакова показаний (были, оказывается, и такие «слушания») Сталин, не вполне удовлетворенный, пожелал, чтобы автор кое-что в них переработал. Незачем, к примеру, утверждать в обвинительном заключении, что директивы Пятаков получил от Троцкого по переписке. Лучше — во время личной встречи. Но поскольку такой встречи никогда не было, необходимо было ее домыслить как можно правдоподобнее. Выполнить это сталинское указание оказалось непросто: никак не удавалось достаточно убедительно разработать легенду о путешествии по железной дороге Пятакова из Берлина, где тот находился с дипломатической миссией,

в Осло, а оттуда в Вексаль, где проживал Троцкий, согласовать все с расписанием движения поездов. Реальные факты не укладывались в желательную схему. Ведь в соответствии с ней выходило, что Пятаков вроде бы незаметно исчез из Берлина на целых двое суток, при том, что на самом деле безотлучно находился там, участвовал в деловых встречах с представителями немецких фирм, постоянно был у них на глазах — вел переговоры, заключал контракты. Столь заметное расхождение с реальностью, если бы обвинение все же решилось на железнодорожную легенду, было все же рисковано. Тогда с благословения вождя Пятакова решили «переправить» в Норвегию самолетом, дабы сэкономить время на дорогу и сократить до минимума его отлучку. Согласно новой версии, оглашенной на суде, свидетельствует Орлов, Пятаков приземлился на аэродроме под Осло и, пройдя официальную проверку документов, отправился на машине к Троцкому. Но уже через два дня после того, как сам обвиняемый изложил суду эту «абсолютную правду», ее напрочь опровергла норвежская газета «Афтенпостен», сообщив, что в декабре 1935 года никакие гражданские самолеты в указанном аэропорту не приземлялись. Обвинение в связи с этим пыталось убедить суд, предъявив официальную справку консульского отдела Народного комиссариата иностранных дел СССР, в том, что аэродром в Хеллере, близ Осло, принимает круглый год согласно международным правилам аэропланы других стран и что прилет и отлет туда возможен и в зимнее время. Но последовало новое опровержение: управляющий аэродромом сообщил, что в декабре 1935 года там не приземлялись никакие иностранные самолеты.

И Фейхтвангер, несомненно, знал об этих опровержениях — не мог не знать, работая над книгой «Москва 1937», ибо разоблачение отозвалось международным скандалом. Но быть может, положившись на свое психологическое чутье, а также привычку не доверять «желтой прессе», он не придал надлежащего значения подобным фактам? К слову, и в своих изощренных психологических догадках он тем не менее, как знаем теперь, даже близко не подошел к тем реальным мотивам, которыми подчас руководствовались обвиняемые, занимаясь отнюдь не чистосердечными признаниями, а чистейшим самооговором. Радек, например,

после долгой изматывающей «обработки» пошел на абсолютно непредсказуемый шаг — не просто подписал протокол допроса, составленный следователем, а, согласно опять же свидетельству Орлова, подошел к делу творчески: собственноручно отредактировал его, вернее, переписал заново, существенно изменив. Усовершенствовал и стилистически, и психологически, углубил, чтобы придать якобы имевшим место событиям, свидетелем и участником которых ему требовалось считать себя, бóльшую достоверность. Роль мнимого заговорщика захватила Радека, поскольку он, человек по своей натуре абсолютно неспособный стать заговорщиком реальным, усмотрел в ней шанс интеллектуального состязания с другими подсудимыми и даже с прокурором.

Итак, читая сегодня книгу Фейхтвангера, не устаешь поражаться ее полнейшей заданности. Создается впечатление, что с первых же страниц автор стремится не столько разобраться в нашем внутреннем положении, сколько полностью оправдать его. Доказать, что все идет прекрасно: первая в мире страна социализма день ото дня все крепче и сильнее, народ живет все лучше и лучше, а ликвидация троцкистского заговора сделала советское общество, уверенно руководимое простым и мудрым вождем, как никогда единым и могучим, готовым достичь и самых недоступных вершин.

Подобных утверждений раздавалось в то время немало — это были голоса не извне, а изнутри, принадлежавшие в основном нашим соотечественникам, лишенным всякого права на иные чувства, кроме чувства удовлетворения и восторга. Но зачем было независимому иностранному литератору добровольно выслуживаться, как бы влезать в сталинскую кабалу, как бы пытаться попасть верноподданническими излияниями в плеяду сладкоголосых летописцев той эпохи? Фейхтвангеру-то зачем Сталинская премия? Хоть материальная, хоть моральная?

При жизни Сталина «великого вождя» и его политику воспевали многие — хором и солируя, попеременно, а то и наперебой. Политики, ученые, писатели, художники, рабочие, солдаты по-разному изливали свои чувства, неумело или изысканно, с большим вкусом или совершенно безвкусно. Простые и непростые смертные. Те, кого мы с вами давно забыли, и те, чьи имена будут долго помнить и после нас. Это стало

ритуалом, политической молитвой, если хотите, социальным заказом, который многие исполняли самозабвенно, как бы откликаясь на зов души. Десятилетия внушений делали свое дело. Кто-то, себе на уме, льстил сознательно, то есть корыстно — из чувства самосохранения, как бы доказывая свое алиби, не желая попасть в опалу. Да мало ли какую цель могли преследовать певцы сталинизма! А какую — Л. Фейхтвангер? Художник того уровня раскрепощенности и самостоятельности, где служение истине — превыше всего? Какой истине служил он в этом случае? Зачем писал в то время: «...весь громадный город Москва дышал удовлетворением и согласием и более того — счастьем». Весь. Он не видел исключений. Не видел или не признавал?

Как будто бы есть немало оснований, читая эти произведения, склониться к мысли, что если А. Жид остался верен себе, то Л. Фейхтвангер писал то, что выгодно Сталину. Действительно, версия о том, что немецкого писателя обольстили, или даже подкупили, имела, да и имеет широкое распространение. И выглядит она довольно правдоподобно, учитывая некие незыблемые традиции взаимоотношений власти с художниками, особенно диктаторских режимов.

Сталин в этом смысле пошел, пожалуй, дальше многих своих предшественников. При нем даже возник так называемый социалистический реализм, якобы новейший метод художественного воссоздания жизни, новаторское воспроизведение ее в слове, в красках, в камне. А на самом деле — старый как мир прием: с одной стороны, восславлять все то, что скажут, с другой — изничтожить, сровнять с землей опять же то, на что укажут. Закрывать глаза на недостатки и открывать исключительно на светлые стороны жизни — как кукла, по команде закрывать и открывать глаза.

Так не исполнена ли «Москва 1937» именно методом социалистического реализма, в то время как «Возвращение из СССР» написано методом реализма самого обыкновенного, нормального?

Могли ведь и обольстить. Вспомним: в то время и самые неприхотливые, те, кому, кажется, ничего и не требовалось — ни злато, ни блага жизни, нуждались в одном-единственном благе: в улыбке Сталина, им адресованной, в его поощрительном кивке. (Это и была, так сказать, моральная Сталинская премия.) А мо-

жет, Фейхтвангер не разобрался в обстановке? Не вник, не понял, не учел? Ошибся? Все ошибаются. Не забудем — иностранный автор. В чужой стране — в кратковременной командировке. А тут такие события... «Жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай». Да и писал, учтите, не для нас с вами — для западного читателя. А нам ли не знать, насколько экспортный вариант отличается от рассчитанного на внутреннего потребителя, идет ли речь о ширпотребе или, увы, о продукции духовной. Там это читалось совсем иначе, чем здесь. Как много из того, что писалось специально для нас, совсем иначе воспринималось за границей! Вспомните хотя бы нашу недавних времен международную журналистику — как воспринималась она теми, кто родом из «той жизни»? А целый пласт отечественной литературы, построенной на зарубежном материале? Эти романы, драмы, прочие жанры беллетристики, этот поистине политический театр, а не реальная жизнь. Одну жизнь так трудно перевести на язык другой жизни. Может, и у Фейхтвангера — всего лишь неудачный перевод?

Убежден — он действовал с умыслом, а умысел бывает разный. Не только злой.

Несомненно, находясь в СССР, Л. Фейхтвангер испытывал огромное моральное и психологическое давление властей. Наученные «опытом А. Жида», они стремились на этот раз исключить саму возможность вторичного проявления подобного своеволия. Давление это принимало самые разные формы, высшей среди которых был личный прием писателя И. В. Сталиным.

Скажу и еще об одной. В дни пребывания Л. Фейхтвангера в Москве опять же в «Правде» совершенно «неожиданно» появляется публикация «Ромен Роллан об Андре Жиде. Ответное письмо иностранным рабочим Магнитогорска». Во врезке, предваряющей ответ, сказано:

«Иностранные рабочие Магнитогорского металлургического комбината, возмущенные книгой Андре Жида «Возвращение из СССР», послали письмо об этом Ромену Роллану. Иностранные рабочие поражены «превращением» Андре Жида и зло высмеивают его выводы».

Письмо заканчивается так:

«Когда мы рассказали русским рабочим, что Андре Жид считает их «ленивыми» и «неповоротливыми», они, смеясь, ответили: «Поэтому мы выгнали эксплуататоров из нашей страны, изгнали империалистов; поэтому уничтожили безработицу, а наша социалистическая промышленность выросла в семь раз; поэтому в нашем сельском хозяйстве работают 400 тысяч тракторов; поэтому, наконец, растет наше материальное и культурное благополучие. Хороши «лень» и «неповоротливость»!»

Полагаю, что сам стиль письма не оставляет никакого сомнения в том, что оно «действительно» написано рукой иностранных рабочих.

Тем не менее этот «человеческий документ» впечатляет куда меньше, чем само письмо Ромена Роллана, который, как мы уже знаем, лучше других представлял в те годы истинное положение дел в Советском Союзе.

«Вильнев (Во). 5 января 1937 г.

Дорогие товарищи!

Я понимаю ваше возмущение по поводу книги Андре Жида. Это — дурная книга, к тому же посредственная, на редкость убогая, поверхностная, ребяческая и противоречивая. Если она вызвала много шума, то это отнюдь не потому, что она представляет какую-либо ценность. Ее ценность ничтожна. Шум был поднят вокруг имени Жида. Его известность использовали враги СССР, которые всегда начеку, которые в своей злобе против СССР всегда готовы пустить в ход любое оружие.

Я реагирую на книгу Жида подобно Островскому. Я сердит на Жида не столько за его критику, с которой он мог выступить открыто в бытность свою в СССР, если бы он был искренен, сколько за его двойную игру, за то, что он в СССР не переставал заверять в своей любви и преклонении перед Советским Союзом, а вернувшись во Францию, нанес СССР удар в спину, не переставая при этом уверять в своей «искренности».

Здесь говорят, что Жид уверяет, будто он не хотел причинить вреда Советскому Союзу и революции. Говорят, он жалуется на то, что вся антисоветская пресса использует теперь его книгу. Но ведь в предостережениях Жиду недостатка не было. Я знаю, что

друзья предупреждали его о том зле, которое он собирается совершить, и настойчиво просили его подумать, прежде чем выпускать свою книгу. Но он не считался с этим и поспешил опубликовать свою книгу большим тиражом и по низкой цене. Если он теперь протестует против поздравлений и унизительных панегириков со стороны прислужников реакции вплоть до «Фелькишер беобахтер», то это значит, я полагаю, что он чувствует себя неловко. Ведь это обвинительные акты, направленные против него. Но теперь уже поздно, зло совершено. Найдет ли Жид в себе достаточно сил его исправить? Сомневаюсь в этом... Если б он, по крайней мере, пожелал этого! Ближайшие месяцы нам это скажут.

Но я еще раз скажу подобно Островскому: «Я не хочу больше говорить о нем». Ни он, ни кто бы то ни было, ни что бы то ни было никогда не смогут остановить ход истории и развитие Советского Союза. СССР и не то видел!

...Будем же все бороться, не будем успокаиваться на достигнутых результатах и будем ставить перед собой все более высокие цели! При каждой неудаче будем повторять слова Островского о Ворошилове и Буденном, сражавшихся на подступах не помню к какому городу, захваченному белыми: «Семнадцать раз они вели наши части в атаку. Что было бы, если бы они сдались с первого раза?»

Повторим также слова самого Ворошилова, с которыми он недавно обратился к женам командиров Красной Армии:

«Мы уже сделали много, но нам предстоит еще громадная работа... Мы не должны ни на один миг воображать, что мы уже сделали все или почти все. Это было бы хвастовством и зазнайством, а вы, наверное, знаете, что это не в духе большевиков. Товарищ Сталин является самым непримиримым врагом хвастовства и зазнайства».

И сам Сталин (мне нет необходимости говорить: «вождь народов», ведь Жид утверждает, будто его заставляли так говорить и что в СССР нельзя Сталина называть «товарищ» или говорить ему просто «вы». А между тем я так к нему всегда обращался в наших беседах, в Кремле, у Горького и в «Правде» от 23 июля 1935 года), сам Сталин писал в своей книге «Вопросы ленинизма», что «скромность украшает большевика»...

И пусть нас не трогает бешеная ненависть врагов и банкротство друзей, слишком слабых для того, чтобы следовать за нами. Будем жить радостями наших плодотворных усилий (эти усилия — радость), нашей славной и трудной работы и того счастливого будущего, которое мы создаем нашим трудом.

Жму вам всем братски руку

Ромен Роллан».

Разумеется, появление этого документа в печати именно в определенные дни отнюдь не случайно. В те годы, как, впрочем, и в более поздние, вообще ни одна строка, опубликованная в газетах, случайной не была. Тем более ни одна строка в «Правде».

Какой же «побочный» смысл заключался в появлении письма?

Это было, скорее всего, напоминание и даже предостережение Фейхтвангеру. По сути, устами Ромена Роллана немецкому писателю давали понять, в каком направлении должна работать его мысль. Более того, ему подсказывали, что в нашей жизни следует замечать, а чего замечать не следует. Учитывая, так сказать, сложность момента. Какой следует ему представить нашу жизнь западному читателю.

Ромен Роллан, обратите внимание, давая уничижительную оценку работе А. Жида, особо подчеркивает как бы несвоевременность ее появления в свет, косвенно утверждая тем самым, будто отнюдь не всегда нужно замечать все подряд, обо всем говорить открыто, в полный голос.

В нашей истории, между прочим, есть и другие примеры, когда еще более отчетливо, впрямую говорилось о несвоевременных мыслях. Не о неправильных — о правильных, но не вовремя произнесенных или написанных. Дескать, не всякое время пригодно для абсолютной искренности, для полной правды. Тут не следует давать себе волю... Докопаться до правды — еще не все, надо иметь ясное представление о том, когда, кому и в какой момент ее следует сказать. Следует сопрягать свою откровенность, свою незакомплексованность именно с историческим моментом, с реальной политической обстановкой. А то ведь и правдой можно порой скорее помешать, чем помочь, скорее ранить, чем исцелить, скорее усугубить положение, чем его исправить.

Но похоже, что Л. Фейхтвангер и без лишних напоминаний, в отличие от А. Жида, этого никогда не забывал. Во всяком случае, работая над записками, он постоянно думал о том, как сбалансировать свои положительные и отрицательные впечатления. Он постоянно вчитывается в то, что пишет, глазами читателя, прогнозируя, какие впечатления о нашей стране вынесет тот из его книги. Он был озабочен тем, чтобы это неизменно были хорошие впечатления. В то время как А. Жид, судя по всему, полагал, что надо писать все, что ты увидел, что понял и открыл, с предельной искренностью изливать на бумагу свои чувства. А там, как говорится, будь что будет.

Какой же метод следует признать более правильным? Ответ как будто очевиден: наши симпатии должны быть отданы безраздельной правде. Но обстоятельства времени, принятые во внимание Лионом Фейхтвангером, способны, по-моему, хотя бы отчасти поколебать эту точку зрения.

Различие взглядов на нашу действительность у двух замечательных писателей во многом объясняется куда проще, чем может показаться. А именно тем, что они были родом из разных стран: один из еще свободной и демократической Франции, другой — из Германии.

Стоит ли говорить, что, изгнанный из Германии, Фейхтвангер продолжал жить ее проблемами, неотступно думать о ней, о страшном недуге, поразившем страну,— о фашизме.

Опять же не случайное совпадение: в дни его посещения Советского Союза «Правда» печатает и другую статью Л. Фейхтвангера — «Фашизм и германская интеллигенция» (28 января 1937 года). Писатель напоминает в ней, что еще в 1930 году на вопрос анкеты одной левой газеты: «Что следует ожидать германским интеллигентам в случае прихода к власти фашистов?» — отвечал: истребления. И вот... «Вряд ли когда-либо в мировой истории, как в последние годы в Германии, имело место такое дикое торжество тех, кто вследствие недостатка способностей не мог рассчитывать на какую-либо карьеру. Во всех областях науки и искусства неистовствует ожесточенная борьба против талантливых. Всюду посредственность или полная тупость широким фронтом выступает против одаренных...

Цивилизация заключается для фашизма в том, чтобы изгонять настоящих ученых из университетов и лишать их кафедр, изгонять врачей из клиник, а юристов — из их канцелярий. Под цивилизацией фашизм подразумевает запрещение способным писателям писать, художникам — рисовать, дирижерам — выступать и заменяет этих талантливых людей чиновными ничтожествами... Фашисты основательно поработали над уничтожением культуры. Их самый опасный враг — духовная жизнь — попрятался в углы...

Да, происходящее сейчас в Германии — это ожесточенная борьба против всего, что называется гуманизмом. Борьба против гуманизма в буквальном смысле этого слова, именно борьба против всего человеческого. Ведь развитие человеческого рода не протекало таким образом, что все индивидуумы развивались равномерно. Среди обитателей нашей планеты еще много людей, духовная структура которых находится на сравнительно низкой ступени развития, хотя многие из них живут не в дремучем лесу, а носят хорошо скроенную одежду и говорят изысканным языком.

Опытные биологи определяют разницу в ступенях развития между высокоразвитым существом и примитивным в 30—40 тысяч лет. Это надо иметь постоянно в виду, если хочешь понять, что́ делается в Германии... Таким образом, в продолжающейся с самого начала нашей исторической эры борьбе между человеческими группами, стоящими на низшей ступени развития, и группами, достигшими высокой культуры, последние потерпели тяжелое поражение на довольно значительном пространстве Европы: Германия пока потеряна для духовной жизни».

Писатель говорит больше всего о духовной жизни. Поскольку основные деяния фашистов, связанные с физическим истреблением целых народов, еще впереди. Впрочем, и сказанное достаточно полно характеризует его отношение к тому порядку, который утвердился на его родине.

Несомненно, сегодняшний читатель отмечает явную тенденциозность во взглядах и оценках автора «Москвы 1937». Столь очевидные просчеты писателя, предстающего со страниц своих романов выдающимся мастером психологического и исторического анализа, и могут быть объяснимы одним-единственным — их

преднамеренностью. Да, замечал многое, но существенным и закономерным, имеющим виды на будущее, считал лишь все светлое и доброе. Всякий же изъян рассматривал как нечто случайное, занесенное внезапным порывом ветра, давно уже стихшего. Даже вспомнил Гёте: «Значительное явление всегда пленяет нас; познав его достоинства, мы оставляем без внимания то, что кажется нам в нем сомнительным».

В чем же умысел? В том, может, что похвала сталинизму — изощренная попытка воздействовать таким образом на вождя? Смягчить, задобрить, а значит — уберечь от грядущего гнева и тем самым спасти от гибели и репрессий тех, кто еще только занесен в число потенциальных жертв. Извечно стремление художника образумить диктатора... Но, думаю, в данном случае сверхзадача Фейхтвангера состояла все же в другом.

Верный друг нашей страны, он так болел за нас. Своей книгой вербовал нам друзей на Западе, понимая, в преддверии каких событий стоит мир. Далеко позади остался тот март 1933-го, когда в ведомстве Геббельса в раздел «Пропаганда» была зачислена литература. Далеко позади был день грандиозного аутодафе 10 мая 1933 года, когда в Берлине на площади перед университетом полыхал гигантский костер из книг. «Гори, Гейне!», «Гори, Ремарк!», «Гори, Хемингуэй!», «Гори, Фейхтвангер!» — скандировали, ликуя, студенты-нацисты. Там, у костра, их напутствовал Геббельс: «Студенты и студентки, вы совершили великое символическое деяние... Освещенные пламенем этого костра, мы даем клятву верности рейху, науке и нашему фюреру Адольфу Гитлеру. Хайль! Хайль! Хайль!» Жгли не просто книги — выжигали дух свободомыслия. Огнем этого костра ослепляли нацию.

Чутье большого художника проявилось в том, что Фейхтвангер ясно представлял: гитлеровской силе должна быть противопоставлена только сила. И ему важно было дать почувствовать миру, что такая сила существует. Это — сталинская сила. Сталин и его окружение, его политика, проводимая в стране, утверждает автор, решая свою сверхзадачу, обеспечивают ей динамизм и процветание. Восславляя мудрость нашего руководства, он действует, в сущности, по тому же принципу, которым многие объясняют теперь все

жестокости сталинского времени: цель оправдывает средства. И цель, которая ведет писателя, действительно прекрасна, хотя и бесконечно наивна. Нашим могуществом, нашей силой, всем, что стало возможным, как он пытается представить, благодаря гениальной прозорливости нашего вождя, он жаждет образумить ту дикую и бесчеловечную силу. Он грозит ею, как огромным кулаком, германскому фашизму и его лидеру. Он пишет: «Кладя резолюцию о том, чтобы закрыть снова Америку, щедринский бюрократ, несмотря на всю свою тупость, все же нашел в себе элементы понимания реального, сказав тут же про себя: «Но, кажется, сие от меня не зависит». Я не знаю, хватит ли ума у господ из германского официоза догадаться, что «закрыть» на бумаге то или иное государство они, конечно, могут, но если говорить серьезно, то «сие от них не зависит».

Он хочет напугать гитлеровскую Германию, дать ей почувствовать, с кем придется иметь дело, если она вздумает поднять на человечество руку.

...Отойдя от тех лет на почтительное расстояние, мы отчетливо видим, перед каким неимоверно трудным выбором оказался писатель в то время. Мы привыкли думать, что нет ничего страшнее отсутствия выбора, ибо это — предопределенность, обреченность. Но бывает, кажется, такой выбор, который не легче любой предрешенности. Если бы выбирать между добром и злом, но, по существу, писатель был вынужден выбирать меньшее из двух зол. В сущности, он ведь не столько желал восхвалять сталинизм, сколько дать почувствовать историческую обреченность фашизма. Гитлеризм лишил его родины, бросил в костер его книги.

От Гитлера он пострадал сам — после нацистского переворота эмигрировал из Германии во Францию. Но и там фашизм дотянулся до него: застигнутый немецкими войсками, вторгшимися в соседнее государство, с трудом спасся, бежав в США, где и провел последние годы жизни. Он был жертвой гитлеровского режима, и Гитлер стал его личным врагом. Жертвой сталинизма он не был, Сталин не был его личным врагом. А что ни говорите, нам ближе то, что касается нас лично. Происходившее в Советском Союзе, разумеется, волновало его, но не так, как волнует личная трагедия. Погруженный в свою судьбу,

обеспокоенный судьбой Германии, уже тяжело больной фашизмом, мог ли он найти в себе такой запас душевной энергии, чтобы постичь и судьбы тех, чьи жизни ежедневно обрывались в сырых застенках или дальних лагерях? В интересах общечеловеческих писателю страстно хотелось верить, что здесь, в стране, чьи идеалы были бесконечно дороги миллионам и миллионам людей в разных странах, все вершится по законам гуманизма и справедливости.

Ему было дано как мыслителю и как литератору отчетливо увидеть фашизм в его исторической перспективе. А вот разглядеть в движении то явление, которое мы называем сегодня сталинизмом, увидеть его корни и крону, предсказать его развитие и последствия он просто не смог. Мастерски зафиксированному в движении, будто на кинопленке, становлению фашизма он противопоставил лаковую миниатюру нашей предвоенной действительности, выполнив ее с безыскусностью довольно неумелого фотографа.

Нет, Фейхтвангер обманут не был. Он все видел и все понимал. Заметил подлинный психоз вредительства, охвативший население, внедренную привычку объяснять вредительством все, что не клеилось, что должно быть отнесено за счет неумения. Написал: «У меня в гостинице обедал как-то один крупный работник. Официант подавал очень медленно. Мой гость вызвал администратора, пожаловался ему и сказал в шутку: «Ну разве это не вредитель?» Но это уже не шутка, когда слабую работу кинорежиссера или редактора объясняют вредительством или когда утверждают, что плохие иллюстрации к книге на тему о строительстве сельского хозяйства нужно отнести за счет злого умысла художника, пытавшегося своим произведением дискредитировать строительство». Упомянул о поощряемом оптимизме. О том, что власти стараются поддерживать стандартизованный энтузиазм, который, особенно когда он распространяется через официальный микрофон, производит впечатление искусственности.

А недавно стали известны и документальные свидетельства того, что выдающийся писатель прекрасно понимал все, что у нас происходит. В «Литературной газете» (№ 40 за 1989 год) М. Гольденберг привел найденные им в архивах материалы, связанные с пребыванием Фейхтвангера в Москве. Эти материалы —

докладные, а точнее, известного рода донесения, которые отправлял приставленный к нему «агент» Д. Каравкина, уже упоминавшаяся выше. В одном из рапортов она сообщает о том, что слышала от Фейхтвангера своими ушами о его визите к Димитрову: «Ездил специально, чтобы говорить о процессе троцкистов. Сказал, что Димитров очень волновался, говоря на эту тему, объяснял ему полтора часа, но «его не убедил». Потом Фейхтвангер сообщил мне, что за границей на этот процесс смотрят очень враждебно: что его ставят на одну доску с процессом о поджоге рейхстага, что «никто» не может понять, как так 15 «идейных революционеров», которые столько раз ставили свою жизнь на карту, участвуя в заговорах против вождей, вдруг все вместе признались и раскаялись». В сущности, Фейхтвангер, давая столь обстоятельные разъяснения другим, и сам не может до конца всего понять. Потому что разумному объяснению это все же не поддается. Как и многое другое, в том числе и то, с чем он лично столкнулся в СССР.

В «докладных» Д. Каравкиной есть и такое свидетельство: «Между делом вел разговор о том, как «опасно» у нас высказывать свои мнения, что вот, мол, что вышло с Андре Жидом, что ему сказали, что у нас не любят критики, особенно от иностранцев, и т. д. Насчет Жида я ему объяснила, почему мы возмущены: его лицемерие и то, что он сейчас льет воду на мельницу фашистов. Насчет последнего он вполне согласился».

Лион Фейхтвангер, надо полагать, согласился с доносчицей не только потому, что отдавал себе отчет, с кем имеет дело. Он и по существу согласен с тем, что Андре Жид отнюдь не сказал что-то против своей совести, и с тем, что тот извратил истинное положение вещей в нашей стране. Просто он находит несвоевременными высказывания Жида. Правильными, но несвоевременными.

Известная книга М. Горького так и названа: «Несвоевременные мысли». А ведь в этих словах — глубокая, хотя и спорная мысль. Могут ли быть несвоевременными и многие самые правильные мысли, и самые честные замечания? Может ли быть правда в каких-то, пусть самых невероятных, во многом противоестественных обстоятельствах неуместной, преждевременной, как бы опережающей свою эпоху? Или

же правда всегда своевременна? Примечательно, что уже после войны, в которой фашизм был повержен, Андре Жид записал в своем дневнике: «Победить нацизм можно было лишь благодаря антинацистскому тоталитаризму». Счел необходимым задним числом увидеть достоинство в сталинизме?

Мне показалось, что в двух этих работах отражены два подхода к воспроизведению реальной действительности, противостоящие друг другу на всем многовековом протяжении общественной мысли. Доверять ли своим глазам, писать то, что видишь, что чувствуешь, или в угоду каким бы то ни было соображениям искажать подлинность жизни?

При таком «выборе» остается, разумеется, в стороне возможная искренность заблуждений, то есть то положение, которое многие так долго приписывали Фейхтвангеру, полагая, что он просто-напросто был обманут, обольщен, очарован Сталиным. Но сторонники такого взгляда, по-моему, чересчур переоценивали возможности Сталина, хотя они и были, как известно, весьма велики, и недооценивали принципиальность выдающегося писателя — психолога и социолога.

Объективно так получилось: бескорыстный певец сталинизма. Бескорыстный, но — певец. Книга «Москва 1937» в значительной мере отразила наиболее распространенное воззрение тех, кого принято теперь считать апологетами сталинизма. При том, что работа Андре Жида — это как бы взгляд на «вождя» позднейшего времени, во многом — наших дней. Это теперь только стало ясно. Простительно ли сегодня преднамеренное заблуждение одного из писателей, его умысел? Все тот же извечный вопрос о лжи во спасение. Простительна ли она? В этом случае — во спасение таких бесценных ценностей, как гуманизм, цивилизация? Сколько людей в истории, которые прибегали к непозволительным средствам во имя высокой цели, пытались, действуя безнравственно, послужить высшей нравственности. Сколько людей, встав на этот путь, бесславно его заканчивали...

Но крупные художники интересны и неожиданны не только в своих прозрениях, но и в своих заблуждениях. Истории иных ошибок порой не менее

поучительны, чем истории гениальных озарений. Вот почему мы должны с равным вниманием отнестись к обоим свидетельствам, стремясь не осудить кого-то, а проанализировать и логику заблуждений, приняв в расчет сложность и неповторимость исторического контекста. Хотя, разумеется, понять — не значит оправдать.

Примечательно все же, что у книги Фейхтвангера есть подзаголовок: «Отчет о поездке для моих друзей». А это значит, он не абсолютизирует свои наблюдения, не придает им характера как бы непререкаемости, бесспорности. Напротив, он подчеркивает их субъективность. Разве не так? Разве не своим близким, своим друзьям мы охотнее поверяем и то, в чем еще не до конца убеждены сами? Мысли, еще не ставшие позицией, например.

И А. Жид специально подчеркивает, что он рассказывает о личных впечатлениях о нашей стране, достижения которой во многих областях представляются ему значительными, о том, как был он озабочен в дни поездки тем, чтобы не дать себе пустить пыль в глаза. Разумеется, он сознавал, что увиденное им многим придется не по вкусу, что его книгой могут воспользоваться те, для кого «любовь к порядку сочетается с вкусом к тирании». Что же в таком случае побуждало его, верного друга СССР, к тому, чтобы все-таки предать огласке свои впечатления? Во-первых, убежденность в том, что «СССР преодолеет тяжкие ошибки, о которых я пишу, и, во-вторых,— и это самое важное — даже и ошибки одной страны не могут скомпрометировать истину, которая служит общечеловеческому, интернациональному делу. Возможно, кому-то ложь умалчивания или упорство во лжи могут казаться оправданными, но на самом деле все это только на руку врагам, истина же, как бы ни была жестока, наносит раны только ради исцеления».

Думаю, что многое из того, что происходит в нашей жизни сегодня, более полувека спустя после того, как писались два произведения, выходящие теперь отдельной книгой, служит подтверждением правоты этих слов.

Альберт ПЛУТНИК

Андре Жид

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ СССР

Поправки к моему «Возвращению из СССР»

Памяти Эжена Даби
посвящаю эти страницы —
отражение пережитого
и передуманного рядом с ним,
вместе с ним.

Гомеровский гимн Деметре рассказывает о том, как великая богиня, блуждая в поисках дочери, пришла ко дворцу Келеоса. В облике няни никто не узнал богиню. Царица Метанейра вручила ей новорожденного, маленького Демофоона, который станет потом Триптолемом, покровителем земледелия.

Когда в доме закрывались все двери и его обитатели отходили ко сну, Деметра брала из мягкой колыбели Демофоона и с притворной жестокостью, а на самом деле с безграничной любовью, желая ребенка превратить в бога, укладывала его обнаженным на ложе из раскаленных углей. Я представляю себе великую Деметру, склонившуюся над лучезарным ребенком, словно над будущим человечества. Он страдает от жара раскаленных углей, и это испытание закаляет его. В нем вырабатывается нечто сверхчеловеческое, крепкое и здоровое, предназначенное для великой славы. И как жаль, что Деметра не смогла завершить задуманное. Встревоженная Метанейра, как рассказывает легенда, заглянула однажды в комнату к Деметре, оттолкнула от огненного ложа богиню, разбросала угли и, чтобы спасти ребенка, погубила бога.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Три года назад я говорил о своей любви, о своем восхищении Советским Союзом. Там совершался беспрецедентный эксперимент, наполнявший наши сердца надеждой, оттуда мы ждали великого прогресса, там зарождался порыв, способный увлечь все человечество. Чтобы быть свидетелем этого обновления, ду-

мал я, стоит жить, стоит отдать жизнь, чтобы ему способствовать. В наших сердцах и умах мы решительно связывали со славным будущим СССР будущее самой культуры. Мы много раз это повторяли, нам хотелось бы иметь возможность повторить это и теперь.

Но уже перед поездкой туда,— чтобы увидеть все своими глазами,— недавние решения, свидетельствовавшие о перемене взглядов, стали вызывать беспокойство.

Я писал тогда, в октябре 1935-го: «*Глупость и нечестность нападок на СССР заставляют нас выступать в его защиту с еще большим упорством. Как только мы перестанем это делать, на защиту СССР тотчас бросятся его хулители. Ибо они одобрят те уступки и компромиссы, которые им дадут возможность сказать: «Вы видите теперь!», но из-за которых* он *отклонится* от *намеченной цели. И пусть наш взгляд, сосредоточенный на этой самой цели, не позволит нам отвернуться* от *СССР*».

Однако продолжая верить и сомневаясь в себе самом до получения более подробных сведений, спустя четыре дня после приезда в Москву, я еще заявлял в своей речи на Красной площади по случаю похорон Горького: «В наших умах судьбу культуры мы связываем с СССР. Мы будем его защищать».

Я всегда утверждал, что желание быть постоянно верным самому себе часто таит в себе опасность оказаться неискренним. Я считаю, что особенно важно быть искренним именно тогда, когда речь идет об убеждениях многих людей, включая ваши собственные.

Если я с самого начала ошибся, то лучше всего признаться в этом как можно раньше, ибо я в ответе за тех, кто станет жертвой моей ошибки. В этом случае самолюбие не должно мешать. Впрочем, у меня его очень мало. Есть вещи, которые в моих глазах гораздо важнее моего «я», важнее СССР: это человечество, его судьба, его культура.

Но ошибся ли я с самого начала? Те, кто следил последний год за событиями в СССР, скажут, кто из нас переменился — я или СССР. Под СССР я имею в виду тех, кто им руководит.

Другие, более осведомленные, чем я, скажут, только ли кажущиеся эти перемены и не является ли то, что мы воспринимаем как отклонение от курса, фатальным следствием некоей изначальной предрасположенности.

СССР «строится». Важно об этом постоянно напоминать себе. Поэтому захватывающе интересно пребывание в этой необъятной стране, мучающейся родами,— кажется, само будущее рождается на глазах.

Там есть хорошее и плохое. Точнее было бы сказать: самое лучшее и самое худшее. Самое лучшее достигалось часто ценой невероятных усилий. Усилиями этими не всегда и не везде достигалось то, чего желали достигнуть. Иногда позволительно думать: пока еще. Иногда худшее сочетается с лучшим, можно даже сказать, оно является его продолжением. И переходы от яркого света к мраку удручающе резки. Нередко путешественник, имея определенное мнение, вспоминает только одно или другое. Очень часто друзья СССР отказываются видеть плохое или, по крайней мере, его признать. Поэтому нередко правда об СССР говорится с ненавистью, а ложь с любовью.

Я же устроен так, что строже всего отношусь к тем, кого хотел бы любить. Немного стоит любовь, состоящая из одних похвал, и я думаю, что окажу большую услугу и самому СССР и его делу, если буду говорить о нем искренне и нелицеприятно. Мое восхищение СССР, восхищение теми успехами, которых он уже добился, позволяет мне высказывать критику по его адресу. Во имя связанных с ним ожиданий, во имя всего того в особенности, на что он нам позволяет надеяться.

Кто может определить, чем СССР был для нас? Не только избранной страной — примером, руководством к действию. Все, о чем мы мечтали, о чем помышляли, к чему стремились наши желания и чему мы готовы были отдать силы,— все было там. Это была земля, где утопия становилась реальностью. Громадные свершения позволяли надеяться на новые, еще более грандиозные. Самое трудное, казалось, было уже позади, и мы со счастливым сердцем поверили в неизведанные пути, выбранные им во имя страдающего человечества.

До какой степени, в случае неудачи, наша вера была бы оправданной? Но сама мысль о неудаче недопустима.

Если некоторые обещания остались невыполненными, в чем искать причину? Считать ли, что причина в первых декретах или, точнее, в нестрогом их соблюдении — отклонениях, нарушениях, приспособлении к обстоятельствам, чем бы они ни оправдывались?..

Я рассказываю здесь о своих личных впечатлениях от всего, что мне с законной гордостью показывали в СССР и что я смог увидеть сам. Достижения СССР во многих областях замечательны. Порой даже можно вообразить, что здесь царит счастье.

Те, кто с одобрением относился к моим попыткам в Конго самому во всем разобраться, когда, отказавшись от губернаторского автомобиля, я старался беседовать с каждым встречным, осудят ли они меня за то, что и в СССР я был озабочен тем же — не дать себе пустить пыль в глаза?..

Не сомневаюсь, что этой книгой воспользуются противники, те, для кого «любовь к порядку сочетается с вкусом к тирании» *. Что ж, из-за этого ее не публиковать, не писать даже? Но я убежден, что, во-первых, СССР преодолеет тяжкие ошибки, о которых я пишу, и, во-вторых,— и это самое важное — даже и ошибки одной страны не могут скомпрометировать истину, которая служит общечеловеческому, интернациональному делу. Возможно, кому-то ложь умалчивания или упорство во лжи могут казаться оправданными, но на самом деле все это только на руку врагам, истина же, как бы ни была жестока, наносит раны только ради исцеления.

I

Общаясь с рабочими на стройках, на заводах или в домах отдыха, в садах, в «парках культуры», я порой испытывал истинную радость. Я чувствовал, как по-братски относятся они ко мне, и из сердца уходила тревога, оно наполнялось радостью. Поэтому и на фотографиях, сделанных там, я запечатлен улыбающимся, смеющимся чаще, чем это могло бы быть здесь, во Франции. И сколько раз слезы наворачивались на глаза от радости, слезы любви и нежности:

* *Токвиль А.* О демократии в Америке (Введение).

например, в шахтерском доме отдыха в Донбассе, недалеко от Сочи... Нет, нет! Ничего там не согласовывалось заранее, не было никакой подготовки — я пришел неожиданно, вечером, без предупреждения, и тотчас почувствовал к ним доверие.

А это внезапное посещение детского лагеря под Боржомом — очень скромного, почти убогого, но где дети сияли здоровьем, счастьем, они словно хотели поделиться со мной своей радостью. Что сказать? Словами не выразить этого искреннего и простого чувства... А сколько было кроме этих и других встреч. Грузинские поэты, студенты, интеллигенты, рабочие в особенности — многие были мне по душе, я жалел, что не знаю их языка. В их улыбках, во взглядах было столько неподдельной сердечности! Надо сказать, что повсюду я был представлен как друг и чувствовал всюду дружеское к себе отношение. Я хотел бы быть достойным еще большей дружбы, и это тоже побуждает меня говорить.

Разумеется, что наиболее охотно вам показывают все самое лучшее. Но нам много раз случалось неожиданно заходить в сельские школы, в детские сады, клубы, которые нам не собирались показывать и которые, несомненно, ничем не отличались от остальных. И ими я восхищался больше всего, и именно потому, что там ничего не было приготовлено заранее для показа.

Дети во всех пионерских лагерях, которые я видел, красивы, сыты (кормят пять раз в день), хорошо ухожены, взлелеяны даже, веселы. Взгляд светлый, доверчивый. Смех простодушный и искренний. Иностранец мог им показаться смешным, но ни разу ни у кого я не заметил ни малейшей насмешки *.

Такое же выражение спокойного счастья мы часто видели и у взрослых, тоже красивых, сильных.

* «И вы считаете, что это хорошо? — воскликнул мой приятель X., которому я сказал об этом.— Насмешка, ирония, критика — все нужно. Ребенок, неспособный к насмешке, будет покорным и недалеким в юности, и вы, насмешник, будете упрекать его в «конформизме». Я за французскую насмешливость, пусть даже и на свой счет».

«Парки культуры», где они собираются после работы по вечерам,— их несомненное достижение. И среди прочих — парки культуры Москвы.

Я часто туда ходил. Это место для развлечений, нечто вроде огромного «Луна-парка». Ступив за ворота, вы сразу оказываетесь в особом мире. Толпы молодежи, мужчин и женщин, повсюду серьезность, выражение спокойного достоинства. Ни малейшего намека на пошлость, глупый смех, вольную шутку, игривость или даже флирт. Повсюду чувствуется радостное возбуждение. Здесь затеваются игры, чуть дальше — танцы. Обычно всем руководят затейник или затейница, и везде порядок. Но зрителей всегда гораздо больше, чем танцующих. Дальше — народные песни и танцы, чаще всего под обычный аккордеон. На специальной площадке, куда может зайти каждый,— любители-акробаты. Руководит, страхует опасные прыжки тренер. Еще дальше — гимнастические снаряды. Каждый терпеливо ждет своей очереди. Тренируются. Большие площадки отведены для волейбола. Я не уставал наслаждаться красотой, силой, изяществом игроков. Еще дальше — спокойные игры: шахматы, шашки и множество других игр, требующих терпения и сноровки. Есть мне неизвестные, чрезвычайно замысловатые. Есть и такие, которые развивают гибкость, силу или ловкость. Они мне нигде не встречались, и я их не берусь описывать, но иные могли бы иметь успех и у нас. Было бы чем занять время. Есть игры для взрослых и для детей. Для совсем маленьких тоже отведено место, там построены игрушечные дома, поезда, пароходы, детские автомобили, для детского возраста приспособлено много различного инструмента. Вдоль большой аллеи, ведущей на площадку для настольных игр (где толпятся любители, ожидающие, когда освободится столик), стенды с ребусами, шарадами и загадками. И во всем этом, я повторяю, ни малейшей пошлости. Этой благовоспитанной громадной толпе нельзя отказать в достоинстве, вежливости. Публика состоит почти исключительно из рабочих, которые приходят сюда отдохнуть, позаниматься спортом, развлечься или узнать что-нибудь полезное (там, кроме прочего, есть также читальные залы, библиотеки, кинотеатры, лектории и т. д.). На Москве-реке — бассейны. В огромном парке повсюду небольшие эстрады, с которых

вещают импровизированные лекторы. Лекции разные — по истории, географии — сопровождаются наглядными пособиями. Или — по практической медицине и физиологии, с анатомическими плакатами, и т. д. Слушают с большим вниманием. Я уже говорил — ни разу и нигде я не уловил ни малейшей насмешки.

А вот — небольшой открытый театр, где ни одного свободного места, человек пятьсот в благоговейном молчании слушают актера, читающего Пушкина (из «Евгения Онегина»). В углу парка, недалеко от входа, владения парашютистов. Там это очень популярный вид спорта. Через каждые две минуты с вершины сорокаметровой вышки прыгают по очереди любители парашютного спорта. Немного жесткий удар о землю — и новый парашютист готов. Ну, кто рискнет? Народ спешит, ждет, выстраивается в очередь. Я уже не говорю о большом зеленом театре, где на иные спектакли собирается до двадцати тысяч зрителей.

Московский парк культуры — самый большой и лучше других оборудованный различными аттракционами. Ленинградский же парк — самый красивый. Но сейчас каждый город в СССР помимо детских садов имеет свой парк культуры.

Само собой разумеется, я побывал и на многих заводах. От их нормальной работы зависит народное благосостояние. Но я не специалист и не могу судить, как там организовано производство. Это дело других, и я присоединяюсь к их похвалам. В моей же компетенции исключительно вопросы психологические. Именно и почти исключительно ими я собираюсь здесь заняться. Если же косвенно я затрагиваю социальные вопросы, то тоже только с точки зрения психологической.

С возрастом у меня все меньше интереса к пейзажам, сколь бы красивыми они ни были. И все больший интерес к людям. Люди в СССР замечательные. В Грузии, Кахетии, Абхазии (я говорю только о том, что видел) и еще в особенности, как мне показалось, в Крыму и в Ленинграде.

Я присутствовал на празднике молодежи в Москве на Красной площади. Безобразные здания напротив Кремля были замаскированы зеленью и плаката-

ми. Все было устроено великолепно и даже (спешу об этом сказать здесь, потому что впоследствии не всегда для этого будет повод) с отменным вкусом. Прибывшая с севера и юга, востока и запада прекрасная молодежь участвовала в параде на Красной площади. Он продолжался несколько часов. Я не представлял себе столь великолепного зрелища. Конечно, его замечательные участники были заранее отобраны, подготовлены, натренированы. Но как не восхищаться страной и режимом, способными такую молодежь создавать?

Я видел Красную площадь за несколько дней до этого, во время похорон Горького. Я видел, как тот же самый народ — тот же самый и в то же время другой, похожий скорее, как я думаю, на русский народ при царском режиме,— шел нескончаемым потоком мимо траурного катафалка в Колонном зале. Тогда это были не самые красивые, не самые сильные, не самые веселые народные представители, а «первые встречные» в скорби — женщины, дети особенно, иногда старики, почти все плохо одетые и казавшиеся иногда очень несчастными. Молчаливая, мрачная, сосредоточенная колонна, казалось, двигалась в безупречном порядке из прошлого, и шла она гораздо дольше, чем та, другая — парадная. Я очень долго вглядывался в нее. Кем был Горький для всех этих людей? Толком не знаю. Учитель? Товарищ? Брат? И на всех лицах, даже у малышей,— печать грустного изумления, выражение глубокой скорби. Сколько я видел людей, чья одухотворенность лишь подчеркивалась бедностью. Чуть ли не каждого мне хотелось прижать к сердцу!

Нигде отношения с людьми не завязываются с такой легкостью, непринужденностью, глубиной и искренностью, как в СССР. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы возникла горячая взаимная симпатия. Да, я не думаю, что где-нибудь еще, кроме СССР, можно испытать чувство человеческой общности такой глубины и силы. Несмотря на различие языков, нигде и никогда еще я с такой полнотой не чувствовал себя товарищем, братом. И ради этого я готов отдать самые красивые пейзажи в мире.

О пейзажах, впрочем, я еще буду говорить, но сначала расскажу о нашей первой встрече с группой комсомольцев.

Это было в поезде на пути из Москвы в Орджоникидзе (бывший Владикавказ). Путь долгий. От имени Союза советских писателей Михаил Кольцов предоставил в наше распоряжение специальный, очень комфортабельный вагон. Все шестеро мы неожиданно прекрасно устроились: Джеф Ласт, Гийю, Эрбар, Шифрин, Даби и я. С нами наш гид и переводчик — верный товарищ Боля. Кроме спальных купе в вагоне был еще салон, где нам накрывали стол. Лучше не бывает. Но что нам не нравилось — это невозможность общаться с пассажирами поезда. Спустившись на платформу на ближайшей станции, мы обнаружили, что в соседнем вагоне едет очень приятная компания. Это были комсомольцы, которые собирались во время каникул совершить восхождение на Казбек. Мы добились, чтобы открыли двери между вагонами, и вскоре познакомились с нашими замечательными попутчиками. Я привез из Парижа разные головоломные игры, непохожие на те, которые знают в СССР. Они обычно помогают мне быстро завязывать отношения с людьми, когда я не знаю их языка. Игры переходили из рук в руки. Парни и девушки не успокаивались, пока не справлялись с головоломкой. «Комсомольцы никогда не сдаются»,— говорили они нам со смехом. Их вагон был очень тесным, стояла жара, и все задыхались от духоты. Это было прекрасно.

Должен сказать, что для большинства из них я не был незнакомцем. Некоторые читали мои книги (в основном «Путешествие в Конго»), и, поскольку в газетах вместе с речью на Красной площади, на похоронах Горького, был мой портрет, многие тотчас меня узнали. Вскоре завязалась долгая дискуссия. Джеф Ласт, который хорошо понимает и говорит по-русски, объяснил нам, что головоломки, предложенные мной, прекрасные, но они спрашивают: неужели сам Андре Жид забавляется этим? Джеф Ласт должен был возразить, что это небольшое развлечение предназначено для того, чтобы снимать усталость. Настоящие комсомольцы всегда готовы служить делу, судят обо всем с точки зрения пользы. Впрочем, не будем педантами, сама эта дискуссия, перебиваемая смехом, тоже была игрой. Поскольку в их вагоне дышать становилось трудно, мы пригласили человек десять к себе, остаток вечера прошел с народными песнями и даже танцами, насколько позволяли размеры салона. Этот вечер оста-

нется для меня и для моих спутников одним из лучших воспоминаний о путешествии. И мы были уверены, что едва ли в какой-либо другой стране можно встретить такую неподдельную искреннюю сердечность, едва ли в какой-либо другой стране можно встретить такую очаровательную молодежь *.

Я говорил уже, что меня меньше интересуют пейзажи... Однако мне хотелось бы рассказать о великолепных лесах Кавказа — при въезде в Кахетию, в окрестностях Батума и в особенности в Бакуриани, под или, точнее сказать, над Боржомом. Более прекрасного леса я не видел и не представлял себе: лесная поросль не скрывает стволы громадных деревьев, на таинственные поляны сумерки опускаются раньше, чем закончится день,— кажется, что где-то здесь должен был заблудиться Мальчик с пальчик. Мы пересекли этот сказочный лес, вышли к горному озеру, и нам оказали честь, сообщив, что здесь никогда еще не ступала нога иностранца. Но я и без этого оценил великолепие здешних мест. На берегу озера странная маленькая деревушка (Табацкури) — ее девять месяцев в году скрывает снег,— которую я бы с удовольствием описал... Ах, почему я не приехал просто туристом или как натуралист, который с восторгом открывал бы здесь новые растения, обнаружил бы на высокогорном плато «скабиозу кавказскую» из своего сада... Но не за этим прибыл я в СССР. Самое важное для меня здесь — человек, люди, что из них можно сделать и что из них сделали. Лес, который меня сюда привлек, чудовищно непроходимый и в котором я блуждаю сейчас,— это социальные вопросы. В СССР они вопиют, взывают и обрушиваются на вас со всех сторон.

II

В Ленинграде я мало видел новых кварталов. Что восхищает в Ленинграде — это Санкт-Петербург. Я не знаю более красивого города, более гармонического

* Что мне еще нравится в СССР — это долгая молодость, к чему мы, в частности во Франции (я даже думаю, в романских странах вообще), так мало привычны. Молодость богата обещаниями. Отрочество у нас быстро переходит от обещаний к жизни. В четырнадцать лет все кончается. В выражении лица уже не прочитывается удивление перед жизнью, нет уже и следа наивности. Ребенок почти без перехода становится молодым человеком. Игры кончились.

сочетания металла *, воды и камня. Город словно создан воображением Пушкина или Бодлера. Иногда он напоминает полотна Ширико. Памятники — таких же совершенных пропорций, как музыкальные темы в симфониях Моцарта. «Все там красота и гармония». Душа радуется красоте и отдыхает.

Нет слов, чтобы сказать, как изумителен Эрмитаж. Отмечу только попутно разумное правило помещать вокруг картины какого-либо художника, когда это возможно, другие его работы: этюды, эскизы, наброски — все, что помогает увидеть, как постепенно складывался и воплощался замысел.

После Ленинграда хаотичность Москвы особенно заметна. Она даже подавляет и угнетает вас. Здания, за редкими исключениями, безобразны (и не только современные), не сочетаются друг с другом. Я знаю, что Москва преображается, город растет. Свидетельства этому повсюду. Все устремлено к будущему. Но боюсь, что делать это начали плохо. Строят, ломают, копают, сносят, перестраивают — и все это как бы случайно, без общего замысла. Но все равно Москва остается самым привлекательным городом — она живет могучей жизнью. Но не будем вглядываться в дома — толпа меня интересует больше.

Летом почти все ходят в белом. Все друг на друга похожи. Нигде результаты социального нивелирования не заметны до такой степени, как на московских улицах,— словно в бесклассовом обществе у всех одинаковые нужды. Я, может быть, преувеличиваю, но не слишком. В одежде исключительное однообразие. Несомненно, то же самое обнаружилось бы и в умах, если бы это можно было увидеть. Каждый встречный кажется довольным жизнью (так долго во всем нуждались, что теперь довольны тем немногим, что есть). Когда у соседа не больше, человек доволен тем, что он имеет. Различия можно заметить, если только внимательно присмотреться. На первый взгляд кажется, что человек настолько сливается с толпой, так мало в нем личного, что можно было бы вообще не употреблять слово «люди», а обойтись одним понятием «масса».

Я сливаюсь с массой, погружаюсь в толпу. Что делают эти люди перед магазином? Они стоят в очереди.

* Медные купола и золотые шпили.

В очереди, которая протянулась до ближайшей улицы. Стоят человек двести или триста, спокойно, терпеливо — ждут. Еще рано, и магазин закрыт. Я возвращаюсь минут через сорок — те же люди продолжают стоять. Для меня это удивительно — зачем было приходить раньше. Что они выигрывают?

— Как что выигрывают? Обслужат тех, кто пришли первыми.

И мне объясняют, что в газетах было объявлено о большом поступлении... не знаю чего (кажется, речь шла о подушках). Их будет, может быть, четыреста или пятьсот штук на восемьсот, тысячу или полторы тысячи покупателей. Задолго до вечера их не останется ни одной. Нужды так велики, а публика так многочисленна, что долго еще спрос будет превышать предложение, и превышать значительно. Справиться с этим трудно.

Спустя несколько часов я захожу в магазин. Громадное помещение, невообразимая толкотня. Продавцы, впрочем, сохраняют спокойствие, потому что вокруг них ни малейшего признака нетерпения. Каждый ждет своей очереди, стоя или сидя, часто с ребенком на руках. Очередь не регулируется, однако ни малейшего признака беспорядка. Здесь можно провести все утро, весь день — в спертом воздухе, которым, сначала кажется, невозможно дышать, но потом люди привыкают, как привыкают ко всему. Я хотел сначала написать: «смиряются», но дело тут не в смирении — русский человек, кажется, находит удовольствие в ожидании, он и вас тоже ради забавы может заставить ждать.

Продираясь сквозь толпу (или подталкиваемый ею), я обошел магазин вдоль и поперек и сверху донизу. Товары, за редким исключением, совсем негодные. Можно даже подумать, что ткани, вещи и т. д. специально изготавливаются по возможности непривлекательными, чтобы их можно было купить только по крайней нужде, а не потому, что они понравились. Мне хотелось привезти какие-нибудь сувениры друзьям, но все выглядит ужасно. Однако за последние месяцы, как мне сказали, были предприняты усилия, чтобы повысить качество, и если хорошо поискать, потратить на это время, то можно кое-где обнаружить вещи довольно приятные, Но чтобы заниматься качеством, надо добиться требуемого количества. В течение

долгого времени всего было мало. Теперь положение выравнивается, но с трудом. Впрочем, люди в СССР, похоже, склонны покупать все, что им предложат, даже то, что у нас на Западе показалось бы безобразным. Скоро, я надеюсь, с ростом производства увеличится выпуск хороших товаров, можно будет выбирать, и одновременно с этим будет уменьшаться выпуск плохих.

Вопрос о качестве относится особенно к продуктам питания. В этой области предстоит еще много сделать. Но когда мы пожаловались на плохое качество некоторых продуктов, Джеф Ласт, приехавший в СССР уже в четвертый раз после двухлетнего перерыва, напротив, с восхищением отозвался о достигнутых успехах. Овощи и в особенности фрукты если не совсем плохие, то, по крайней мере, за редким исключением, неважные. Очень много дынь, но безвкусных. Дерзкая персидская поговорка, которую я слышал только по-английски и процитирую тоже по-английски: «Women for duty, boys for pleasure, melons for delight»*, здесь, следовательно, некстати. Вино в общем хорошее (вспоминается, в частности, прекрасное Цинандали в Кахетии). Пиво сносное. Копченая рыба (в Ленинграде) прекрасная, но не выдерживает транспортировки.

Пока не было необходимого, разумно было не заниматься излишествами. Если в СССР ничего не сделано для удовлетворения гурманских вкусов, так это потому, что элементарные потребности еще не удовлетворены.

Вкус, впрочем, развивается только тогда, когда есть возможность выбора и сравнения. Выбирать не из чего. Поневоле предпочтешь то, что тебе предложат, выхода нет — надо или брать, что тебе дают, или отказываться. Если государство — одновременно производитель, покупатель и продавец,— качество зависит от уровня культуры.

И тогда, несмотря на весь свой антикапитализм, я думаю о тех людях у нас — от крупного промышленника до мелкого торговца,— которые с ног сбиваются

* Женщины для долга, мальчики для удовольствия, дыни для наслаждения *(англ.)*.

и мучаются одной мыслью: что бы еще такое придумать, чтобы удовлетворить публику? С какой изощренной изобретательностью каждый из них ищет способа свалить конкурента! Государству же до этого дела мало — у него нет конкурентов. Качество? «Зачем оно, если нет конкуренции?» — говорят нам. Именно так, очень бесхитростно, объясняют нам плохое качество всего производимого в СССР, а заодно и отсутствие вкуса у публики. Если бы даже вкус и был, что бы изменилось? Нет, прогресс будет здесь теперь зависеть не от конкуренции, а от возрастающей требовательности, которая, в свою очередь, будет увеличиваться с ростом культуры. Во Франции этот процесс, несомненно, шел бы быстрее, потому что требовательность уже есть.

И вот еще что: в каждой советской республике было свое народное искусство. Что с ним стало? Из-за эгалитарных тенденций долгое время с ним отказывались считаться. Но сейчас к национальным искусствам снова возрождается интерес, их поощряют, их возрождают и, кажется, понимают их непреходящую ценность. Разве не было бы проявлением разумной дальновидности вновь вернуться к образцам этого искусства, восстановить, например, старинные рисунки на тканях и предложить их публике? Трудно представить что-нибудь более глупо-буржуазное, более мещанское, чем нынешняя продукция. Витрины московских магазинов повергают в отчаяние. Старинные же ткани с рисунком, нанесенным вручную, прекрасны. Это было народное ремесло, но это было искусство.

Возвращаюсь к москвичам. Иностранца поражает их полная невозмутимость. Сказать «лень» — это было бы, конечно, слишком... «Стахановское движение» было замечательным изобретением, чтобы встряхнуть народ от спячки (когда-то для этой цели был кнут). В стране, где рабочие привыкли работать, стахановское движение было бы ненужным. Но здесь, оставленные без присмотра, они тотчас же расслабляются. И кажется чудом, что, несмотря на это, дело идет. Чего это стоит руководителям, никто не знает. Чтобы представить себе масштабы этих усилий, надо иметь в виду врожденную малую «производительность» русского человека.

На одном из заводов, который прекрасно работает (я в этом ничего не понимаю, восхищаюсь же машинами потому, что вообще к ним отношусь с доверием. Но мне ничто не мешает приходить в восторг от столовой, рабочего клуба, их жилища — от всего, что создано для их блага, их просвещения, их отдыха), мне представляют стахановца, громадный портрет которого висит на стене. Ему удалось, говорят мне, выполнить за пять часов работу, на которую требуется восемь дней (а может быть, наоборот: за восемь часов — пятидневную норму, я уже теперь не помню). Осмеливаюсь спросить, не означает ли это, что на пятичасовую работу сначала планировалось восемь дней. Но вопрос мой был встречен сдержанно, предпочли на него не отвечать.

Тогда я рассказал о том, как группа французских шахтеров, путешествующая по СССР, по-товарищески заменила на одной из шахт бригаду советских шахтеров и без напряжения, не подозревая даже об этом, выполнила стахановскую норму.

Невольно спрашиваешь себя, каких успехов добился бы советский режим с темпераментом, усердием, добросовестностью и профессиональной подготовкой наших рабочих. Кроме стахановцев на этом сером фоне выделяется пылкая молодежь, keen at work — закваска, способная заставить подняться тесто.

Эта инерция массы, пожалуй, была и до сих пор остается одной из самых сложных проблем, которые предстояло решать Сталину. Отсюда и «ударники», и стахановское движение. Возврат к неравной заработной плате объясняется этими же причинами.

В окрестностях Сухуми мы побывали в образцовом совхозе. Ему шесть лет. Первое время едва сводил концы с концами, теперь — один из самых процветающих, его называют «миллионером». Всюду виден достаток. Колхоз занимает очень большую площадь. Климат благоприятный, все растет быстро.

Деревянные дома, приподнятые над землей на сваях, прекрасны и живописны, окружены большими фруктовыми садами, между деревьями цветы, овощи. В прошлом году колхоз получил большие прибыли, что позволило иметь значительные накопления, поднять до шестнадцати рублей выплату за трудодень. Как образовалась такая цифра? Точно так же, как если бы колхоз был сельскохозяйственным капиталистическим

предприятием и доход распределялся бы поровну между акционерами. Ибо остается непреложным факт: в СССР нет больше эксплуатации большинства меньшинством. Это громадное достижение. «Здесь у нас нет больше акционеров. Сами рабочие (имеются в виду рабочие колхоза, разумеется) распределяют между собой доходы, без каких-либо отчислений государству» *. Это было бы прекрасно, если бы не было других — бедных — колхозов, которым не удается сводить концы с концами. Потому что, если я правильно понял, колхозы полностью автономны и между ними нет никакой взаимопомощи. Возможно, я ошибся? Хотелось бы ошибиться **.

Я был в домах многих колхозников этого процветающего колхоза... *** Мне хотелось бы выразить странное и грустное впечатление, которое производит «интерьер» в их домах: впечатление абсолютной безликости. В каждом доме та же грубая мебель, тот же портрет Сталина — и больше ничего. Ни одного предмета, ни одной вещи, которые указывали бы на личность хозяина. Взаимозаменяемые жилища. До такой степени, что колхозники (которые тоже кажутся взаимозаменяемыми) могли бы перебраться из одного дома в другой и не заметить этого ****. Конечно, таким способом легче достигнуть счастья. Как мне говорили, радости у них тоже общие. Своя комната у человека

* По крайней мере, мне так много раз говорили. Но все непроверенные «данные» кажутся мне подозрительными так же, как и поступающие из колоний. Я с трудом верю в привилегию этого колхоза, освобожденного от выплаты 7 процентов годового дохода, обязательной для всех других колхозов, не считая индивидуального налога от 35 до 39 рублей с человека.

** В приложении помещены некоторые более точные сведения. Я располагаю многими другими. Но я не силен в цифрах и в экономических вопросах не считаю себя достаточно компетентным. Кроме того, хотя эти сведения получены были мной самим, поручиться за их точность я не могу. Опыт, приобретенный в колониях, научил меня не доверять «данным». И наконец, самое главное — по этим вопросам уже высказывались специалисты, и я не буду к этому возвращаться.

*** Во многих других колхозах речь вообще не идет об индивидуальных жилищах. Люди спят в общих спальнях, живут в общежитиях.

**** Эта деперсонализация позволяет также предположить, что люди, которые спят в общих спальнях, страдают от промискуитета, невозможности уединиться, меньше, чем они страдали бы, сохраняя индивидуальность. Но сама эта, всеобщая в СССР, тенденция к утрате личностного начала — может ли она рассматриваться как прогресс? Что касается меня, я не могу в это верить.

только для сна. А все самое для него интересное в жизни переместилось в клуб, в парк культуры, в места собраний. Чего желать лучшего? Всеобщее счастье достигается обезличиванием каждого. Счастье всех достигается за счет счастья каждого. Будьте как все, чтобы быть счастливым.

III

В СССР решено однажды и навсегда, что по любому вопросу должно быть только одно мнение. Впрочем, сознание людей сформировано таким образом, что этот конформизм им не в тягость, он для них естествен, они его не ощущают, и не думаю, что к этому могло бы примешиваться лицемерие. Действительно ли это те самые люди, которые делали революцию? Нет, это те, кто ею воспользовался. Каждое утро «Правда» им сообщает, что следует знать, о чем думать и чему верить. И нехорошо не подчиняться общему правилу. Получается, что, когда ты говоришь с каким-нибудь русским, ты говоришь словно со всеми сразу. Не то чтобы он буквально следовал каждому указанию, но в силу обстоятельств отличаться от других он просто не может. Надо иметь в виду также, что подобное сознание начинает формироваться с самого раннего детства... Отсюда странное поведение, которое тебя, иностранца, иногда удивляет, отсюда способность находить радости, которые удивляют тебя еще больше. Тебе жаль тех, кто часами стоит в очереди,— они же считают это нормальным. Хлеб, овощи, фрукты кажутся тебе плохими — но другого ничего нет. Ткани, вещи, которые ты видишь, кажутся тебе безобразными — но выбирать не из чего. Поскольку сравнивать совершенно не с чем — разве что с проклятым прошлым,— ты с радостью берешь то, что тебе дают. Самое главное при этом — убедить людей, что они счастливы настолько, насколько можно быть счастливым в ожидании лучшего, убедить людей, что другие повсюду менее счастливы, чем они. Этого можно достигнуть, только надежно перекрыв любую связь с внешним миром (я имею в виду — с заграницей). Потому-то при равных условиях жизни или даже гораздо более худших русский рабочий считает себя счастливым, он и на самом деле более счастлив, намного более счастлив, чем французский рабочий. Его счастье — в его надежде, в его вере, в его неведении.

Мне очень трудно привести в порядок свои размышления — так все эти проблемы взаимосвязаны, друг с другом переплетаются. Я не техник, поэтому экономические проблемы меня интересуют с психологической стороны. Психологически я могу себе объяснить, почему надо жить под колпаком, перекрывать границы: до тех пор, пока не утвердится новый порядок, пока дела не наладятся, ради счастья жителей СССР важно, чтобы счастье это было защищено.

Нас восхищает в СССР стремление к культуре, к образованию. Но образование служит только тому, чтобы заставить радоваться существующему порядку, заставить думать: СССР... Ave! Spes unica! * Эта культура целенаправленная, накопительская, в ней нет бескорыстия и почти совершенно отсутствует (несмотря на марксизм) критическое начало. Я знаю, там носятся с так называемой «самокритикой». Со стороны я восхищался ею, и думаю, что при серьезном и искреннем отношении она могла бы дать замечательные результаты. Однако я быстро понял, что кроме доносительства и замечаний по мелким поводам (суп в столовой холодный, читальный зал в клубе плохо выметен) эта критика состоит только в том, чтобы постоянно вопрошать себя, что́ соответствует или не соответствует «линии». Спорят отнюдь не по поводу самой «линии». Спорят, чтобы выяснить, насколько такое-то произведение, такой-то поступок, такая-то теория соответствует этой священной «линии». И горе тому, кто попытался бы от нее отклониться. В пределах «линии» критикуй, сколько тебе угодно. Но дальше — не позволено. Похожие примеры мы знаем в истории.

Нет ничего более опасного для культуры, чем подобное состояние умов. Дальше я скажу об этом.

Советский гражданин пребывает в полнейшем неведении относительно заграницы **. Более того, его убедили, что решительно все за границей и во всех областях — значительно хуже, чем в СССР. Эта иллюзия умело поддерживается — важно, чтобы каждый, даже недовольный, радовался режиму, предохраняющему его от худших зол.

Отсюда некий «комплекс превосходства», несколько примеров которого я приведу ниже.

* Единственная надежда *(лат.)*.

** Или, по крайней мере, знает только то, что укрепляет его веру.

Каждый студент обязан изучать иностранный язык. Французский в совершенном небрежении. Им положено знать английский и в особенности немецкий. Я был удивлен, услышав, как плохо они говорят на нем. У нас школьники знают его лучше.

Мы спросили об этом одного из них и получили такое объяснение (по-русски, Джеф Ласт нам переводил): «Еще несколько лет назад Германия и Соединенные Штаты могли нас чему-нибудь научить. Но сейчас нам за границей учиться нечему. Зачем тогда говорить на их языке» *.

Впрочем, если они все же небезразличны к тому, что делается за границей, все равно значительно больше они озабочены тем, что заграница о них подумает. Самое важное для них — знать, достаточно ли мы восхищаемся ими. Поэтому боятся, что мы можем не все знать об их достоинствах. Они ждут от нас не столько знания, сколько комплиментов.

Очаровательные маленькие девочки, окружившие меня в детском саду (достойном, впрочем, похвал, как и все, что там делается для молодежи), перебивая друг друга, задают вопросы. И интересуются они не тем, есть ли детские сады во Франции, а тем, знаем ли мы во Франции, что у них есть такие прекрасные детские сады.

Вопросы, которые вам задают, иногда настолько ошеломляют, что я боюсь их воспроизводить. Кто-нибудь может подумать, что я их сам придумал. Когда я говорю, что в Париже тоже есть метро,— скептические улыбки. «У вас только трамваи? Омнибусы?..» Один спрашивает (речь уже идет не о детях, а о вполне грамотных рабочих), есть ли у нас тоже школы во Франции. Другой, более осведомленный, пожимает плечами: да, конечно, во Франции есть школы, но там бьют детей, он знает об этом из надежного источника. Что все рабочие у нас очень несчастны, само собой разумеется, поскольку мы еще «не совершили революцию». Для них за пределами СССР — мрак. За исключением нескольких прозревших, в капиталистическом мире все прозябают в потемках.

* Правда, увидев наше нескрываемое изумление, студент добавил: «Я понимаю, мы понимаем теперь, что это абсурдный довод. Иностранный язык, даже если он не может ничему научить, может оставаться средством для обучения».

Образованные и очень благовоспитанные девочки (в Артеке, куда допускаются только избранные) удивлены, когда в разговоре о русских фильмах я им сообщил, что «Чапаев» и «Мы из Кронштадта» имели в Париже большой успех. Им ведь говорили, что все русские фильмы запрещены во Франции. И поскольку им говорили об этом учителя, я вижу, что девочки сомневаются не в их, а в моих словах. Французы — известные шутники!

Группе морских офицеров на борту крейсера, который привел меня в восхищение («полностью построен в СССР»), осмеливаюсь заметить, что, по моему мнению, во Франции лучше знают о событиях в СССР, нежели в СССР о том, что происходит во Франции. Поднялся неодобрительный ропот: «Правда» достаточно полно обо всем информирует». И вдруг резко какой-то лирик из группы: «В мире не хватило бы бумаги, чтобы рассказать обо всем новом, великом и прекрасном в СССР».

В этом же образцовом Артеке, раю для образцовых детей — вундеркиндов, медалистов, дипломантов (поэтому я предпочитаю ему многие другие пионерские лагеря, более скромные и менее аристократические), тринадцатилетний мальчик, если я не ошибаюсь, прибывший из Германии, но уже усвоивший здешний образ мыслей, показывает мне парк, обращая внимание на его красоту: «Посмотрите, еще недавно здесь ничего не было... И вдруг — лестница. И так повсюду в СССР: вчера — ничего, завтра — все. Посмотрите вон на тех, рабочих, как они работают! И повсюду в СССР такие же школы и пионерские лагеря. Разумеется, не все такие красивые, потому что Артек в мире только один. Сталин им специально интересуется. И все дети, которые приезжают сюда,— замечательные.

Скоро вы услышите тринадцатилетнего мальчика, который будет лучшим виолончелистом в мире. Его талант уже так высоко ценят у нас, что подарили ему редкую виолончель очень известного старинного мастера *.

А здесь! Посмотрите на эту стену! Разве подумаешь, что ее построили за десять дней!»

* Спустя некоторое время я слышал, как этот чудо-ребенок исполнял на своем «Страдивари» Паганини и «Попурри» Гуно, и должен признать, что это было поразительное исполнение.

Энтузиазм этого ребенка такой искренний, что я не хочу обращать его внимание на трещины в этой наспех возведенной стене. Он хочет видеть только то, что вызывает в нем гордость. В восхищении он добавляет: «Даже дети этому удивляются» *.

Эти детские речи (внушенные, заученные, может быть) показались мне настолько характерными, что я в тот же вечер их записал и теперь воспроизвожу здесь.

Я не хотел бы, однако, кому-нибудь дать повод подумать, что других воспоминаний об Артеке у меня не осталось. Слов нет, этот детский лагерь — чудесный. Расположенный в прекрасном месте, очень хорошо спланированный, он террасами спускается к морю. Все, что можно придумать для блага детей, для их гигиены, спортивных занятий, развлечений, отдыха,— все рационально устроено на площадках или на склонах холмов. Все дети дышат здоровьем, счастьем. Они были очень разочарованы, когда узнали, что мы не можем остаться на ночь: в честь нас был приготовлен традиционный костер, деревья на нижней террасе украшены транспарантами. На вечер была назначена разнообразная программа — песни, танцы,— но я попросил, чтобы все было закончено к пяти часам, нужно было вернуться в Севастополь до наступления ночи. И, как оказалось, хорошо сделал, потому что в этот вечер заболел сопровождавший меня Эжен Даби. Ничто, однако, не предвещало болезни, и он мог беззаботно наслаждаться спектаклем, который нам предложили дети, в особенности танцем маленькой таджички по имени, кажется, Тамара — той самой, которую обнимал Сталин на громадных плакатах, расклеенных по всей Москве. Невозможно выразить прелесть этого

* Эжен Даби, с которым я говорил об этом комплексе превосходства и к которому он со своей необычайной скромностью был особенно чувствителен, протянул мне второй том «Мертвых душ» — он его как раз тогда перечитывал. В начале тома помещено письмо Гоголя, Даби отчеркнул в нем несколько строк: «Многие из нас уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: «Смотрите, немцы: мы лучше вас!» Это хвастовство — губитель всего. Оно раздражает других и наносит вред самому хвастуну. Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь... Нет, по мне уж лучше временное уныние и тоска от самого себя, нежели самонадеянность в себе». Это русское «хвастовство», о котором сожалеет Гоголь, нынешним воспитанием развивается и поощряется.

танца и обаяние исполнявшего его ребенка. «Одно из самых дивных воспоминаний об СССР»,— говорил мне Даби, так же думал и я. Это был последний счастливый день.

Отель в Сочи — один из самых приятных. Превосходный парк. Пляж — красивейший, но купальщики хотели от нас услышать, что ничего подобного у нас во Франции нет. Из учтивости мы не стали им говорить, что во Франции есть пляжи лучше, гораздо лучше этого.

Да, замечательно, что этот комфорт, этот полулюкс предоставлены в пользование народу, если только считать, что приезжающие отдыхать сюда — не слишком (снова) привилегированные. Обычно поощряются наиболее достойные, но при условии, если они следуют «линии», не выделяются из общей массы. И только такие пользуются льготами.

Вызывает восхищение в Сочи множество санаториев и домов отдыха, живописно расположенных вокруг города. И прекрасно, что все это построено для рабочих. Но тем более тяжело видеть, как тут же строят новый театр низкооплачиваемые, загнанные в нищенские лачуги рабочие.

Вызывает восхищение в Сочи Островский (см. Приложение).

Если я расхваливал отель в Сочи, то что сказать об отеле «Синоп», недалеко от Сухуми? Он гораздо более высокого класса и в состоянии выдержать сравнение с самыми лучшими, самыми красивыми, самыми комфортабельными заграничными бальнеологическими отелями. Прекрасный парк сохранился еще с дореволюционных времен, но здание построено совсем недавно. Удобная планировка, в каждом номере терраса и ванная комната. Мебель подобрана с отличным вкусом. Кухня — превосходная, из лучших в СССР. Отель «Синоп» — одно из тех мест на земле, где человек чувствует себя почти чуть ли не в раю.

Рядом с отелем совхоз, снабжающий его провизией. Восхищают образцовая конюшня, образцовый хлев, образцовый свинарник и в особенности современная гигантская птицеферма. У каждой курицы на лапе кольцо с индивидуальным номером. Кладка яиц тща-

тельно регистрируется, у каждой курицы для этой цели свой индивидуальный бокс, где ее запирают и выпускают только после того, как она снесется. (И мне затруднительно объяснить, почему яйца, которые нам подают в отеле,— не самые лучшие.) Добавлю, что попасть в эти места можно только после того, как вы вытрете подошвы о специальный коврик, пропитанный дезинфицирующим раствором. Скот рядом проходит свободно — что поделаешь!

Перейдя ручей, за которым начинается территория совхоза, вы увидите ряд лачуг. Комнату два на два с половиной метра снимают вчетвером, по два рубля с человека в месяц. Обед в совхозной столовой стоит два рубля — роскошь, которую не может себе позволить человек, зарабатывающий 75 рублей в месяц. Кроме хлеба рабочие вынуждены довольствоваться сушеной рыбой.

Неравенство в зарплате возражений не вызывает. Согласен, это необходимо. Но есть другие способы сгладить различия в жизненном уровне. Однако есть опасения, что неравенство не только не устранится, а станет еще ощутимее. Боюсь, как бы не сформировалась вскоре новая разновидность сытой рабочей буржуазии (и следовательно, консервативной, как ни крути), похожей на нашу мелкую буржуазию.

Признаки этого видны повсюду *. И поскольку мы,

* Недавний закон о запрещении абортов поверг в отчаяние всех, кому низкая зарплата не позволяет создать свой дом, завести семью. Он поверг в отчаяние многих и по другим причинам. Разве не обещали в связи с этим законом нечто вроде плебисцита, всенародного обсуждения, с результатами которого должны были посчитаться. Громадное большинство высказалось (правда, более или менее открыто) против этого закона. С общественным мнением не посчитались, и, к всеобщему изумлению, закон прошел. В газетах печатались, само собой разумеется, только одобрительные высказывания. В частных беседах, которые у меня были со многими рабочими, я слышал только смиренные упреки, робкие жалобы.

Этот закон отчасти можно считать оправданным. Он направлен против очень прискорбных злоупотреблений. Но что думать, если встать на марксистскую точку зрения, о другом законе, принятом еще раньше и направленном против гомосексуалистов? В соответствии с этим законом они приравниваются к контрреволюционерам (*инакомыслие* преследуется даже в сексуальной сфере), подвергаются высылке на пять лет с повторным осуждением на тот же срок, если в ссылке не последует исправление.

увы, не можем сомневаться в том, что буржуазные инстинкты, подогревающие жажду наслаждений, расслабляющие человека, делающие его равнодушным к ближнему, дремлют в людских сердцах несмотря ни на какую революцию (ибо человек не меняется, изменившись только внешне), я с тревогой слежу за тем, как в нынешнем СССР эти буржуазные инстинкты косвенно поощряются недавними решениями, встреченными у нас с одобрением, которое у меня вызывает беспокойство. С восстановлением семьи (как «ячейки общества»), права наследования и права на имущество по завещанию тяга к наживе, личной собственности заглушает чувство коллективизма с его товариществом и взаимопомощью. Не у всех, конечно. Но у многих. И мы видим, как снова общество начинает расслаиваться, снова образуются социальные группы, если уже не целые классы, образуется новая разновидность аристократии. Я говорю не об отличившихся благодаря заслугам или личным достоинствам, а об аристократии всегда правильно думающих конформистов. В следующем поколении эта аристократия станет денежной.

Не преувеличены ли мои опасения? Хотелось бы, чтобы это было так. Впрочем, СССР уже продемонстрировал нам свою способность к неожиданным поворотам. Чтобы разом покончить с этим обуржуазиванием, одобряемым и поощряемым сейчас правительством, боюсь, как бы не понадобились в скором времени крутые меры, которые могут оказаться столь же жестокими, как и при ликвидации нэпа.

Как может не коробить то презрение или, по крайней мере, равнодушие, которое проявляют находящиеся или чувствующие себя «при власти» люди по отношению к «подчиненным», чернорабочим, горничным, домработницам* и, я собирался написать, бедным. Действительно, в СССР нет больше классов. Но есть бедные. Их много, слишком много. Я, однако, надеялся, что не увижу их,— или, точнее, я и приехал в СССР именно для того, чтобы увидеть, что их нет.

* И как оборотная сторона всего этого — какой сервилизм, какое угодничество у прислуги! Не в отелях — там она держится с большим достоинством, что, впрочем, не мешает искреннему радушию и сердечности,— а у той, которая имеет дело с руководителями, «ответственными работниками».

К этому добавьте, что ни благотворительность, ни даже просто сострадание * не в чести и не поощряются. Об этом заботу на себя берет государство. Оно заботится обо всем, и поэтому, естественно, необходимость в помощи отпадает. И отсюда некоторая черствость во взаимоотношениях, несмотря на дух товарищества. Разумеется, здесь не идет речь о взаимоотношениях между равными. Но в отношении к «нижестоящим» *«комплекс превосходства»*, о котором я говорил, проявляется в полной мере.

Это мелкобуржуазное сознание, которое все более и более утверждается там, с моей точки зрения, решительно и глубоко контрреволюционное.

Но то, что нынче в СССР называют «контрреволюционным», не имеет никакого отношения к контрреволюции. Даже скорее наоборот.

Сознание, которое сегодня там считают контрреволюционным, на самом деле — революционное сознание, приведшее к победе над полусгнившим царским режимом. Хотелось бы думать, что людские сердца переполнены любовью к ближним или по меньшей мере не совсем лишены чувства справедливости. Но как только революция совершилась, победила и утвердилась, об этом уже нет речи, чувства, воодушевлявшие первых революционеров, становятся лишними, они мешают, как и все, что перестает служить. Эти чувства можно сравнить с лесами, которые возводят при кладке свода,— как только в замок положили последний камень, их тотчас же убирают.

Сейчас, когда революция восторжествовала, когда она утверждается и приручается, когда она вступает в сделки, а по мнению иных — набирается ума, те, в ком бродит еще революционный дух и кто считает компромиссом все эти последовательно совершаемые уступки, становятся лишними, они мешают, и поэтому их проклинают и уничтожают. И не лучше ли вместо словесного жонглирования признать, что революционное сознание (и даже проще: критический ум) становится неуместным, в нем уже никто не нуждается. Сейчас нужны только соглашательство, конформизм. Хотят

* Хочу добавить: в севастопольском парке калека мальчик на костылях останавливается перед сидящими на скамейках с просьбой о подаянии. Я долго наблюдаю за ним. Из двадцати человек, к которым он обратился, подают восемнадцать. Но, несомненно, это сострадание вызвано его увечностью.

и требуют только одобрения всему, что происходит в СССР. Пытаются добиться, чтобы это одобрение было не вынужденным, а добровольным и искренним, чтобы оно выражалось даже с энтузиазмом. И самое поразительное — этого добиваются. С другой стороны, малейший протест, малейшая критика могут навлечь худшие кары, впрочем, они тотчас же подавляются. И не думаю, чтобы в какой-либо другой стране сегодня, хотя бы и в гитлеровской Германии, сознание было бы так несвободно, было бы более угнетено, более запугано (терроризировано), более порабощено.

IV

На нефтеперегонном заводе в окрестностях Сухуми, где все кажется таким замечательным: столовая, рабочее общежитие, клуб (что касается самого завода, я в этом ничего не понимаю, а просто верю, что он достоин восхищения), мы остановились перед «стенной газетой», вывешенной, по обыкновению, в клубе. У нас не было времени читать все заметки, но в рубрике «Красная помощь», где в принципе должны быть сообщения из-за границы, нас удивило отсутствие какого-либо намека на Испанию — в последние дни известия оттуда вызывали беспокойство. Мы не стали скрывать грустного удивления. Минута смущения, нас благодарят за замечание — оно будет обязательно учтено.

Тот же вечер, банкет. Обычные многочисленные тосты. Когда уже было выпито за всех гостей и хозяев, поднимается Джеф Ласт и по-русски предлагает поднять бокалы за победу Красного фронта в Испании. Бурные аплодисменты, но, как нам показалось, не без легкого замешательства. И сразу, как бы в ответ — тост за Сталина. В свою очередь я предлагаю тост за политических заключенных в Германии, Венгрии, Югославии... На этот раз аплодируют искренне, чокаются, выпивают. И тотчас опять — тост за Сталина. Нам становится понятным, что по отношению к жертвам фашизма в Германии и повсюду — все знают, какую следует занимать позицию. Что же касается событий и борьбы в Испании, все, как один, ждут указаний «Правды», которая по этому поводу еще не высказалась. Пока не станет известно, что следует думать на этот счет, никто не хочет рисковать. И только спустя

несколько дней (мы были уже в Севастополе) мощная волна сочувствия и симпатии, родившаяся на Красной площади, отозвалась в прессе, и тогда же повсюду началась подписка в поддержку правительственных войск в Испании.

В правлении завода нас поразила огромных размеров символическая картина — в центре изображен Сталин, он что-то говорит, по обеим сторонам от него члены правительства аплодируют.

Изображения Сталина встречаются на каждом шагу, его имя на всех устах, похвалы ему во всех выступлениях. В частности, в Грузии в любом жилище, даже в самом жалком, самом убогом, вы непременно увидите портрет Сталина на том самом месте, где раньше висела икона. Я не знаю, что это: обожание, любовь, страх, но везде и повсюду — он.

По дороге из Тифлиса в Батум мы проезжали через Гори, небольшой город, где родился Сталин. Я подумал, что это самый подходящий случай послать ему телеграмму в знак благодарности за прием в СССР, где нас повсюду тепло встречали, относились к нам с вниманием и заботой. Лучшего случая не представится. Прошу остановить машину у почты и протягиваю текст телеграммы. Содержание примерно такое: «Совершая наше удивительное путешествие по СССР и находясь в Гори, испытываю сердечную потребность выразить вам...» Но в этом месте переводчик запинается: такая формулировка не годится. Просто «вы» недостаточно, когда это «вы» относится к Сталину. Это даже невозможно. Надо что-то добавить. И поскольку я недоумеваю, присутствующие начинают совещаться. Мне предлагают: «Вам, руководителю трудящихся», или — «вождю народов», или... я уж не знаю, что еще *. Мне это кажется абсурдом, я протестую и заявляю, что Сталин выше всей этой лести. Я бьюсь напрасно. Делать нечего. Телеграмму не примут, если

* Похоже, что я выдумываю, не правда ли? Увы, нет! И пусть не стараются меня уверить, что дело в неловком усердии какого-нибудь не очень умного чиновника. Совсем нет, там было много людей довольно высокопоставленных и, уж во всяком случае, хорошо разбирающихся в таких делах.

я не соглашусь на дополнения. И поскольку речь идет о переводе, который я даже не могу проверить, соглашаюсь после упорного сопротивления и с грустной мыслью о том, что все это создает ужасающую, непреодолимую пропасть между Сталиным и народом. И поскольку я уже обращал внимание на подобные добавления и уточнения в переводах моих речей *, произнесенных там, я тогда же заявил, что отказываюсь от всего опубликованного под моим именем во время пребывания в СССР ** и что я еще об этом скажу. Вот я это и сделал теперь.

Ах, черт побери, во всех этих уловках, чаще всего невольных, я не хочу видеть никакого подвоха, скорее всего, это просто желание помочь человеку, не знакомому с местными обычаями и которому лучше всего согласиться и соответствующим образом подбирать слова и выражать мысли.

Изменения и дополнения, которые Сталин посчитал своим долгом внести в планы первой и второй пятилеток, свидетельствуют о такой мудрости и гибкости ума, что невольно задаешься вопросом — возможно ли было вообще большее постоянство; не было ли это отклонение от начального курса, отклонение от ленинизма вызвано необходимостью; и не потребовала ли бы большая верность начальному курсу нечеловеческих усилий от всего народа. Во всяком случае, есть издержки. И если не сам Сталин, то человек вообще, натура человеческая разочаровывают. Все, чего добивались, чего хотели, чего, казалось, уже почти достигли ценой такой борьбы, пролитой крови, слез,— и все это «выше человеческих сил»? И что теперь? Ждать еще, смириться, отложить на будущее свои надежды? Вот о чем с отчаянием спрашиваешь себя в СССР. Даже подумать об этом страшно.

---

* Х. мне объясняет, что к слову «судьба», употребленному мной в разговоре об СССР, принято добавлять какое-нибудь определение. Я предложил: «славная», Х. одобрил и сказал, что это слово может удовлетворить всех. С другой стороны, он же мне советует воздержаться от слова «великий», когда речь идет о монархе. Монарх не может быть великим.

** Не заставляли ли меня заявлять, что французская молодежь меня не понимала и не любила, что отныне я обязуюсь писать исключительно для рабочего класса и т. п.

После стольких месяцев, лет усилий человек вправе себя спросить: можно ли наконец немного приподнять голову? Головы никогда еще не были так низко опущены.

В том, что было отклонение от идеала, сомнений ни у кого нет. Но одновременно должны ли мы сомневаться в том, что задуманное было осуществимо? Поражение это или необходимые и оправданные уступки, вызванные неожиданными трудностями?

Этот переход от «мистики» к «политике» — связан ли он неизбежно с деградацией? Поскольку речь идет уже не о теории, а о практике, следует считаться с menschliches, allzumenschliches * и считаться с врагом.

Сталин принял много решений, и все они в последнее время продиктованы страхом, который внушает Германия. Постепенное восстановление семьи, личной собственности, права наследования — все это объясняется достаточно убедительно: важно внушить советскому гражданину чувство, что у него есть нечто свое, личное, что следует защищать. Но так первый порыв постепенно гаснет, устремленный вперед взгляд притупляется. Мне скажут, что все это необходимо, срочно, что вторжение внешних сил может погубить начинание. Но уступка за уступкой — и начинание скомпрометировано.

Другая опасность — «троцкизм» и то, что там называют «контрреволюцией». Есть люди, которые отказываются считать, что нарушение принципов вызвано необходимостью. Эти уступки кажутся им поражением. Им не важно, что отступление от первых декретов находит свое объяснение и оправдание, им важен сам факт этого отступления. Но сейчас требуются только приспособленчество и покорность. Всех недовольных будут считать «троцкистами». И невольно возникает такой вопрос: что, если бы ожил вдруг сам Ленин?..

То, что Сталин всегда прав, означает, что Сталин восторжествовал над всеми.

«Диктатура пролетариата» — обещали нам. Далеко до этого. Да, конечно: диктатура. Но диктатура

* Человеческим, всечеловеческим *(нем.)*.

одного человека, а не диктатура объединившегося пролетариата, Советов. Важно не обольщаться и признать без обиняков: это вовсе не то, чего хотели. Еще один шаг, и можно будет даже сказать: это как раз то, чего не хотели.

Уничтожение оппозиции в государстве или даже запрещение ей высказываться, действовать — дело чрезвычайно опасное: приглашение к терроризму. Для руководителей было бы удобнее, если бы все в государстве думали одинаково. Но кто тогда при таком духовном оскудении осмелился бы говорить о «культуре»? Как избежать крена без противовеса? Я думаю, что это большая мудрость — прислушиваться к противнику; даже заботиться о нем по необходимости, не позволяя ему вредить,— бороться с ним, но не уничтожать. Уничтожить оппозицию... Как хорошо, что Сталину это плохо удается.

«В человечестве все непросто, надо примириться с этим. И любая попытка все упростить, унифицировать, свести к внешним проявлениям — отвратительна, дорого обходится, оборачивается зловещим фарсом. Потому что, к несчастью для Аталии, всегда находится Иоас, к несчастью для Ирода, всегда находится «Святое семейство»,— писал я в 1910 году.

V

Перед отъездом в СССР я писал: «Думаю, что ценность писателя определяется его связями с революционными силами, стимулирующими творчество, или, точнее — ибо я не настолько глуп, чтобы признавать только за левыми писателями способность создавать художественные ценности,— оппозиционность. Эта оппозиционность есть у Боссюэ, Шатобриана, в наши дни — у Клоделя, она есть у Вольтера, Гюго, Мольера и у многих других. При нашем общественном устройстве большой писатель, большой художник всегда антиконформист. Он движется против течения. Это было верно по отношению к Данте, Сервантесу, Ибсену, Гоголю... Эта закономерность, пожалуй, перестает действовать по отношению к Шекспиру и его современникам, о которых прекрасно сказал Джон Аддингтон

Симондс: «Драматическое искусство этого периода достигло таких вершин только потому, что авторы жили и творили в согласии с народным мнением». Это верно и по отношению к Софоклу, и, безусловно, по отношению к Гомеру, устами которого, как кажется, пела сама Греция. Эта закономерность нарушается с того момента, когда... И тут в связи с СССР нас волнует вопрос: означает ли победа революции право художника плыть по течению? Вопрос формулируется именно так: что случится, если при новом социальном строе у художника не будет больше повода для протеста? Что станет делать художник, если ему не нужно будет вставать в оппозицию, а только плыть по течению? Понятно, что, пока идет борьба, победа еще не достигнута, художник сам может участвовать в этой борьбе и отражать ее, способствуя тем самым достижению победы. А дальше...

Вот о чем я себя спрашивал, отправляясь в СССР.

«Понимаете ли,— объяснял мне X.,— это совсем не то, чего хотела публика; совсем не то, что нам сегодня нужно. Недавно он создал балет, очень яркий и хорошо принятый. («Он» — это Шостакович, о котором некоторые говорили мне с таким восхищением, с каким обычно говорят о гениях.) Но как вы хотите, чтобы народ отнесся к опере, из которой нельзя напеть ни одной арии, выходя из театра?» (Куда хватил! И вместе с тем X., сам художник, высокообразованный человек, говорил до сих пор со мной вполне разумно.)

«Нам нужны нынче произведения, которые могут быть понятны каждому. Если Шостакович этого не понимает, ему дадут это почувствовать — перестанут слушать его музыку». Я запротестовал, говоря, что нередко самые прекрасные произведения, даже те, что становятся позже народными, доступны для понимания вначале малому кругу людей; что сам Бетховен... и протянул ему книжку, которая была у меня с собой: смотрите вот здесь.

«Я тоже несколько лет назад (это говорил Бетховен) давал концерт в Берлине. Я выложился без остатка и надеялся, что чего-то достиг и, следовательно, будет настоящий успех. И смотрите, что получилось: когда я создал лучшее из того, на что способен,— ни малейшего знака одобрения».

Х. согласился со мной, что в СССР Бетховену было бы трудно оправиться от подобного поражения. «Видите ли,— продолжал он,— художник у нас должен прежде всего придерживаться линии. Без этого самый яркий талант будет рассматриваться как «формалистический». Именно это слово мы выбрали для обозначения всего того, что мы не хотим видеть или слышать. Мы хотим создать новое искусство, достойное нашего великого народа. Искусство нынче или должно быть народным, или это будет не искусство».

«Вы принудите ваших художников к конформизму,— сказал я ему,— а лучших из них, кто не захочет осквернить искусство или просто его унизить, вы заставите замолчать. Культура, которой вы будто бы служите, которую защищаете, проклянет вас».

Тогда он возразил, что я рассуждаю как буржуа. Что же касается его самого, то он убежден, что марксизм, благодаря которому столько сделано в разных областях, поможет создать и художественные творения. И добавил, что если новые творения пока не появляются, так это только потому, что слишком велика роль искусства минувших эпох.

Он говорил все громче и громче, словно вел урок или читал лекцию. Все это происходило в холле сочинской гостиницы. Я ему не стал возражать, и мы расстались. Но спустя короткое время он поднялся ко мне в номер и прошептал:

«Ох, черт возьми! Я все понимаю... Но нас подслушивали только что... а у меня вот-вот должна открыться выставка».

Х.— художник и должен был выставлять свои последние картины.

Когда мы прибыли в СССР, там еще не затихли окончательно споры о формализме. Я попытался понять, какой смысл вкладывали в это слово, и выяснил, что в формализме обвинялся всякий художник, проявляющий больший интерес к *форме,* нежели к *содержанию.* Кстати, добавлю, что достойным интереса (точнее, терпимым) считается только определенное содержание. Если этого нет, художественное произведение считается формалистическим и вообще лишенным смысла. Признаюсь, что не могу написать без улыбки эти два слова — «форма» и «содержание».

Хотя скорее следовало бы плакать, зная, что критика основывается на этом абсурдном разграничении. Возможно, что в этом есть польза с политической точки зрения; но незачем тогда говорить о культуре. Культура в опасности, когда критика перестает быть свободной.

Как бы прекрасно ни было произведение, в СССР оно осуждается, если не соответствует общей линии. Красота рассматривается как буржуазная ценность. Каким бы гениальным ни был художник, но, если он не следует общей линии, ему не дождаться внимания, удача отворачивается от него. От художника, от писателя требуется только быть послушным, все остальное приложится.

Я видел в Тифлисе выставку современной живописи — из милосердия о ней лучше было бы вообще не упоминать. Но в конце концов художники достигли поставленной цели, которая заключалась в том, чтобы поучать (с помощью наглядного образа), убеждать, объединять (иллюстрациями служили эпизоды из жизни Сталина). Ох, конечно, эти не были «формалистами»! К несчастью, и художниками они тоже не были. Они заставили меня вспомнить Аполлона, который, чтобы услужить Адмету, погасил солнечные лучи и все равно не помог. Но так как СССР в пластических искусствах ни до, ни после революции заметных успехов не достиг, стоит лучше поговорить о литературе.

«Во времена моей молодости,— говорил мне X.,— нам рекомендовали читать одни книги и не рекомендовали другие. Естественно, что эти последние привлекали наше внимание. Различие между тем и нашим временем состоит в том, что молодежь читает только рекомендованную литературу, ничего другого они читать не желают».

Следовательно, у Достоевского читателей больше нет, причем нельзя с уверенностью сказать, сама ли молодежь от него отвернулась, или ее от него отторгли,— так обработаны мозги.

Ум, вынужденный, обязанный откликнуться на команду, по крайней мере может чувствовать свою несвободу. Но если он воспитан так, что предвосхищает лозунги, тогда он не способен уже осознать собственное свое рабство. Я думаю, многие молодые люди в

СССР были бы удивлены, стали бы протестовать, если бы им сказали, что они несвободно мыслят.

Обычно мы не ценим то, что имеем, к чему привыкли. Достаточно однажды побывать в СССР (или в Германии, само собой разумеется), чтобы осознать, сколь бесценна свобода мысли, которой мы еще наслаждаемся во Франции и которой иногда злоупотребляем.

В Ленинграде меня попросили выступить с небольшой речью перед студентами и литераторами. В СССР я пробыл всего неделю и пытался найти верный тон, поэтому передал текст речи Х. и У. Мне тотчас же дали понять, что линия не выдержана, тон не тот и что все, о чем я собирался говорить, совершенно неприемлемо. Еще бы! Позже я все это понял сам. Впрочем, случай не представился, и речь я не произнес. Вот она:

«Часто интересовались моим мнением о современной литературе СССР. Я хотел бы объяснить, почему я уклонялся от ответа. Это мне позволит уточнить одну мысль из моей речи, произнесенной на Красной площади в торжественный день похорон Горького. Я говорил о «новых проблемах», рожденных самим триумфом советских республик, о проблемах, поставленных историей и требующих разрешения. Сама необходимость о них задумываться добавляет немало славы СССР. И так как будущее культуры представляется мне тесно связанным с их решением, есть смысл к этому еще раз вернуться и сделать ряд уточнений.

. . . .

Большинство людей, и даже лучшие из них, никогда не встречают благосклонно произведений, в которых есть нечто новое, необычное, озадачивающее, приводящее в замешательство; на благосклонность может рассчитывать только то, что содержит в себе узнаваемое, то есть банальность. И так же, как бывают банальности буржуазные, бывают — это важно понять — банальности и революционные. Важно убедиться также, что все, идущее от доктрины, хотя бы самой здравой и прочно утвердившейся, отнюдь не составляет ценности художественного произведения и не способствует его долголетию. Ценно то, что содержит в себе ответы на еще не поставленные вопросы. Сильно опасаюсь, что многие произведения, написанные в духе

чистого марксизма — чему они обязаны нынче своим успехом,— оттолкнут последующие поколения своей стерильностью. И я верю, что сохранятся только произведения, свободные от какого бы то ни было доктринерства.

С того момента, когда революция провозглашена, победила и утверждается, искусство оказывается в опасности почти такой же, как при фашизме: оно подвергается опасности ортодоксии. Искусство, которое ставит себя в зависимость от ортодоксии, даже и при самой передовой доктрине, такое искусство обречено на гибель. Победившая революция может и должна предложить художнику прежде всего свободу. Без нее искусство теряет смысл и значение.

Уолт Уитмен, узнав о смерти президента Линкольна, написал лучшую свою песнь. Но если бы это было не свободное творчество, если бы Уитмен вынужден был ее написать по приказу и в соответствии с принятым каноном, она бы утратила всю свою красоту и привлекательность. Или, скорее всего, Уитмен не смог бы ее написать.

И поскольку (это само собой разумеется) благосклонности, аплодисментов большинства удостоивается все то, что публика тотчас может признать и одобрить, то есть то, что порождено конформизмом, я с беспокойством спрашиваю себя: что, если в славном ныне Советском Союзе прозябает неведомый толпе какой-нибудь Бодлер, какой-нибудь Китс, или какой-нибудь Рембо, и он, этот избранник, не может заставить услышать себя. Но именно он, единственный из всех, мне важен и интересен, ибо отверженные сначала — Рембо, Китсы, Бодлеры, Стендали даже — завтра станут великими» *.

---

* Но, возразят мне, что мы станем делать сегодня с Китсами и Бодлерами, Рембо и Стендалями? Они представляют для нас интерес лишь потому, что отражают жизнь отмирающего, развращенного общества, продуктом которого они являются. Если они не могут возникнуть в новом современном обществе, тем хуже для них и тем лучше для нас, ни они, ни им подобные ничему не могут нас научить. Сегодня нас может научить только такой писатель, который чувствует себя совершенно свободно в новом обществе и которого воодушевляет все то, что мешало старым писателям. Иначе говоря, тот, кто все одобряет, всему аплодирует и считает себя счастливым.

Но именно писания этих аллилуйщиков очень мало содержат поучительного, и совсем не к ним следует прислушиваться

VI

Севастополь — последний пункт нашего путешествия. Несомненно, есть в СССР города более красивые и более интересные, но нигде еще я себя так хорошо не чувствовал. Я нашел в Севастополе общество не столь избранное, не столь благополучное, как в Сочи или Сухуми, увидел жизнь русских во всей ее полноте, с ее лишениями, недостатками, страданиями, увы! — наряду с ее достижениями и успехами, со всем тем, что вселяет в человека надежду на счастье. Тени иногда просветлялись, иногда сгущались, но и самое светлое, и самое темное из того, что я мог видеть здесь, одинаково привязывало меня — иногда с болью — к этой земле, к этому спокойному народу, к этому новому климату, который благоприятствовал будущему и в котором неожиданно могло произрасти новое семя. Со всем этим мне предстояло расстаться.

И уже сердце начинала сжимать неведомая тоска: что скажу, вернувшись в Париж? Как отвечать на вопросы, которых не избежать? Разумеется, от меня будут ждать искренних ответов. Как объяснить, что в СССР мне бывало поочередно (морально) и так холодно и так жарко? Снова заявляя о своей любви, должен ли я буду скрывать свои опасения и, все оправдывая, лгать? Нет, я прекрасно понимаю, что тем самым я окажу плохую услугу и СССР, и его революционным идеям. Но было бы большой ошибкой увязывать одно с другим и считать несостоятельной идею, потому что нам не все нравится в СССР.

Помощь, которую СССР только что оказал Испании, свидетельствует о возможности перемен.

СССР не перестает удивлять, не перестает оставаться для нас наукой.

народу, который хочет развиваться. Лучше всего учит то, что заставляет думать.

Что касается литературы, которую можно было бы назвать зеркальной, то есть взявшей на себя только функцию отражения (общества, события, времени), мне уже приходилось говорить, что я о ней думаю.

Самосозерцанием, самовосхищением может быть озабочено только еще очень молодое общество. И достойно сожаления, если это его единственная забота.

I
АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ БОРЬБА

Я не был в московских антирелигиозных музеях, но в ленинградском, в Исаакиевском соборе, был, его золотой купол восхитительно сияет над городом. Снаружи музей выглядит очень хорошо, внутри — ужасно. Большие картины на религиозные темы могут подвигнуть на богохульство — так они безобразны. В самом музее все обходится без грубостей, каких можно было бы ожидать. Речь там идет о противопоставлении религии и науки. Экскурсоводы приходят на помощь тем ленивым умам, которых не убедили различные оптические приборы, астрономические, биологические, анатомические или статистические таблицы. Все в рамках приличий, без излишней агрессивности. Во всем этом больше от Реклю или Фламмариона, чем от Лео Таксиля. Очень достается, например, попам. Но несколькими днями раньше в окрестностях Ленинграда, по дороге в Петергоф, мне случилось повстречать одного попа, настоящего. Его вид был более красноречив, чем все антирелигиозные музеи СССР, вместе взятые. Не буду его описывать. Убогий, нелепый, грязный, он казался специальным изобретением большевизма, который с помощью этого чучела надеялся навсегда изгнать из деревень религиозные чувства.

С другой стороны, я не могу забыть колоритного монаха-сторожа очень красивой церкви, где мы были незадолго перед поездкой в X. Сколько достоинства во всей осанке! Сколько благородства в чертах лица! Сколько печальной гордости и смирения! И ни единого слова, ни жеста, ни взгляда в нашу сторону. Украдкой рассматривая его, я подумал о евангельской «tradebat autem», вдохновившей Боссюэ на великолепный порыв красноречия.

Археологический музей Херсонеса в окрестностях Севастополя тоже расположен в церкви *. Настенную живопись в ней пощадили, несомненно, из-за ее антихудожественности. Поверх фресок развешаны повсюду плакаты. Под изваянием Христа надпись: «Легендарная личность, которая никогда не существовала».

Я не уверен, что СССР ведет эту антирелигиозную войну как следует. Марксисты поступили бы правильно, если бы сосредоточились только на истории и, отрицая божественность (и даже существование) Христа, отбросив церковные догмы, идею воскрешения, попытались бы тем не менее отнестись критически и по-человечески к учению, принесшему в мир новую надежду и самый сильный революционный фермент, какой только был возможен в то время. Можно было бы даже сказать о том, как церковь предала эти надежды, как освободительная евангельская доктрина — увы, при попустительстве церкви — способствовала худшим злоупотреблениям властью. Все-таки это куда лучше, чем все отрицать и замалчивать. Ведь невозможно ни стереть, ни утаить прошлое, и из-за невежества, на которое обрекли народы СССР, они беззащитны и беспомощны перед эпидемией мистики, способной возникнуть в любое время.

Более того, во всем этом есть еще практическая сторона, и я уже высказывал свои соображения по этому поводу. Невежество, пренебрежение к Евангелию и всему, связанному с ним, может только самым плачевным образом обеднить человечество, его культуру. Мне не хотелось бы, чтобы подобные суждения сочли за рецидивы моего первоначального образования и воспитания. То же самое я сказал бы и о греческих мифах, воспитательное значение которых огромно и вечно. Мне кажется абсурдным верить в них, но в равной степени абсурдно не признавать истину, которую они в себе заключают, и думать, что можно ограничиться улыбкой и пожиманием плеч. Что касается консервативного влияния религии на сознание, отпечатка, который может наложить на него вера, я знаю об этом и думаю, что было бы хорошо освободить от всего

* В другой церкви, в районе Сочи, мы присутствовали на танцах. На месте алтаря пары кружатся под звуки танго или фокстрота.

этого нового человека. Я допускаю также, что суеверие, поддержанное священником, наносит страшный ущерб морали в деревне и повсюду (я был в апартаментах царицы), и понимаю, что может возникнуть желание разом избавиться от всего этого, но... У немцев есть хорошая поговорка, я не могу подобрать схожей французской: «Вместе с водой выплеснули ребенка». По невежеству и в великой спешке. И что вода в корыте была грязная и зловонная — может быть. Настолько грязная, что не пришло даже в голову подумать о ребенке, выплеснули все сразу, не глядя.

И когда я слышу теперь, как говорят, что по соображениям терпимости, по прочим разным соображениям надо отливать заново колокола, боюсь, чтобы это не стало началом, чтобы не заполнили снова грязной водой купель... в которой уже нет ребенка.

II

ОСТРОВСКИЙ

Я не могу говорить об Островском, не испытывая чувства глубочайшего уважения. Если бы мы были не в СССР, я бы сказал: «Это святой». Религия не создала более прекрасного лица. Вот наглядное доказательство того, что святых рождает не только религия. Достаточно горячего убеждения, без надежды на будущее вознаграждение. Ничего, кроме удовлетворения от сознания выполненного сурового долга.

В результате несчастного случая Островский стал слепым и совершенно парализованным... Лишенная контакта с внешним миром, приземленности, душа Островского словно развилась ввысь.

Мы столпились возле кровати, к которой он давно прикован. Я сел у изголовья, протянул ему руку, которой он овладел, и даже лучше было бы сказать: через которую он словно бы соединился с жизнью. И в течение целого часа, пока мы были у него, его худые пальцы переплетались с моими, посылая мне токи горячей симпатии.

Островский слеп, но он говорит, он слышит. Его мысль напряженна и активна, работе мысли могут помешать лишь физические страдания. Но он не жалуется, и его прекрасное высохшее лицо не утратило способности улыбаться, несмотря на медленную агонию.

Он лежит в светлой комнате. В раскрытые окна долетают голоса птиц, запахи цветов из сада. Какой покой здесь! Мать, сестра, друзья, посетители скромно стоят поодаль от кровати. Некоторые записывают наш разговор. Я говорю Островскому, что его постоянство придает мне сил. Но похвала его смущает — восхищаться надо только Советским Союзом, проделана громадная работа. Только этим он и интересуется, не самим собой. Трижды я порывался уйти, опасаясь его утомить,— такое неослабевающее горение не может не истощать силы. Но он просит меня остаться, чувствуется, что ему хочется говорить еще. Он будет продолжать говорить и после нашего ухода, говорить для него — это значит диктовать. Именно таким способом он мог написать книгу, где рассказал о своей жизни. Сейчас он диктует другую. С утра до вечера, долго за полночь он работает, без конца диктует.

Наконец я поднимаюсь, чтобы уходить. Он просит меня поцеловать его. И, прикасаясь губами к его лбу, я едва сдерживаю слезы. Мне кажется вдруг, что я его знаю очень давно и что я расстаюсь с другом. Мне кажется также, что это он уходит от нас, я оставляю умирающего... Но проходят месяцы и месяцы, и мне сообщают, что он продолжает существовать на грани жизни и смерти и что только энтузиазм поддерживает в ослабевшем теле это готовое вот-вот погаснуть пламя.

III

КОЛХОЗ

Итак, 16 с половиной франков за рабочий день. Негусто. Но колхозный бригадир, с которым мы долго беседуем, пока товарищи ушли купаться (колхоз на берегу моря), объясняет мне, что «трудодень» — мера условная. Хороший работник может выработать за день два или даже три рабочих дня *. Он показывает мне индивидуальные книжки и расчетные ведомости — те и другие проходят через его руки. Учитывается не только количество труда, но и его качество. Звеньевые сообщают ему необходимые сведения, и на их основании составляются расчетные ведомости. Все это требует сложных расчетов, и он не скрывает, что немного

* Трудодень делится на десять равных частей.

устал. В то же время он очень доволен — на его личном счету уже триста трудодней с начала этого года (мы разговариваем с ним 3 августа). В бригаде у него 56 человек, он руководит ими с помощью звеньевых. Одним словом — иерархия. Но расценки для всех одинаковые. Кроме того, каждый пользуется продуктами с приусадебного участка, который он обрабатывает, закончив работу в колхозе.

Для работы нет точно установленного времени: если нет особой срочности, каждый работает тогда, когда он хочет.

Это вынуждает меня задать вопрос: «Бывают ли такие, кто вырабатывает меньше трудодня за день?» — «Нет, такого не бывает»,— ответили мне. Несомненно, что «трудодень» обозначает не тот объем работы, который вырабатывается «в среднем», а легко достижимый минимум. Кроме того, отпетых лодырей тотчас бы выгнали из колхоза. А преимущества, связанные с пребыванием в колхозе, настолько очевидны для всех, что каждый старается в него вступить. Но напрасно — число колхозников ограниченно.

Таким образом, эти привилегированные колхозники как будто в состоянии заработать около 600 рублей в месяц. «Квалифицированный» рабочий часто получает больше. Неквалифицированный — а их подавляющее большинство — зарабатывает 5—6 рублей в день*. Чернорабочий зарабатывает еще меньше.

Государство, вероятно, могло бы их обеспечить получше. Но пока не будет в достаточном количестве потребительских товаров, рост зарплаты привел бы только к росту цен. По крайней мере, так объясняют.

А пока разница в зарплате вынуждает повышать квалификацию. Очень много чернорабочих, большая нехватка кадров, специалистов. Делается все, чтобы их подготовить. И ничто меня так не восхищает в СССР, как повсеместная доступность образования для самых обездоленных тружеников, что позволяет им (а это зависит только от них самих) выбиться из того жалкого состояния, в котором они сейчас находятся.

---

* Должен ли я напоминать, что теоретически рубль равен трем французским франкам, то есть иностранец, прибывающий в СССР, обменивает три франка на один рубль. Но покупательная способность рубля ниже покупательной способности франка. Кроме того, многие продукты — и из самых необходимых — стоят еще очень дорого (яйца, молоко, мясо, масло в особенности). Что же касается одежды!..

IV
БОЛШЕВО *

В Болшеве я был. Сначала это была только деревня, выросшая из земли, как по команде, шесть лет назад, кажется, по инициативе Горького. Сегодня это довольно большой город.

У него есть одна очень важная особенность: все его жители — бывшие уголовники, даже убийцы... Этой мыслью руководствовались, когда проектировали и строили город: дескать, это жертвы, отверженные и разумное перевоспитание может сделать из них отличных советских граждан. Чему и является доказательством Болшево. Город процветает. Здесь были построены заводы, которые вскоре стали образцовыми.

Все жители Болшева, исправившиеся сами по себе, без какого-либо стороннего влияния, усердно трудятся, любят спокойствие и порядок, отличаются исключительным добронравием и стремлением к знаниям. Все средства для этого в их распоряжении. И я восхищался не только их фабриками, они приглашали меня в залы для собраний, клубы, библиотеки — всюду, где они бывают,— и лучшего нельзя ничего желать. Напрасно вы стали бы искать на лицах этих бывших преступников, в их повадках, языке какие-либо следы их прошлой жизни. Трудно представить себе что-нибудь более поучительное, успокаивающее, обнадеживающее, чем эта встреча. Она позволяет думать, что вина за преступление ложится не на человека, его совершившего, а на общество, вынудившее его к этому. Мы попросили сначала одного из них, потом другого рассказать о прошлых своих преступлениях, о том, как они меняли жизнь, как пришли к пониманию справедливости новой власти, какие она лично у них вызывает чувства. И странно — мне это напомнило поучительные исповеди, которые я слышал два года назад в Тауне на собрании сторонников оксфордского движения: «Я был грешный и несчастный, я делал зло, но теперь я понял, я спасен, я счастлив». Все это немного грубовато, немного наивно, психолог этим не удовлетворился бы. Как бы там ни было,

* Впоследствии я узнал, что в этом образцовом городе разрешается жить только преступникам-доносителям.

а Болшево остается одним из самых замечательных достижений, которыми может похвастаться новое Советское государство. Не знаю, настолько ли податлив человек в других странах.

V
БЕСПРИЗОРНИКИ

Я очень надеялся, что беспризорников больше не увижу. В Севастополе их полным-полно. Говорят, что в Одессе их еще больше. Это уже новое поколение. У нынешних, может быть, живы еще родители, эти дети сбежали из родной деревни, иногда в поисках приключений, но чаще всего потому, что знали: едва ли где-нибудь еще можно быть столь же несчастным и голодным, как дома. Иным меньше десяти лет. Их узнаешь по тому, что они «более одеты» (я не говорю «лучше»), чем другие дети. Это означает: они надевают на себя все, что у них есть. На других детях очень часто ничего нет, кроме трусов. (Сейчас лето и стоит сильная жара.) Они бродят по улицам босиком, полуголые. И в этом не следует непременно видеть знак бедности. Они принимают душ, у них есть свой угол, где они могут оставить одежду на случай дождя, зимнюю одежду. Что же касается беспризорников — они бездомные. Кроме трусов на беспризорнике еще какие-то лохмотья.

Чем живут беспризорники, я не знаю, знаю только, что, если им выпадает возможность купить кусок хлеба, они его тотчас съедают. Большинство веселы, несмотря ни на что. Но некоторые крайне измождены. Мы беседуем со многими из них, завоевываем их доверие. В конце концов они показывают нам место, где часто проводят ночь, когда погода не позволяет спать на улице: это недалеко от площади с памятником Ленину, под красивой галереей на причальной набережной. Там, где спуск к воде, с левой стороны в углублении галереи есть небольшая деревянная дверь. Однажды утром, когда еще совсем безлюдно (чтобы не раскрыть тайник и не заставить поменять пристанище), я потянул эту дверь на себя — передо мной оказалась небольшая ниша вроде алькова, и там, свернувшись котенком, спало маленькое изголодавшееся существо. Я закрыл дверь, пока оно не успело проснуться.

Однажды утром знакомые беспризорники вдруг исчезли (обычно они обретаются в городском парке). Позже все же нам попался один из них, он сообщил, что милиция сделала облаву и всех засадили. Двое из моих попутчиков, впрочем, присутствовали при этой облаве. Милиционер, с которым они говорили, объяснил, что все будут сданы в государственное заведение. На другой день все снова оказались на прежних местах. «В чем дело?» — «Мы им не нужны»,— отвечают мальчишки. Но, может быть, они сами не захотели подчиниться дисциплине? Может быть, они сами удрали снова? Милиции было бы нетрудно их снова вернуть на место. Думается, они должны были бы радоваться возможности избавиться от нищенства и бродяжничества. Или они предпочитают свое свободное нищенство тому, что им обещают?

Я видел, как двое в штатском забирали малыша, которому было лет восемь. Они были вынуждены брать его вдвоем, потому что мальчонка, как звереныш, отбивался изо всех сил, он рыдал, визжал, топал ногами, пытался кусаться... Возвращаясь через час и проходя мимо этого места, я увидел того же самого малыша, уже успокоившегося. Он сидел на тротуаре. Один из штатских стоял рядом и разговаривал с ним. Мальчик уже не пытался убежать, он улыбался мужчине. Подошел большой грузовик, остановился. Мужчина помог ребенку в него забраться. Куда он должен был его отвезти? Я не знаю. И если я рассказываю об этом незначительном факте, то потому только, что очень немногое в СССР тронуло меня так, как поведение этого человека по отношению к бездомному ребенку: убеждающая мягкость его голоса (ах, как хотел бы я понимать, что он ему говорил!), располагающая ласковость улыбки, нежность, с какой он брал его на руки... Я вспомнил «Мужика Марея» Достоевского и подумал: уже из-за одного этого стоило приезжать в СССР.

ПОПРАВКИ К МОЕМУ «ВОЗВРАЩЕНИЮ ИЗ СССР»

(июнь 1937)

I

За публикацию «Возвращения из СССР» меня бранили многие. Выступление Ромена Роллана меня огорчило. Я никогда особенно не восхищался его писаниями, но, по крайней мере, я чрезвычайно высоко ценю его моральный авторитет. И вот в чем причина моей печали: редко кто завершает жизнь, удержавшись на высоте своего величия. Я думаю, что автор *«Над схваткой»* должен сурово осудить состарившегося Роллана. Орел устроил свое гнездо, он в нем отдыхает.

Наряду с ругателями было несколько и доброжелательных критиков. Я пишу эту книгу, чтобы им всем ответить.

Поль Низан, обычно очень разумный, делает мне странный упрек: «СССР представлен как неизменяющийся мир». Не знаю, откуда он это увидел. Советский Союз меняется каждый месяц, я писал об этом. И именно это меня пугает. Из месяца в месяц положение дел в СССР ухудшается. Все больше и больше он отклоняется от того, чем, мы надеялись, он должен был бы быть.

Конечно, я восхищаюсь вашей верой, постоянством вашей любви (я говорю это без иронии), но вместе с тем, товарищи, признайтесь, что вами начинает овладевать беспокойство. С возрастающей тревогой вы вынуждены себя спрашивать (в связи с процессами в Москве, например): до каких пор можно будет все это оправдывать? Рано или поздно ваши глаза раскроются, они вынуждены будут раскрыться.

И тогда вы, порядочные люди, вы вынуждены будете спросить себя: как могли мы так долго их держать закрытыми? *

Впрочем, наиболее осведомленные из честных людей не опровергают мои утверждения. Они пытаются искать и находить объяснения. Да, именно объяснения, которые были бы одновременно и оправданием печального положения дел. Потому что для них речь идет не только о том, чтобы показать, *как* это все могло случиться (что в конечном счете понять довольно нетрудно), но доказать, что именно так и должно быть, что все справедливо или, по крайней мере, через это необходимо пройти, что путь, которым следуют, повернувшись спиной к социализму и к идеалам Октябрьской революции, ведет тем не менее к коммунизму. И что другого нет, и что только я ничего в этом не понимаю.

«Поверхностный анализ, поспешные выводы»,— говорили о моей книге. Как будто не поверхностными, не внешними проявлениями нас очаровывал СССР! И как будто, не вглядевшись пристальнее, мы стали замечать худшее!

Червь прячется в глубине плода. Но когда я вам сказал: «Это яблоко червивое», вы обвинили меня в том, что я плохо вижу, или в том, что я не люблю яблоки.

Если бы я только восхищался, вы не сделали бы мне этого упрека (в поверхностности суждений). Но именно тогда я заслуживал бы его больше всего.

Вашу критику я признаю. Она та же самая, какую вызвали в свое время «Путешествие в Конго» и «Возвращение из Чада». Мне возражали тогда:

---

* Ох, сколько их уже, честных душ, которые начинают мучиться! И будут мучиться все больше и больше, пока не будут вынуждены наконец признать ошибку.

«Старый коммунист, советский функционер, проработавший более трех лет в СССР в прессе, в пропагандистском аппарате, в инспекции предприятий, после мучительной внутренней борьбы, после самых страшных в моей жизни сомнений, я пришел к тем же самым выводам, что и вы»,— пишет мне А. Рудольф, автор «Abschied von Sowjetrussland».

1) Что отмеченные мной злоупотребления носили частный характер и не влекли за собой последствий (потому что отрицать их было нельзя);

2) Чтобы найти настоящее положение дел прекрасным, достаточно только его сравнить с предшествующим, с тем, которое было до завоевания (чуть было не сказал: до революции);

3) Все, осуждаемое мной, имело свое законное право на существование, я один будто бы только не понимал, что это — временное зло в предвидении будущего большого блага.

В то время атака критики, оскорбления шли справа. А вам, левым, не пришло тогда в голову уличать меня в явной «некомпетентности», вам выгодно было использовать мои утверждения, потому что они отвечали вашим намерениям, служили вашим целям. То же самое и теперь — вы не стали бы упрекать меня в некомпетентности, если бы я хвалил СССР и заявил, что все там идет прекрасно.

И тем не менее (и это единственно для меня важно) расследование в Конго подтвердило впоследствии все, о чем я тогда писал. То же и теперь: различные свидетельства, которые до меня доходят, данные, которые я мог собрать, отчеты непредвзятых очевидцев (какими бы большими «друзьями СССР» они ни были до и после поездки туда) — все это подтверждает мои суждения относительно настоящего положения дел в СССР, усиливает мои опасения.

Слабость и уязвимость моего «Путешествия в Конго» заключалась вот в чем: я не мог ни на кого ссылаться, указывать на источники, называть и тем самым подвергать опасности тех, кто, доверяя моей скромности, говорил со мной или позволял знакомиться с документами, которые обычно предпочитают не показывать и которые, следовательно, мне не позволено было цитировать.

II

Меня упрекали в том, что мои суждения не имеют под собой твердой почвы, что из эпизодических фактов я поспешно сделал окончательные выводы.

Факты, которые я приводил, может быть, были точны, но случайны и ничего не доказывали.

Из своих наблюдений я отбирал только наиболее типичные. (Дальше мне придется поделиться и некоторыми другими.) Мне казалось бесполезным насыщать книгу цифрами, статистическими таблицами. Во-первых, потому, что у меня правило ссылаться на то, что я видел или слышал сам. Во-вторых, потому, что я не слишком доверяю официальным цифрам. И в особенности еще потому, что эти цифры, эти «таблицы» (они, впрочем, мне были известны) можно найти в другом месте.

Но поскольку вопрос ставится таким образом, вынужден сделать некоторые уточнения.

Фернан Гренье, Жан Понс и профессор Алессандри, я думаю, путешествовали вместе. С группой из ста пятидесяти девяти человек, таких же, как и они, «друзей СССР». Нет ничего удивительного в том, что свидетельства трех обвинителей (обвиняемый — это я) совпадают. Цифры, на которые они ссылаются, чтобы убедить меня, будто я ошибся, те же самые, те, которыми их снабдили и которые они не потрудились проверить.

Постараюсь объяснить, почему они плохо согласуются с цифрами, полученными от гораздо более осведомленных свидетелей, долго работавших в СССР, имевших возможность увидеть «изнанку»,— в то время как сто шестьдесят два путешественника были в СССР проездом. Все их путешествие продолжалось двадцать дней, две недели они были в России: с 14 по 28 августа. В течение этого непродолжительного времени они могли многое увидеть, но только то, что им показывали. Никто из них (я имею в виду моих трех обвинителей) не говорит по-русски. Надеюсь, они не станут возражать, если я в свою очередь посчитаю их утверждения несколько поверхностными.

Я уже говорил: когда я путешествовал в Африке «в сопровождении», почти всегда мне все казалось прекрасным. Я стал ясно видеть и понимать только тогда, когда, оставив губернаторский автомобиль, решил пойти по стране один, пешком, чтобы полгода непосредственно общаться с местными жителями.

Ох, еще бы, я тоже видел в СССР достаточно образцовых фабрик, клубов, школ, парков культуры, детских садов, которые восхищали и меня тоже. И так же как Гренье, Понс или Алессандри, я легко поддался очарованию, чтобы в свою очередь и самому сеять иллюзии. И поскольку очень приятно быть соблазненным и соблазнять, я хотел бы, чтобы те, кого я назвал, поверили: решаясь протестовать против такого соблазна, я должен иметь очень серьезные аргументы и поступаю так отнюдь не из легкомыслия.

Добросовестность Жана Понса достойна всяческого уважения, так же как и его детская трогательная доверчивость *. Он принимает на веру все, что ему скажут, ничего не подвергая сомнению,— так же как и я вначале.

Глядя на цифры, которые он приводит (или которые приводят Алессандри и Гренье) о продукции одного из заводов и которые нельзя не признать сногсшибательными, я предлагаю этим товарищам сведения для размышления, напечатанные в «Правде» от 12 ноября 1936 года:

«Во втором квартале из общего количества автомобильных запасных частей, выпущенных Ярославским заводом (а именно этой цифрой победоносно потрясает официальная статистика.— *А. Ж.*), 4000 штук оказались бракованными, в третьем квартале — 27 200 штук».

В номере от 14 декабря в заметке о выпуске стали «Правда» пишет: «В течение февраля — марта было изъято 4,6 процента бракованного металла, в сентябре — октябре — 16,2 процента».

Скажут, что это «саботаж». Недавние большие процессы могут как будто свидетельствовать в пользу этого предположения. Но можно, однако, считать этот брак и расплатой за чрезвычайную и неоправданную интенсификацию производства.

* Если только она не вызывает смех, как, например, в этом случае: «В гостиной... я вижу Минерву, Юпитера, Диану. Рабочие, ничего не меняя, добавили только бронзовый бюст Ленина. Сходство между Минервой и Лениным кажется непонятным. Между тем оно существует, оно перед нашими глазами. Это доказывает, что коммунизм является естественным, логическим, неизбежным завершением многих веков человеческой истории, наследником высочайшей, выработанной за многие века культуры».

Программы, конечно, замечательные, но, думается, при нынешнем уровне «культуры» определенный объем производства можно превзойти только ценой чрезвычайных потерь.

С апреля по август Ижевский завод допустил брак на 416 000 рублей, а за ноябрь потери составляют уже 176 000 рублей.

Несчастные случаи на автомобильном транспорте обусловлены как переутомлением шоферов, так и плохим техническим состоянием автомобилей: из 9992 автомобилей, проверенных в 1936 году, 1958 признаны неисправными. В одном из гаражей 23 машины из 24 признаны негодными для эксплуатации, в другом — 44 из 52 («Правда», 1936, 8 августа).

Из 50 миллионов граммофонных пластинок, предусмотренных программой 1935 года, Ногинский завод должен был выпустить 4 миллиона. Выпустил он только 1 992 000, из них бракованных 309 800. (Эти данные сообщает «Правда» от 18 ноября 1936 г.)

В первом квартале 1936 года объем выпускаемой продукции составлял 49,8 процента от предусмотренного планом. Во втором квартале — 32,8 и в третьем — только 26.

С одной стороны, падает кривая выпуска продукции, с другой — увеличивается выпуск некачественной продукции.

I квартал . . .	156 200 штук брака
II квартал . . .	259 400 штук брака
III квартал . . .	614 000 штук брака

Что касается четвертого квартала, то окончательные результаты еще не известны, но следует ожидать, что они будут еще худшими, потому что только в октябре зарегистрировано 607 600 штук! Можно представить себе, во что обойдется себестоимость каждой годной детали.

Из двух миллионов школьных тетрадей, выпущенных заводом «Герой труда», 99 процентов бракованных, их нельзя использовать («Известия», 1936, 4 ноября). В Ростове были вынуждены выбросить 8 миллионов тетрадей («Правда», 1936, 12 декабря).

Из 150 стульев, проданных кооперативной артелью мебельщиков, 46 ломаются при первой попытке на них сесть. Из 2345 поставленных в торгозлю стульев 1300 нельзя использовать («Правда», 23 сентября

1936 г.). То же самое с хирургическим инструментом. Известный в СССР хирург профессор Бурденко особенно жалуется на низкое качество инструмента для тонких операций. Сшивные иглы, например, во время операции гнутся или ломаются («Правда», 15 ноября 1936 г.) и т. д.

Эти данные, наряду с многими другими, должны были бы заставить задуматься аплодисментщиков. Но пропаганда не желает с ними считаться.

Заметим, однако, что брак и задержки являются нередко причиной рекламаций и даже судебных процессов, заканчивающихся суровыми санкциями. И если газеты сообщают о них, то в надежде на улучшение.

Самокритика, которой так не хватает, когда речь идет о принципах и теории, бьет через край, когда речь идет о выполнении принятых планов. Из «Известий» (от 3 июня 1936 г.) мы узнаем, что в ряде районов Москвы одна аптека на 65 тысяч жителей, в других — одна на 79 тысяч и что во всем городе их всего 102.

В «Известиях» от 15 января 1937 года читаем:

«После вступления в силу Указа о запрещении абортов количество новорожденных в Москве достигло 10 тысяч в месяц, т. е. увеличилось на 65 процентов сравнительно с предшествующим периодом. В то же время количество коек в родильных домах увеличилось только на 13 процентов».

Детские сады и ясли часто прекрасные. Но, согласно данным Уолтера Ситрайна *, в 1932 году в них мог быть помещен только один ребенок из восьми. В соответствии с новыми планами, если удастся их осуществить, пропорция эта увеличится вдвое, то есть можно будет поместить два ребенка из восьми. Этого недостаточно, но все же намечается некоторое улучшение. Однако я сильно опасаюсь, как бы не ухудшилась ситуация с жильем для рабочих. Планы строительства не в состоянии удовлетворить потребности, если иметь в виду увеличение населения. Там, где в одну комнату вселяют трех человек, могут вселить и четверых или даже пятерых. Добавим, что многие

* *Sir Walter Citrine*. I search for Truth in URSS. P. 296.

недавно сданные дома для рабочих построены наспех или, точнее сказать, так небрежно, из таких плохих материалов, что скоро их надо будет ремонтировать.

Вопрос о жилье — один из тех, которые более всего интересуют Уолтера Ситрайна. Вот что он говорит, посетив в окрестностях Баку (несмотря на усилия официальных сопровождающих помешать этому) жилища рабочих-нефтяников: «Здесь, пожалуй, самые неблагоустроенные, самые непригодные жилища, какие я видел в этой стране. Выглядит все это ужасно». И напрасно гид пытался его убедить, что это — «наследие прошлого». Ситрайн вынужден был возразить ему: «Нынче не миллионеры эксплуатируют нефтяные скважины. Спустя восемнадцать лет после революции вы допускаете, чтобы ваши рабочие жили в таких убогих условиях. Страшно подумать, что сотни тысяч рабочих прозябают в подобных лачугах на протяжении восемнадцати лет».

Ивон в своей брошюре «Во что превратилась русская революция» приводит другие примеры ужасающей нищеты и добавляет: «Причина жилищного кризиса заключается в том, что революция гораздо больше заботилась о том, чтобы «перегнать капитализм» в строительстве гигантских заводов и организовать людей для выпуска продукции, нежели о их благосостоянии. Со стороны это может казаться грандиозным... вблизи же все это производит жалкое впечатление».

III

Один из самых серьезных упреков по поводу моего «Возвращения из СССР» состоял в том, что будто я придаю чрезмерную важность интеллектуальным вопросам,— они не должны выдвигаться на передний план, пока не решены другие, более неотложные проблемы. Это вызвано тем, что я посчитал необходимым воспроизвести некоторые свои речи *, которые я там произнес и по поводу которых возникли споры. В такой небольшой книжке эти речи заняли слишком много места и оказались чуть ли не в центре внимания читателей. Кроме того, они относятся к началу моего

* «Речь о Максиме Горьком», «Речь перед московскими студентами», «Речь перед ленинградскими писателями».

путешествия, когда я еще верил (да, я был столь наивен), что в СССР можно искренне спорить и серьезно говорить о культуре, когда я еще не знал о степени социальной отсталости и застоя в стране.

Но все-таки я протестую, когда во всем, что я говорил, видят только претензии литератора. Когда я говорил о свободе духа, речь шла совсем о других вещах. Наука в равной степени компрометирует себя услужливостью. Известный ученый принужден отрицать теорию, приверженцем которой он был и которая оказалась неортодоксальной. Академик клеймит себя за свои «прошлые ошибки», которые, как он сам публично заявил, «могли быть использованы фашистами» («Известия», 28 декабря 1936 г.). Его заставляют признать обвинения, выдвинутые по приказу «Известиями», поднаторевшими в поисках позорных симптомов «контрреволюционной горячки».

Эйзенштейн вынужден прервать работу. Он должен признать свои «ошибки», заявить, что он ошибался и что новый фильм, над которым он работал и который уже обошелся в два миллиона, не отвечает требованиям доктрины, на основании чего он и был справедливо запрещен.

А правосудие! Уж не думают ли, что последние процессы в Москве и в Новосибирске заставят меня сожалеть о сказанной мной фразе, которая вас возмущает: «Не думаю, чтобы в какой-либо другой стране, хотя бы и в гитлеровской Германии, сознание было бы так несвободно, было бы более угнетено, более запугано (терроризировано), более порабощено».

Тогда — поскольку не хочется признать поражение — цепляются за «достигнутые результаты»: нет безработицы, нет проституции, женщина имеет равные права с мужчиной, обеспечено человеческое достоинство, всеобщее образование... Но при ближайшем рассмотрении эти результаты не столь прекрасны.

Я остановлюсь детально только на проблеме образования. Других проблем я буду касаться попутно.

Это правда: в СССР путешественник встречает много молодых людей, обуреваемых жаждой знаний, стремящихся к культуре. Нет ничего более трогательного, чем это стремление. И со всех сторон нас зас-

тавляют восхищаться средствами, предоставленными в их распоряжение. От всего сердца мы приветствуем указ правительства от февраля 1936 года, которым предусматривается «полная ликвидация неграмотности в течение 1936—1937 годов четырех миллионов рабочих, не умеющих читать и писать, и двух миллионов, умеющих читать и писать с трудом». Но...

Вопрос о «ликвидации неграмотности» стоял еще в 1923 году. «Историческое» (как говорилось) завершение этой ликвидации должно было совпасть с празднованием десятой годовщины Октябрьской революции (1927 г.). А в 1927 году Луначарский говорил уже о «катастрофе»: смогли создать менее 50 тысяч начальных школ, в то время как до революции на значительно меньшее количество жителей их приходилось 62 тысячи.

И в итоге — поскольку нас постоянно заставляют сравнивать нынешнее положение в СССР с дореволюционным — мы вынуждены констатировать: во многих областях положение угнетенного класса не улучшилось. Но вернемся к школьному вопросу.

Луначарский (в 1924 г.) пишет, что зарплата сельским учителям выплачивается с опозданием в полгода, а иногда не выплачивается вовсе. Зарплата эта составляет иногда меньше 10 рублей в месяц (!). Правда, рубль в то время стоил дороже. Но, как говорит Крупская, вдова Ленина: «Хлеб подорожал, и на 10—12 рублей месячного жалованья учитель может купить хлеба меньше, чем раньше он мог купить на 4 рубля (зарплата учителя до ноября 1923 года)».

И в 1927 году, в том самом, когда ее собирались одолеть, неграмотность продолжает существовать, 2 сентября 1928 года «Правда» пишет о ее «стабилизации».

Удалось ли с тех пор добиться какого-нибудь успеха?

В «Известиях» от 16 ноября 1936 года читаем: «С первых дней нового учебного года из многих школ к нам поступают сведения о поразительной неграмотности учеников».

Неспособных учеников особенно много в «новых» школах, до 75 процентов (по сообщению тех же «Известий»). В Москве 64 тысячи учащихся обязаны

пройти повторное обучение, в Ленинграде — 52 тысячи и 1500 учащихся оставлены на третий год. В Баку количество русских учащихся, не справляющихся с программой, возросло с 20 до 45 тысяч, национальных учащихся — с 7 до 21 тысячи («Бакинский рабочий» от 15 января 1937 г.). Кроме того, большое количество учащихся бросает школу. За три последних года по РСФСР таких «сбежавших» насчитывается 80 тысяч. Кабардино-Балкарский институт бросили 24 процента от общего состава, Чувашский педагогический институт — 30 процентов. Газета добавляет: «Студенты педагогических институтов обнаруживают удручающую безграмотность».

При всем том, что институты РСФСР набирают только 54 процента от требуемого количества, Белоруссии — 42, Таджикистана — 48, Азербайджана — от 40 до 64 процентов и т. д.

«Правда» от 26 декабря 1936 года сообщает, что в Горьковской области 5 тысяч детей не посещают школу. Кроме того, 5984 ученика покинули школу после первого класса, 2362 — после второго и 3012 — после третьего. Те, кто выдерживают, наверное, становятся асами.

Чтобы предотвратить бегство, один директор рабочих курсов предложил штрафовать беглецов на 400 рублей! («Правда Востока» от 23 сентября). Не сказано, нужно ли платить всю сумму сразу,— это было бы весьма трудно при месячной зарплате родителей (а штраф платить именно им) в 100—150 рублей.

Школа испытывает большую нужду в учебниках. Те же, которые имеются, изобилуют ошибками. «Правда» от 11 января 1937 года возмущается тем, что государственные издательства Москвы и Ленинграда выпускают учебники, которыми нельзя пользоваться. Педагогическое издательство напечатало карту Европы, на которой Ирландия омывается Аральским морем, а Шотландские острова перенесены на Каспий. Саратов с берегов Волги переместился на побережье Северного моря и т. д.

На обложках школьных тетрадей печатается таблица умножения. Из нее узнаем, что $8 \times 3 = 18$; $7 \times 6 = 72$; $8 \times 6 = 78$; $5 \times 9 = 43$ и т. д. («Правда» от 17 сентября 1936 г.). Понятно, почему бухгалтеры в СССР не расстаются со счетами.

В то время как разрекламированная кампания по ликвидации неграмотности еще не завершена, несчастные учителя часто не могут получить свое скудное жалованье и, чтобы прожить, вынуждены подрабатывать. «Известия» от 1 марта задержку жалованья учителям объясняют или бюрократическими проволочками, или использованием средств не по назначению, в результате чего долг государства учителям составляет полмиллиона только по Куйбышевской области. В Харьковской области он достигает 724 тысяч рублей и т. д. Невольно возникает вопрос: как учителя еще до сих пор живы и прежде, чем будет ликвидирована неграмотность, не будем ли мы свидетелями ликвидации учителей *.

Я не хочу никого вводить в заблуждение — эти ужасные цифры я выписываю с сожалением. Можно только скорбеть по поводу столь плачевного положения. Но я протестую, когда вы по своей слепоте или умышленно пытаетесь представить эти жалкие результаты достойными восхищения.

IV

Именно это пускание пыли в глаза так глубоко и болезненно омрачило мою радость, доверие и восхищение. Я упрекаю СССР не в том, что он не достиг большего. Мне объясняют теперь, что он не мог так скоро достичь большего и что я должен был бы это понять; предлагают учесть тот факт, что он начинал с крайне низкого уровня, который трудно даже себе представить, и что нынешняя нищета рабочих казалась бы до революции желанным достатком

* «Правда Востока» (от 20 декабря 1936 г.) с сожалением отмечает, что план ликвидации неграмотности не привел к ожидаемым результатам. Из 700 тысяч частично или полностью неграмотных соглашаются учиться только 30 или 40 процентов, а это означает, что стоимость обучения одного человека достигает 800 рублей вместо предполагавшихся 25. В одном из городов (Коканде), где рассчитывали совершенно покончить с неграмотностью до конца 1936 года, в мае было 8023 неграмотных, в августе — 9567, в сентябре — 11 014 и 1 октября — 11 645 человек. (Надо полагать, что население города увеличивается за счет миграции из деревень, не думать же, что грамотные разучиваются.) В большом городе Ташкенте насчитывается примерно 60 тысяч неграмотных. Но из 757 записавшихся только 60 челоаек посещают занятия. Именно ими и восхищаются путешественники.

для угнетенных. Я, впрочем, думаю, что это все же преувеличение. Нет. Я упрекаю СССР в том, что он нас обманывает, выдавая положение своих рабочих за образец для всех. И я упрекаю наших коммунистов (разумеется, я не говорю об обманутых товарищах, а о тех, которые все знали или по крайней мере должны были бы знать) в том, что они лгали рабочим — бессознательно или умышленно (в последнем случае по политическим соображениям).

Советский рабочий привязан к заводу, а сельский житель — к колхозу или совхозу, как Иксион к своему колесу. И если он задумает искать лучшую долю, например, в другом месте — пусть поостережется: учтенный, сгруппированный, бесправный, он рискует нигде не найти пристанища. Даже если он захочет поменять завод в пределах города, он лишается жилья (не бесплатного, впрочем), доставшегося с таким трудом и право на которое ему дает работа. При увольнении рабочий теряет значительную часть заработка, колхозник — долю вознаграждения за свой труд в коллективе. С другой стороны, если рабочему предложат сменить работу или местожительство, он не может не подчиниться. Он не свободен в выборе места, не может ни уехать, ни оставаться там, где ему нравится, где его удерживает любовь или дружеские привязанности *.

Если он беспартийный, партийные товарищи переступят через него. Вступить в партию, быть принятым в нее (что нелегко и кроме специальных знаний требует крайней ортодоксальности и ловкого приспособленчества) — первое и необходимое условие для *успеха*.

Вступив в партию, выйти из нее уже невозможно **, не лишившись своего положения, места и всех приви-

---

* «Так же как в экономическом производстве государство полновластно распоряжается материальными ресурсами, так же оно распоряжается и людьми. Трудящиеся не вправе распорядиться собственной рабочей силой по своему усмотрению — продать ее там, где они хотят, как они хотят. У них нет права свободного перемещения на территории СССР (внутренние паспорта!). Право на забастовку запрещено, и любая слабая попытка сопротивления стахановским методам сурово наказывается» (*Lucien Laurat*. Coup d'oeil sur l'économie russe. In: L'homme réel. № 38. Février 1937).

** И напротив, очень часто можно быть исключенным из партии в результате *«чистки»*. И тогда — Сибирь.

легий, достигнутых прежним трудом, не испытав всеобщей подозрительности, не подвергшись репрессиям, наконец. Да и зачем выходить из партии, где можно чувствовать себя так хорошо? Кто вам предоставит еще такие же привилегии! И ничего не требуя взамен — только соглашаться на все и ни о чем не задумываться. Да и зачем задумываться, когда решено, что все идет так хорошо. Задумался — значит, «контрреволюционер». Значит, созрел для Сибири *.

Отличный способ продвижения — это донос. Это обеспечивает вам хорошие отношения с полицией, которая тотчас начинает вам покровительствовать, одновременно используя вас. Потому что для человека, однажды вступившего на этот путь, ни честь, ни дружба не имеют значения: надо продолжать. Впрочем, вступить нетрудно. И доносчик в безопасности.

Когда партийная газета во Франции хочет когонибудь дискредитировать по политическим соображениям, подобную грязную работу она поручает врагу этого человека. В СССР — самому близкому другу. И не просят — требуют. Лучший разнос — тот, который подкреплен предательством. Важно, чтобы друг отмежевался от человека, которого собираются погубить, и чтобы он представил доказательства. (Против Зиновьева, Каменева и Смирнова натравили их бывших друзей — Радека и Пятакова. Важно было их обесчестить сначала, прежде чем потом тоже расстрелять.) Не совершить подлости и предательства — значит погибнуть самому вместе со спасаемым другом.

Результат — тотальная подозрительность. Невинный детский лепет может вас погубить, в присутствии детей становятся опасными разговоры. Каждый следит за другими, за собой и подвергается слежке. Никакой непринужденности, свободного разговора — разве что в постели с собственной женой, если вы в ней уверены. X. шутил, что этим можно объяснить

* Как отлично говорит Ивон: «Вступить в партию — это значит одновременно служить власти, стране и собственным интересам». Совершенная гармония, от которой зависит личное счастье.

увеличение числа браков. Внебрачные отношения не обеспечивают такой безопасности. Подумайте только: людей арестовывают за разговоры десятилетней давности! И естественной становится потребность найти дома успокоение от этого ежедневного непрерывного гнета.

Лучший способ уберечься от доноса — донести самому. Впрочем, люди, ставшие свидетелями крамольных разговоров и не донесшие, подвергаются высылке и тюремному заключению. Доносительство возведено в ранг гражданской добродетели. К нему приобщаются с самого раннего возраста, ребенок, который «сообщает», поощряется. Чтобы быть допущенным в Болшево — этот образцово-показательный рай,— недостаточно быть раскаявшимся бандитом, для этого надо еще «выдать» сообщников. Вознаграждение за донос — одно из средств ведения следствия в ГПУ.

С момента убийства Кирова полиция еще теснее сомкнула свои ряды. Прошение, переданное молодыми людьми Эмилю Верхарну во время его путешествия в Россию еще до войны, которым восхищался Вильдрак и о котором он так замечательно рассказал, нынче было бы уже совершенно невозможным. Так же как и революционная деятельность (контрреволюционная, если хотите) Матери и ее сына (из очень хорошей книги Горького): там, где были раньше взаимопомощь, поддержка, согласие, теперь только донос и слежка.

На социальной лестнице, сверху донизу реформированной, в самом лучшем положении наиболее низкие, раболепные, подлые. Те же, кто чуть-чуть приподнимается над общим уровнем, один за другим устраняются или высылаются. Может быть, Красная Армия * остается в несколько более безопасном поло-

* В Севастополе я видел много моряков — офицеров и простых матросов. Отношения офицеров между собой и с людьми казались мне такими сердечными и братскими, что я не мог не растрогаться. В газетах промелькнула заметка: будто в большом московском ресторане я видел, как по прибытии группы офицеров присутствующие встали по стойке «смирно». Абсурдный вымысел, который я даже не посчитал нужным опровергать.

жении? Будем надеяться. Иначе вскоре от этого прекрасного героического народа, столь достойного любви, никого больше не останется, кроме спекулянтов, палачей и жертв.

Советский рабочий превратился в загнанное существо, лишенное человеческих условий существования, затравленное, угнетенное, лишенное права на протест и даже на жалобу, высказанную вслух; удивительно ли, что этот рабочий снова обращается к Богу и ищет утешения в молитве. На что человеческое может он еще рассчитывать?..

Когда мы читаем, что во время рождественского богослужения церкви были переполнены, в этом нет ничего удивительного. «Опиум» обездоленным.

Я только что заметил в углу клетки, в которой вот уже три месяца выхаживаю упавшую из гнезда горлицу, два проросших зерна. Они оказались рядом с поилкой, из которой вода иногда проливается через край. Этой влажности хватило зернам, запавшим в узкую щель между настилом и стенкой клетки. Они вдруг (то есть я заметил вдруг) выбросили бледно-зеленые стебельки высотой четыре-пять сантиметров. И это, впрочем, совершенно естественное явление так меня изумило, что вот уже долгое время я ни о чем другом не могу думать. Верно: зерна считают, взвешивают, они легко перекатываются, как маленькие, твердые, почти круглые шарики, которые могут по желанию и кувыркаться. И вдруг одно из этих зерен доказывает вам, что оно может быть живым. К великому изумлению склонившегося над клеткой хозяина, которому это уже не приходило в голову.

Некоторым теоретикам марксизма *, как мне кажется, не хватает именно этого человеческого тепла, необходимого для того, чтобы «прорастали зерна». Конечно, дело тут не в чувствах: не приходится рассчитывать на сострадание там, где справедливость должна обеспечиваться законом. Проявлять жалость,

* В целом деятельность Маркса и Энгельса продиктована исключительным состраданием, но еще в большей степени — необходимостью справедливости.

проливать слезы по поводу бедственного положения человека — в этом нет реальной помощи, положение человека от этого не изменится. (Важно к тому же держать порох сухим, в нем еще нуждается революция.)

Можно сказать: сердце, в котором нет нужды, «отмирает»*. Отсюда и некоторая жестокость, легко возникающая сама собой,— обнищание личности в ожидании всеобщего благоденствия. Эти соображения увели бы меня слишком далеко, я их оставляю...

V

Фернан Гренье с одобрением цитирует фразу из моего «Возвращения из СССР»: «По крайней мере, остается бесспорным: в СССР нет больше эксплуатации ради чьей бы то ни было выгоды. Это замечательно». И Гренье добавляет: «Это замечательно, товарищи» — под аплодисменты аудитории.

Действительно, это замечательно. Было замечательно. Теперь это уже не так. И я настаиваю на этом, потому что это — самое важное. Ивон говорит об этом очень точно: «Гибель капитализма не приносит обязательно рабочему освобождение». Хорошо, что французский пролетариат понимает это. Или, точнее, было бы хорошо, если бы он это понял. Что касается советского пролетария, то он начинает утрачивать иллюзию, будто работает на самого себя и утверждает собственное свое достоинство. Разумеется, там нет больше эксплуатирующих его труд капиталистических акционеров. И тем не менее его эксплуатируют, и таким ловким, изощренным, скрытым способом, что он не знает, за кого браться. Это за счет его низкой заработной платы непомерно раздута зарплата других.

Он не пользуется плодами своего труда, своего «прибавочного труда», этим пользуются привилегированные, те, кто «на хорошем счету», сытые, приспособленцы. От его нищенской зарплаты урывают, чтобы

* Заимствую это слово из марксистского лексикона, как и Ленин, писавший в своей работе «Государство и революция»: «Выражение «государство отмирает» — очень удачно, потому что оно подчеркивает одновременно и продолжительность процесса и его непрерывность» (Собр. соч. Т. XXI. С. 515).

платить зарплату в десять и более тысяч рублей привилегированным.

Для большей точности привожу выразительную таблицу, составленную М. Ивоном *.

	повышенная зарплата	обычная зарплата
Рабочий	70—400 руб.	125—200 руб.
Мелкий служащий	80—250 руб.	130—180 руб.
Домработница	50—60 руб. плюс питание и жилье	
Служащие и техники	300—800 руб.	
Ответственные работники и специалисты, функционеры, ученые, артисты, писатели	1500—10 000 и более. Говорят, бывает даже зарплата в 20—30 тысяч рублей.	

Сравнительная таблица пенсионного обеспечения не менее выразительна. Пенсия рабочего — от 25 до 80 рублей в месяц и никаких льгот. Пенсия вдовы функционера или специалиста высокого ранга — от 250 до 1000 рублей в месяц плюс дача или квартира пожизненно, стипендия для детей, а иногда даже для внуков.

Далее следуют вычеты из зарплаты (зарплата ниже 150 рублей в месяц частично освобождается от налога) — от 15 до 21 процента. Я не могу привести здесь всю главу, но брошюра стоит того, чтобы ее прочитать полностью.

Пять рублей в день, иногда даже меньше. Позволю себе сравнить с заработной платой у нас и даже с пособием по безработице. Хлеб, правда, стоит дешевле, чем во Франции (килограмм ржаного хлеба в 1936 году — 85 коп., белого — 1 руб. 70 коп.), но одежда, самая обычная, товары первой необходимости — за пределами возможного. Покупательная способность рубля была несколько меньшей нашего франка до его «выравнивания» **. И пусть не говорят

* M. Ivon: C'est qu'est devenue la Révolution russe.

** В 1936 году на месячную зарплату можно было купить 225 килограммов хлеба. В 1914 году на 30 рублей, которые зарабатывал средний рабочий в месяц, можно было купить 600 килограммов этого же хлеба.

о дополнительных возможностях, которые имеет рабочий помимо зарплаты, они чаще всего для тех, у кого она большая.

Возникает вопрос: почему так высоки цены на промышленную продукцию и даже на продовольствие (молоко, масло, яйца, мясо и т. д.), если само государство — производитель? Но до тех пор, пока будет нехватка товаров, пока спрос будет катастрофически превышать предложение, неплохо этот спрос немного сдерживать. Товары будут предлагаться тем, кто в состоянии платить за них высокую цену. Большинство же будет страдать от нехватки.

Это большинство может не одобрить режима и, следовательно, лишить его возможности высказаться *.

Когда Жан Понс приходит в восторг от постоянного увеличения средней заработной платы **:

в 1934 году	180 (в среднем)
в 1935 году	200 (в среднем)
в 1936 году	360 (в среднем),

хочу обратить его внимание на то, что низкая заработная плата простого рабочего остается на том же уровне и «в среднем» означает увеличение жалованья большинству привилегированных.

Увеличение заработной платы не поспевает за ростом стоимости жизни и потерей покупательной способности рубля ***.

* Отсюда недавние ужасающие репрессии. Сталин, впрочем, сам говорил несколько лет назад: «Из двух одно: или мы откажемся от оптимизма и бюрократических методов и позволим рабочим и беспартийным крестьянам, страдающим от наших ошибок, критиковать себя, или недовольство будет накапливаться, и мы столкнемся с критикой в форме бунта» (выдержка из речи Сталина.— *B. Souvarine*. Staline. P. 350).

** Фридман пытается рассматривать стахановское движение как один из хитроумных способов повышения жалованья. Боюсь, что в нем следует видеть способ добиться наибольшей производительности среднего рабочего.

*** Из официальной статистики видно, что в целом зарплата рабочих тяжелой промышленности с 1923 по 1925 год возросла на 52 процента. Но за то же время жалованье функционеров возросло на 94,8 процента, работников торговли — на 103,3 процента. Впрочем, в результате падения покупательной способности рубля увеличение заработной платы нисколько не улучшило благосостояние работников.

И происходит парадоксальная вещь: пять рублей в день за труд, а иногда даже и того меньше, этот минимум и доводит до крайней нищеты большинство трудящихся и вместе с тем гарантирует чудовищную зарплату * привилегированным и позволяет расточать средства на массированную пропаганду, которая должна убедить наших рабочих в том, что русские рабочие счастливы. Мы бы предпочли знать об этом немного меньше, но пусть бы они были счастливы немного больше.

VI

Как замечательно чувствовать себя свободным от эксплуатации! Но понимать, что эксплуатация продолжается, и не знать, кто эксплуататор, не знать, от кого надо избавляться...

Думаю, что прав был Селин, осознавший эту трагедию.

«Опять мы пришли к тому же! Смех! Нечего и высовываться! Опять «угнетенные»! Проклятия судьбы можно списывать на кровопийц! На раковую опухоль «эксплуатации»! И вести себя, как последняя сволочь,— ничего не видел, ничего не знаю!.. А если нет больше права изменить положение? Жаловаться? Жизнь становится невыносимой!»

---

* Вопрос не о том, чтобы рабочий пользовался всеми результатами своего труда. Этого не имели в виду ни Маркс, ни Энгельс.

«Прибавочный труд», порождающий классовый антагонизм при капитализме и благодаря которому возможна праздность меньшинства, этот прибавочный труд, говорит Маркс, не может быть исключен. (Тем самым Маркс указывает на то, что рабочий не может рассчитывать на личную выгоду от всей совокупности своего труда.) «Некоторая часть прибавочного труда,— говорит он,— требуется для страхования от несчастного случая, для... и т. д.». Перечисление заведомо неполное. Сюда нужно отнести некоторое накопление, необходимое не только для содержания техники, но и для «создания условий для дальнейшего развития прогресса». Добавим, кроме того, что несоциалистическое окружение требует (следствие победы социализма «в одной стране») расходов на содержание Красной Армии. Тут Маркс, я думаю, поддержал бы. Но он счел бы невозможной выплату непомерно большой зарплаты одним за счет добавочного труда других, представляющих большинство. Ибо все это способствует созданию привилегированного класса, а отнюдь не «сокращению затрат времени на материальное производство».

Сегодня утром (8 февраля 1937 г.) Х. показал мне вчерашнюю газету «Temps»: «За время двух пятилеток бюджет Украины увеличился более чем в семь раз» *. Большая часть расходов нового бюджета предназначена для удовлетворения социальных и культурных нужд, включая 2564 миллиона на нужды народного образования и 1227 миллионов на развитие здравоохранения». «Ну, что вы на это скажете?»

Открываю книжку Луи Фишера — весьма доброжелательную по отношению к СССР — на странице 196 и зачитываю в ответ Х.: «У меня такое впечатление, что царствующий пролетариат под натиском конкурентов сдает позиции: из 16 строящихся санаториев в Кисловодске (крупнейший бальнеологический курорт в мире) почти все возводятся правительственными учреждениями, такими, как Государственный банк, Комиссариат тяжелой промышленности, Комиссариат связи, газета «Правда» и т. д. Во всех этих учреждениях есть тоже и рабочие, но я думаю, что служащим путевки гораздо доступнее, чем рабочим» **.

Замечательны рассуждения Луи Фишера о «бездействии профсоюзов». Его послушать, так будто только профсоюзы могут помешать «правительственным чиновникам и другим группам стратегического направления» получать лучшие квартиры, больше, чем им положено, путевок в санатории и т. д. Нет, нет, профсоюзы бессильны там, где власть принадлежит бюрократии. Нам говорят: диктатура пролетариата. Мы все больше и больше разубеждаемся в этом. Все больше и больше утверждается диктатура бюрократии над пролетариатом ***. Потому что пролетариат уже не имеет возможности выбирать своего представителя, который защищал бы его ущемленные интере-

* Что ни в коей мере не повлияло на увеличение зарплаты низкооплачиваемым рабочим. «Накопление бюджета» по-прежнему совершается за их счет.

** Книга Луи Фишера об СССР очень интересная. Чрезвычайно доброжелательная по отношению к СССР, она почти не содержит критики, хотя для тех, кто умеет читать, она есть. Замечательное описание кавказских республик заставляет предполагать, что кое-какие ветви советского дерева продолжают оставаться зелеными. Гниет сам ствол.

*** В сущности, профсоюзы, так же как и Советы, прекратили существование (в 1924 г.). Рабочие не ждали ни помощи, ни защиты от этого дорогостоящего руководства, находящегося в руках «аппарата» из 25 000 служащих, непосредственно подчиненного Политбюро (*B. Souvarine.* Staline. P. 347).

сы. Народные выборы — открытым или тайным голосованием — только видимость, профанация: все решается наверху. Народ имеет право выбирать лишь тех кандидатов, которые утверждены заранее. С кляпом во рту, угнетенный со всех сторон, народ почти лишен возможности к сопротивлению. Увы, игра велась по всем правилам и уже выиграна Сталиным — под громкие аплодисменты коммунистов всего мира, которые еще продолжают верить и будут верить еще долго, что они, по крайней мере в Советском Союзе, одержали победу, будут считать врагами и предателями всех, кто не аплодирует.

Бюрократия, значительно усилившаяся к концу нэпа, вмешивается в дела колхозов и совхозов. «Правда» от 16 сентября 1936 года на основании работы комиссии констатирует, что более 14 процентов рабочих и служащих МТС — не нужны *.

Есть мнение, что жертвой этой бюрократии, созданной сначала для управления, а потом и для угнетения, стал сам Сталин. Нет ничего более трудного, чем лишить синекуры бездарных бездельников. Уже в 1929 году Орджоникидзе ужасало это «громадное количество дармоедов», которые ничего не хотят знать о настоящем социализме и работают только для того, чтобы помешать его развитию и успеху. «Людей, с которыми не знают, что делать, и которые никому не нужны, назначают в ревизионные комиссии»,— говорил он. Но чем никчемнее эти люди, тем более Сталин может рассчитывать на их рабскую преданность, потому что привилегированное положение — им как подарок. Само собой разумеется, что именно они горячо одобряют режим. Служа интересам Сталина, они одновременно служат своим собственным интересам.

Для того чтобы служащие не превращались в бюрократов, Ленин считал необходимым соблюдать три условия:

1. Сменяемость и выборность в любое время; 2. Зарплата, равная средней зарплате рабочего;

* Содержание бюрократии поглощало 8,5 процента национального дохода страны перед первой мировой войной, 10 — в 1927 году. Последних сведений у меня нет.

3. Контроль всех над всеми таким образом, чтобы все временно могли становиться служащими и никто не мог превратиться в бюрократа.

Из этих трех условий ни одно не выполнено.

По возвращении из СССР перечитываешь книгу Ленина «Государство и революция» с болью в сердце. Потому что ныне СССР еще дальше, чем ранее,— не скажу: от обещанного коммунистического общества — но даже от той переходной стадии, которая позволила бы его достигнуть.

В этой же книге Ленина читаем еще: «У Каутского выходит так: раз останутся выборные должностные лица, значит, останутся и чиновники при социализме, останется бюрократия! Именно это-то и неверно. Именно на примере Коммуны Маркс показал, что при социализме должностные лица перестают быть «бюрократами», быть «чиновниками», перестают по мере введения *кроме выборности еще сменяемости в любое время, да еще сведения платы к среднему рабочему уровню,* да еще замены парламентарных учреждений «работающими», т. е. издающими законы и проводящими их в жизнь» *.

И напрашивается вопрос: кто прав теперь? И которого из двух — Каутского или Ленина — посадил бы нынче в тюрьму или расстрелял Сталин.

VII

В новой Конституции заметны попытки учесть возможную критику, заранее ответить на те возражения, которые могут быть вызваны ее содержанием. Руководители отлично знают, что народ машиной не управляет, между народом и теми, кто назначен его представлять, реального контакта нет. Но декларируется совсем иначе. Поэтому крайне важно создать впечатление, что никогда эта связь не была более тесной, чем теперь, что «усиливается контроль масс над советскими органами и увеличивается ответственность

* «Первый этап пролетарской революции — это превращение пролетариата в господствующий класс, победа демократии»,— говорили Маркс и Энгельс в своем знаменитом Манифесте. «Победа демократии» — да, но демократия не победила, она побеждена.

советских органов перед массами», как пишет «Юманите» от 13 марта. Газета добавляет: «Новая выборная система упрочит связь между избранниками народа и массами избирателей». Отлично! Тем более что в этой же статье вскрывается и подоплека — речь идет о том, чтобы «руководить выборами», «критиковать недостойных кандидатов и противостоять им еще до того, как они потерпят провал в результате тайного голосования». Достойно восхищения это предвидение. Подумайте только — было бы очень досадно повторить ошибку, совершенную 19 октября 1934 года, когда (на республиканском пленуме в Киеве) народ избрал «людей, которые были разоблачены впоследствии как враги народа». Поэтому срочно следует еще до выборов «избавиться от всего, что мешает формированию партийного актива». И только после этого выборы могут быть «свободными».

В связи с этим боюсь, как бы не получил нахлобучку редактор одной газеты, сторонник новой конституции и энтузиаст сталинского СССР,— чтобы не повредить ему, не стану называть его имени,— который, наряду с общей похвалой, осмеливается высказать скромное замечание (27 февраля 1937 г.): «Мы опасаемся того, что при нынешнем положении дел государственные органы не только не сливаются с массами, как это было в системе Советов, а, напротив, имеют тенденцию отделяться от них.

— Почему?

— От разобщенности избирателей между собой; от разобщенности между избирателями и их депутатом».

И неосторожный критик напоминает, что «последние статистические данные показывают: один гражданин из шестидесяти избирался депутатом в какой-нибудь совет» и «этот совет, каким бы он ни был, был все же кирпичом в общем здании, оказывал свое влияние на общегосударственную политику». А это уже было лишним. И здесь тоже надо было навести порядок: «низовая политическая ячейка больше не существует» *.

* Я совсем не верю в непогрешимую мудрость большинства. Но речь идет не об этом. Речь идет о том, чтобы это большинство, если оно страдает, могло быть услышано, чтобы представляющий его депутат был выслушан.

Поэтому мы всецело разделяем мнение Уолтера Ситрайна о том, что «СССР, так же как и другие страны под диктаторским режимом, управляется небольшой группой людей и что народные массы не принимают никакого участия в управлении страной*, или, во всяком случае, это участие очень незначительно».

Но всегда в конце концов расплачивается народ, в чем бы это ни выражалось. Так или иначе — в результате ли вывоза продовольствия, несмотря на народные нужды, или из-за чудовищного несоответствия между себестоимостью и потребительской стоимостью сельскохозяйственных продуктов, или налоговых поборов — происходит ущемление интересов рабочего и крестьянина, это за счет их фондов потребления создаются накопления, в которых постоянно нуждается государство. Так было во время первой пятилетки, такое положение и сейчас. Когда эти национальные накопления, необходимые для существования государства, расходуются на практические, текущие, благотворительные нужды — это можно понять. Больницы, дома отдыха, культурные учреждения и т. д.— можно поверить, что все это для народа, или, во всяком случае, надеяться, что народ всем этим воспользуется. Но что прикажете думать, когда при такой нищете собираются вложить национальные средства в строительство Дворца Советов (покойных Советов), к вящему удовольствию товарища Жана Понса. Подумать только! Сооружение высотой в 415 метров («жители Нью-Йорка,— сообщает он,— побледнеют от зависти»), увенчанное 70—80-метровой скульптурой Ленина из нержавеющей стали, один палец его будет длиной в 10 метров **. Вот это да! Рабочий будет знать, по крайней мере, ради чего он умирает с голоду. Он может даже подумать: стоит того. Нет хлеба, но будет зато чем гордиться. (Впрочем, возгордятся, скорее всего, как раз другие.) И что самое замечательное — заставят проголосовать за этот дворец, вы увидите, да еще единогласно! У него — у русского народа — спросят,

* Ситрайн пишет: «До сих пор». Но то, что он говорил в 1935 году, он мог бы это повторить и сейчас, и даже — после обнародования новой Конституции — с большей уверенностью.

** Мы не можем себе позволить — ни здесь, ни в другом месте — усомниться в цифрах, которые приводит Жан Понс. Однако десятиметровый палец при общей высоте в 70—80 метров?.. Будем надеяться, по крайней мере, что Ленин сидит.

чего он хочет в первую очередь: благосостояния или дворец? И не найдется ни одного, который бы не сказал, не посчитал бы себя обязанным сказать: сначала дворец.

«Всякий раз, когда я вижу, как возводят в столице дворец, я думаю о том, что целую область обрекают тем самым на жизнь в лачугах»,— писал Жан-Жак («Общественный договор», III, 13). Советские рабочие — «в лачугах»? Увы, по воле Сталина их загнали в трущобы.

Всего этого я не знал, когда был в СССР, так же как, путешествуя по Конго, не знал о действующих там концессионных компаниях.

И в том и в другом случае я только отмечал разрушительные явления — следствия неведомых мне причин. Я просветился уже после того, как была написана книга об СССР. Ситрайн, Троцкий, Мерсье, Ивон, Виктор Серж, Легей, Рудольф и многие другие снабдили меня документами. То, что я в них нашел и о чем только смутно догадывался, подтвердило и усилило мои выводы. Пришло время для коммунистической партии Франции открыть глаза, чтобы перестали ей лгать. Или, если сказать по-другому, чтобы трудящиеся поняли, что коммунисты их обманывают так же, как их самих обманывает Москва.

VIII

За последние три года я достаточно начитался марксистской литературы, чтобы чувствовать себя неуютно в СССР. С другой стороны, я немало прочитал и восторженных воспоминаний о путешествиях. Я виноват в том, что слишком доверчиво отнесся к похвалам и энтузиазму. А то, что могло бы меня заставить задуматься, высказывалось в злопыхательском тоне. Я охотнее верю любви, чем ненависти. Да, я отнесся ко всему доверчиво, всему поверил. И более всего смущали меня не недостатки, а обнаружившиеся привилегии, которые я считал упраздненными. Конечно, вполне естественно, гостя стараются встретить как можно лучше, показывают ему всюду лучшее из того, что есть. Но что меня поразило — это пропасть между лучшим и привычным, обыденным, множество привилегий — и плачевный, жалкий общий уровень.

Возможно, это недостатки моего ума и издержки протестантского воспитания: я опасаюсь выгодных идей и «удобных» мнений — я имею в виду идеи, которые могут приносить дивиденды тем, кто их исповедует.

И я хорошо понимаю — даже если тут и нет прямой коррупции,— насколько выгодна Советскому правительству щедрость по отношению к художникам и литераторам, ко всем, кто может ему славословить. Но, с другой стороны, нельзя не видеть и выгоду, которую может извлечь литератор, одобряя конституцию и правительство, содействующее ему в этом. И тотчас я настораживаюсь. Я опасаюсь соблазна. Непомерные барыши, которые мне там предлагают, пугают меня. Я ехал в Советский Союз не за выгодами и привилегиями. Привилегии, с которыми я столкнулся там, были очевидными.

И почему бы мне не сказать об этом?

Из московских газет я узнал, что в течение нескольких месяцев было продано более 400 000 моих книг. Нетрудно сообразить сумму авторских отчислений. А щедро оплаченные статьи! Дифирамбы Сталину и СССР — и целое состояние!..

Эти соображения не удержали бы меня от похвал, они не могут помешать и моим критическим оценкам. И должен признаться, что чрезвычайно выгодное положение (более выгодное, чем в какой-либо другой европейской стране), обеспеченное любому, кто может держать перо,— лишь бы он писал что требуется — само по себе меня весьма насторожило. Литераторы в гораздо более выгодном положении, чем любые рабочие или ремесленники. Двое из компаньонов по путешествию (у обоих должны были выйти книжки по-русски) бегали по антикварным и комиссионным магазинам, не зная, как истратить несколько тысяч рублей, полученных в виде аванса и которые они не могли увезти с собой. Что касается меня самого, то я смог лишь слегка почать громадную сумму, потому что мы ни в чем не нуждались. нам было предоставлено все. Да, все, начиная с расходов по путешествию и кончая сигаретами. И всякий раз, когда я доставал кошелек, чтобы оплатить счет в ресторане или в гостинице, чтобы купить марки или газету, наш гид меня останавливала очаровательной улыбкой и повелительным жестом: «Вы шутите! Вы наш гость и ваши товарищи тоже».

Разумеется, лично у меня в продолжение всего путешествия по СССР не было ни разу повода на что-либо жаловаться, и из всех лукавых ухищрений как-то объяснить мою критику — верх абсурда считать ее выражением личной неудовлетворенности. Никогда я не путешествовал в таких роскошных условиях. Специальный вагон и лучшие автомобили, лучшие номера в лучших отелях, стол самый обильный и самый изысканный. А прием! А внимание! Предупредительность! Повсюду встречают, обихаживают, кормят-поят. Удовлетворяют любые желания и сожалеют, что не в силах сделать это еще лучше. С моей стороны было бы неблагодарностью не принять всего этого. И я сохраняю самые прекрасные воспоминания и чувство самой живой благодарности. Но это внимание, эта забота постоянно напоминали о привилегиях, о различиях там, где я надеялся увидеть равенство.

Когда мне с трудом удавалось уклониться от официальных встреч, вырваться из-под присмотра и познакомиться с рабочими, зарплата которых 4—5 рублей в день, что мог я думать о банкете в мою честь и от присутствия на котором не мог отказаться. Такие банкеты организовывались почти ежедневно и были столь обильны, что уже одними закусками можно было насытиться трижды, не приступая к основным яствам. Эти обеды из шести блюд в продолжение двух часов оставляли совершенно без сил. Во что же они могли обходиться! Мне ни разу не удалось увидеть счет, и я не могу назвать сумму. Но один из моих спутников, осведомленный в ценах, считает, что подобный банкет мог обходиться в 300 с лишним рублей с человека, включая стоимость вин и ликеров. А нас было шестеро, даже семеро с переводчиком, кроме того, приглашенных часто бывало столько же, сколько гостей, а иногда и значительно больше *.

* Привожу здесь страницу из своей записной книжки, куда вносил записи ежедневно: «Обед, назначенный на 8 часов, начался в половине девятого. В 9.15 еще не покончили с закусками.

(Мы — Эрбар, Даби, Кольцов и я — купались в парке культуры, сильно проголодались.) Съел несколько пирожков. Открываю встречу в доме отдыха. В 9.30 приносят овощной суп с большими кусками курицы; объявляют запеченные в тесте креветки, к ним добавляются запеченные грибы, затем рыба, различное жаркое и овощи... Я ухожу, чтобы собрать чемодан, успеть написать несколько строк в «Правду» по поводу событий дня. Возвращаюсь как раз вовремя — чтобы заглотать большую порцию моро-

В продолжение всего путешествия мы были, собственно говоря, гостями не правительства, а богатого Союза советских писателей. Когда я думаю о его расходах, связанных с нами, боюсь, что золотой жилы моих авторских прав, которые я там оставил, не хватит, чтобы их возместить. Очевидно, что, делая такие авансы, рассчитывали совсем на другой результат. И думаю, что недовольство «Правды» частично объясняется тем, что я оказался не слишком «рентабельным».

Уверяю вас, в моих советских приключениях есть нечто трагическое. Убежденным сторонником, энтузиастом я ехал восхищаться новым миром, а меня хотят купить привилегиями, которые я так ненавидел в старом.

— Вы в этом ничего не понимаете,— говорит мне один образцовый марксист.— Коммунизм отрицает только эксплуатацию человека человеком — сколько раз надо вам это повторять? Вы можете быть таким же богатым, как Алексей Толстой или как певец Большого театра, лишь бы ваше состояние было заработано личным трудом. В вашем презрении, в вашей ненависти к деньгам, к собственности я вижу пережиток вашего изначального христианства.

— Может быть.

— И согласитесь, это не имеет никакого отношения к марксизму.

— Увы!..

Я хорошо знаю и не раз слышал, что лучшие качества характера, вызывающие ответную симпатию,— сердечность, большая щедрость,— так же как и очевидные недостатки, обусловлены не новым режимом, а полувосточным темпераментом русского человека. Поэтому, думаю, напрасно ждать и надеяться, что изменившиеся социальные обстоятельства изменят натуру человека. Пусть меня поймут правильно: обстоятель-

---

женого. Я не только испытываю отвращение к этому обжорству, я его осуждаю. (Нужно объясниться с Кольцовым.) Оно не только абсурдно, оно аморально, антисоциально».

ства этому способствуют, но между тем и другим нет причинной связи. Простой логикой не обойтись, нужна индивидуальная внутренняя перестройка, иначе буржуазное общество возродится в новом качестве, «ветхий человек» снова заявит о себе и снова утвердится в жизни.

Пока человек угнетен, подавлен социальной несправедливостью, мы вправе надеяться, что лучшие его качества проявятся в будущем. Так нередко ждут чудес от детей, но, становясь взрослыми, они обнаруживают весьма посредственные способности. Общераспространенное заблуждение — будто народ состоит из лучших людей. Я думаю, что народ просто меньше испорчен, но деньги могут его испортить так же, как всех остальных. И посмотрите, что происходит в СССР: их новая складывающаяся буржуазия имеет те же самые недостатки, что и наша. Едва выбившись из нищеты, она уже презирает нищих. Жадная до всех благ, которых она была лишена так долго, она знает, как надо их добиваться, и держится за них из последних сил. «Действительно ли это те самые люди, которые совершили революцию»,— писал я в «Возвращении из СССР». Они могут быть членами партии, но ничего коммунистического в их сердцах уже не осталось.

IX

Однако налицо факт: русский народ кажется счастливым. Тут у меня нет расхождений с Вильдраком и Жаном Понсом, и я читал их очерки, испытывая чувство, похожее на ностальгию. Потому, что я тоже утверждал: ни в какой другой стране, кроме СССР, народ — встречные на улице (по крайней мере, молодежь), заводские рабочие, отдыхающие в парках культуры — не выглядит таким радостным и улыбающимся. Как совместить это внешнее проявление с ужасающей жизнью подавляющего большинства населения?

Те, кто много путешествовал по СССР, утверждают, что Вильдрак, Понс, да и я сам заговорили бы подругому, если бы отклонились от туристических маршрутов и посетили не одни только крупные центры. Они говорят о целых районах, где неблагополучное положение очевидно. И тогда...

Нищета в СССР иезаметна. Оиа прячется, словио стыдится себя. Явиая, оиа встретила бы ие сочувствие, ие сострадаиие, а презреиие. Благополучие же тех, кто ие прячется, иажито за счет этой нищеты. Однако можио увидеть много людей, причем голодиых, которые выглядят улыбающимися, веселыми, их счастье, я уже говорил об этом, осиоваио иа «доверии, иеведеиии и иадежде» *. И если все, что мы видели в СССР, старается произвести радостиое впечатлеиие, поиятио, что все безрадостиое должио становиться подозрительным. Быть иевеселым — или, по крайией мере, не скрывать этого — чрезвычайио опасио. Россия ие место для жалоб, для этого есть Сибирь.

СССР — миогомиллиоииая страиа, и «прореживаиие» людского поголовья осуществляется без видимого ущерба. Оно тем более трагичио, что незаметио. Лучшие исчезают, лучших убирают. Лучшие не в смысле физической производительиости труда, а те, кто отличается от всех, выделяется из общей массы, сила и сплочениость которой в посредствеииости. Посредствеииость же всегда стремится не вверх, а вниз.

Критику и свободу мысли называют в СССР «оппозицией». Сталии призиает только одобреиие всех; тех, кто ему ие рукоплещет, ои считает врагами. Нередко ои сам высказывает одобреиие какой-иибудь проводимой реформе. Но если ои реализует какую-либо идею, то сначала убирает того, кто ее предложил, чтобы лучше подчеркиуть, что эта идея его собствеииая. Это его способ утверждать свою правоту. Скоро

* Следует, однако, упомянуть еще об изумнтельной способностн русского народа к жнзнн. «Кошачья жнвучесть»,— говорнл Достоевскнй, удивляясь, как народ, перенесший неслыханные страдання н испытаиня, сохраннл себя и не уменьшнлся количественно. Неистребнмое жнзнелюбне, хотя и в сочетанин с апатней н равнодушнем, но скорее всего и чаще всего в сочетаннн с внутренней цельностью, живостью, лнризмом, бьющей нз глубнн необъясненной, необъяснимой радостью — неважно когда, неважно где, неважно как... Пожалуй, даже так можно сказать: чрезвычайная предрасположенность, склонность к счастью. Несмотря нн на что. И нменно в этом отношеннн Достоевский более всего показателен, имеино этнм он меня так глубоко трогает. Благодаря Достоевскому такое же братское чувство я испытываю ко всему русскому народу. Несомненно, никакой нной народ не поддался бы с таким велнкодушием на подобный трагическнй экспернмент.

он будет всегда прав, потому что в его окружении не останется людей, способных предлагать идеи. Такова особенность деспотизма — тиран приближает к себе не думающих, а раболепствующих.

По какому бы делу любые рабочие ни представали перед любым судом и как бы ни были они правы, горе защищающему их адвокату, если руководство задумало их осудить.

А высланные тысячами... те, которые не смогли, не захотели склонить голову, как от них требовали. Мне лично ничто не угрожает, я не могу, как X., сказать: «Черт возьми, ведь такое и со мной могло бы однажды случиться...» Эти жертвы — я их вижу, слышу, чувствую вокруг себя. Это их подавленные крики разбудили меня сегодня ночью, их молчание диктует мне эти строки. Думая об этих мучениках, я написал слова, вызвавшие ваш протест, потому что молчаливое их признание — если моя книга до них дойдет — для меня важнее, чем ненависть или похвала «Правды».

За них никто не вступится. Разве что правые газеты вспомнят, чтобы поносить режим, который они ненавидят. Те же, кому дороги идеи свободы и справедливости, кто борется за Тельмана — Барбюсы и Ролланы — умолкли, они молчат. И вокруг них — ослепленные пролетарские массы.

Но когда я возмущаюсь, вы мне разъясняете (да еще со ссылками на Маркса!), что это действительное, очевидное зло (я говорю не только о высылках, но и нищете рабочих, низкой или чрезмерной зарплате, восстановленных привилегиях, незаметном возрождении классов, исчезновении Советов, последовательном упразднении всего завоеванного революцией), вы мне по-научному разъясняете, что это зло неизбежно, что вы, интеллектуалы, искушенные в диалектике (крючкотворстве), вы его воспринимаете как временное зло, которое должно привести к великому благу. Вы, умные коммунисты, соглашаетесь, что оно, это зло, существует, но вы полагаете, что его лучше скрывать от тех, кто понимает меньше, чем вы, и у кого оно, вероятно, вызвало бы протест.

Кто-то, может быть, извлечет выгоду из моих писаний — мне этому не помешать. Более того, даже если бы мог, я не стал бы этого делать. Но писать что-либо ради выгоды политической партии — нет, пусть этим займутся другие. При знакомстве я сразу предупредил своих новых друзей — коммунистов о том, что никогда не стану их рекрутированным сообщником, глашатаем на любой случай.

«Интеллектуалы-коммунисты должны рассматриваться Партией как «ненадежный элемент», на который можно опереться, но которого всегда следует опасаться»,— прочитал я где-то недавно. Ах, как это верно! Когда-то я не раз повторял то же самое Вайяну Кутюрье. Но он не желал ничего слышать.

Нет партии, которая держит — я хочу сказать: которая меня удерживает — и которая помешала бы мне всему предпочесть истину, даже самой партии. Мне не по себе, когда я вижу ложь. Мой долг — ее разоблачить. Я служу истине, и, если партия не признает ее, тогда я не признаю партию.

Я прекрасно знаю (и вы не раз мне говорили об этом), что «с марксистской точки зрения» *Истины* не существует, абсолютной, по крайней мере. Истина может быть только относительной. Но именно об относительной истине и идет здесь речь, о той, которую вы искажаете. И думаю, что намерение ввести других в заблуждение в столь сложных вопросах само по себе уже является заблуждением. Ибо те, кого вы обманываете, это — народ, которому вы, по вашим заявлениям, служите. Хорошо же вы ему служите, делая его слепым.

Важно видеть вещи такими, какие они есть, а не такими, какими их хотелось бы видеть. Советский Союз не оправдал наших надежд, не выполнил своих обещаний, хотя и продолжает навязывать нам иллюзии. Более того, он предал все наши надежды. И если мы хотим, чтобы надежды все же уцелели, нам надо многое пересмотреть.

Но мы не отвернем от тебя наши взгляды, славная и мученическая Россия. Если сначала ты была примером, то теперь — увы! — ты показываешь нам, как революция ушла в песок.

ПОПУТЧИКИ

I

Опасаясь, что одного меня будет мало, я раздобыл себе еще пятерых попутчнков. Кроме того, мне хотелось доставить н другим удовольствне, связанное с этим прнятным путешествием. Все — заранее восхищенные, в меру экзальтнрованные, так же, как н я, убеждеиные, покоренные, горячне поклонинкн нового режнма, полные веры в прекрасное будущее СССР. Мои спутиики очень не похожн иа меня, разные по возрасту (все зиачнтельно моложе меня), по темпераменту, по воспитанню, по среде. И иесмотря иа это, мы прекрасио поннмалн друг друга. Да, я действительно думал, что, для того чтобы лучше видеть и слышать, шесть пар ушей и глаз не будут лишиими и удастся разные впечатления привести к какому-то общему знаменателю.

Вы зиаете этих попутчиков: Джеф Ласт, Шифрнн, Эжен Даби, Пьер Эрбар, Луи Гийю.

Из пятерых двое с давних пор в партнн, очень преданные и очень активные ее члены.

Двое владеют русским языком. Кроме того, у Джефа Ласта это было четвертое путешествне в СССР. Пьер Эрбар более полугода жнл в Москве, руководил там пропагаидистским журиалом «Интернациональная литература», выходящнм на четырех языках. Благодаря этому был в курсе всех нитрнг, всего, что там пронсходнло. Сверх того, человек редкой проницательиости, ои, несомиенио, мне во многом помог, то есть прояснил многие вещн, до которых я сам, конечно, не додумался бы. Прнведу иебольшой пример.

На другой деиь после иашего прибытия в Москву (мы с Пьером Эрбаром прибыли из Парнжа самолетом — Эрбар прилетал туда иа трн дня,— остальные должны былн прнбыть через десять дней в Ленниград пароходом) ко мне явнлся с визнтом Бухарин. Он был еще очень популярен. В последннй раз, когда он появился иа каком-то собраннн, публнка прнветствовала его овациями. Однако незаметно надвнгалась уже опала, н Пьер Эрбар, пытавшийся опубликовать в своем журнале его замечательную статью, столкнулся с сильным сопротивленнем. Все это надо было знать, но я

узнал только позже. Бухарин пришел один, но не успел он переступить порог роскошного номера, предоставленного мне в «Метрополе», как вслед за ним проник человек, назвавшийся журналистом, и, вмешиваясь в нашу беседу с Бухариным, сделал ее попросту невозможной. Бухарин почти тотчас поднялся, я проводил его в прихожую, и там он сказал, что надеется снова со мной увидеться.

Спустя три дня я встретился с ним на похоронах Горького — или даже, точнее, за день до похорон, когда живая очередь двигалась мимо украшенного цветами монументального катафалка, на котором покоился гроб с телом Горького. В соседнем, гораздо меньшем по размерам, зале собрались различные «ответственные лица», включая Димитрова, с которым я еще не был знаком и которого я подошел поприветствовать. Рядом с ним был Бухарин. Когда я отошел от Димитрова, он взял меня под руку и, наклонясь ко мне, спросил:

— Могу я к вам через час зайти в «Метрополь»?

Пьер Эрбар, сопровождавший меня и все слышавший, понизив голос, сказал: «Готов держать пари, что ему это не удастся».

И в самом деле, Кольцов, видевший, как Бухарин подходил ко мне, тотчас отвел его в сторону. Я не знаю, что он мог ему сказать, но, пока я был в Москве, я Бухарина больше не видел.

Без этой реплики я бы ничего не понял. Я подумал бы о забывчивости, подумал бы, что Бухарину, в конце концов, не столь важно было меня увидеть, но я никогда не подумал бы, что *он не мог*.

Из Ленинграда — Пьер Эрбар и я встречали там пароход с Гийю, Шифриным, Ластом и Даби — мы все вместе отправились в Москву в специальном вагоне. Несколько дней спустя в том же вагоне отправились в Орджоникидзе. Затем на трех комфортабельных автомобилях проехали по Кавказу и через день оказались в Тифлисе. В столицу Грузии мы прибыли с опозданием на один день. Из-за этого грузинские поэты, любезно выехавшие нам навстречу, вынуждены были сутки ждать нас на пограничном пункте в горах. Пользуясь случаем, хочу сказать, как я был тронут их приемом, их обходительностью, изысканной вежливостью,

постоянной предупредительностью и любезностью. Если каким-либо чудом эта книга попадет им в руки, пусть они знают, что я сохраняю по отношению к ним — что бы им ни сказали — глубочайшую признательность.

II

Тифлис, сначала сильно разочаровавший, день ото дня начинал нам нравиться больше и больше. Мы задержались там на две недели и оттуда отправились в четырехдневную поездку по Кахетии — во всех отношениях интересную и замечательную, но потребовавшую от нас немало сил. Шифрин и Гийю, мало привычные к трудностям путешествия, в конце заявили, что устали от впечатлений, от эмоций, и выразили желание вернуться во Францию.

Мы с сожалением расстались с ними — они были прекрасными попутчиками,— хотя впоследствии и порадовались за них, когда жара стала невыносимой.

Однако эта вторая часть нашего путешествия была гораздо более поучительной. Мы почувствовали бóльшую свободу, нас меньше обманывали, появилась возможность непосредственно общаться с людьми, и глаза у нас стали по-настоящему раскрываться.

За последние двадцать лет (некоторые говорят: за пятьдесят) ни разу не было такой жары. Мы, впрочем, не слишком от нее страдали, и ничто не предвещало несчастья с Даби. Я с возмущением протестую по поводу домыслов, связанных с его болезнью. Наиболее доброжелательные люди говорили о неверном диагнозе. Возможно, в СССР *скарлатиной* называют целую группу инфекционных заболеваний, вызванных различными стрептококками. У Даби не было характерной рвоты, с которой начинается настоящая скарлатина. Уже в Париже я видел статистическую медицинскую справку и был удивлен непропорционально высоким процентом заболевания этой болезнью в СССР по сравнению с другими странами, а также по сравнению с другими болезнями. Именно этот факт заставил меня предположить, что термин «скарлатина» трактуется там значительно более широко, нежели у нас. Обращая на это внимание (что не исключает ошибки в диагнозе — она в равной мере была бы

не исключена и в Париже, могу сослаться на два печальных примера, когда Шарля-Луи Филиппа и Жака Ривьера лечили от простого гриппа, а на самом деле, как выяснилось позже, это была тифоидная горячка), я утверждаю, что Даби был обеспечен постоянный и самый тщательный уход, за ним наблюдали три лучших доктора в Севастополе, а также товарищ Боля, которая проявила исключительную самоотверженность.

Я вынужден заявить протест также и по поводу домыслов, связанных с *записными книжками* Даби. Их, так же как и другие принадлежащие ему бумаги, я передал его семье — правда, некоторое время они находились под арестом. Впрочем, в них не было ничего такого, что могло бы насторожить цензуру. Даби был чрезвычайно осторожным человеком. Он не раз мне говорил, что всецело полагается на меня во всем, что касается разговоров *, сам же всячески остерегался

* Джеф Ласт и Пьер Эрбар, жившие в последнее время по очереди в одном номере с ним и с которыми у него была возможность говорить чаще и еще более откровенно, чем со мной, знали это. Потому-то они и протестовали против обвинений Пьера Шиза (их впоследствии в очень вежливой форме подхватил Фридман) в том, что я с определенной целью использовал имя Даби, посвящая ему свою книгу — «отражение всего, что я пережил, о чем думал рядом с ним, вместе с ним».

Отрывок из статьи П. Эрбара:

«Я хотел бы сообщить Фридману — в ответ на его замечание о посвящении Эжену Даби «Возвращения из СССР» — о моем разговоре с Даби в Севастополе накануне его смерти.

Он был очень озабочен тем, чтобы Жид, вернувшись во Францию, высказал те опасения, которые он так часто разделял с ним во время путешествия. «Он заставит себя услышать,— говорил он.— Люди поймут, что это говорит друг».

Какими бы ни были соображения по поводу таких посвящений, никто не может сомневаться в том, что Жид вправе — и даже может считать это своим долгом — упомянуть нашего друга в связи со своими размышлениями об СССР».

(«Vendredi», 29 января 1937 г.)

И это письмо Джефа Ласта:

«Дорогой Фридман, меня очень удивило в вашей статье следующее замечание:

«Но разве сам Даби не раскритиковал бы, не дополнил бы эти впечатления (он предполагал продлить свое пребывание в СССР, говорил о том, что собирается туда вернуться)?

Разве не осознал бы он в большей степени, чем Жид, что они представляют не только психологический интерес? Разве не задумался бы он о том, что эти впечатления (о их недостаточности он сам мне говорил во время встречи на Черном море)

ввязываться в дискуссии, которые могли бы нарушить его спокойствие и помешать в работе.

Об этой работе он только и думал все последние дни — не раз мне говорил о романе, который собирался переделать, переписать заново, поскольку изменился его первоначальный замысел. И думаю, он ничего не оставил бы от той сотни страниц, которая была им написана перед отъездом.

«Я засяду за него сразу, как только вернусь»,— повторял он. Это сокровенное желание не давало ему покоя, он готов был уехать один, когда речь зашла о том, чтобы завернуть еще в Одессу и в Киев уже на пути домой.

У Даби, так же как у меня, как у всех нас, несмотря на восхищение Советским Союзом, многое вызывало сильное беспокойство, а он, так же как и мы, предполагал только восхищаться. Вышедший из народа, душой и телом преданный делу пролетариата, он по своему темпераменту не был бойцом, был скорее Санчо Пансой, нежели Дон Кихотом. Воспитанный на Монтене, он почитал жизнь выше всех идеалов и считал, что никакой идеал не стоит того, чтобы ради него жертвовать жизнью. Он был очень озабочен событиями в Испании и даже мысли не допускал, чтобы кто-то хоть на мгновение мог усомниться в успехе правительственных войск. Ему было мало веры в успех, в победу, он хотел думать, что победа уже достигнута. Но он

могут иметь столь громкий политический резонанс и в такой момент?

Поскольку эти вопросы могут быть поставлены, я не имею права молчать».

Все это мне кажется не слишком точным.

Уже в Тифлисе Даби стал заметно утрачивать интерес к путешествию. Я много раз говорил с ним, но ни разу он не выразил желания задержаться в СССР или вновь сюда приехать. Напротив, он упорно сопротивлялся нашему намерению продлить путешествие и заехать в Киев. Он хотел скорее вернуться в Москву, а оттуда вылететь самолетом в Париж. Много раз он говорил о своем желании спокойно поработать в испанской деревушке, чтобы закончить книгу об Эль Греко. Многое ему не нравилось в СССР из того, что и всем нам не нравилось, только реакция у нас у всех была разной. Он часто говорил об этом с Жидом и, поскольку не был бойцом, полагался в разговорах на Жида. Полагаю, что книга, написанная Жидом, именно такая, какую он надеялся увидеть, какую ждал от него.

Джеф Ласт».

резко осуждал Джефа Ласта, когда тот заговаривал о намерении отправиться в Испанию добровольцем, что он потом и осуществил. Однажды вечером в Севастополе, накануне последнего проведенного вместе дня, я видел, как он, обычно очень спокойный, вдруг встрепенулся, когда Джеф Ласт заявил, что предпочел бы скорее видеть своих детей мертвыми, нежели под фашистской властью.

«То, что ты говоришь сейчас,— чудовищно,— взорвался Даби (впервые я слышал, чтобы он говорил таким тоном), стукнув кулаком по столу, за которым мы втроем только что отобедали.— Чудовищно! Ты не имеешь права ради идеи жертвовать чужими жизнями. Ты не имеешь права жертвовать даже своей собственной».

Он говорил об этом долго, вдохновенно и красноречиво. Джеф, впрочем, тоже. Я слушал с одобрением того и другого, пока они говорили по очереди. Пожалуй, точнее было бы сказать, что меня восхищала страстность Джефа, но здравомыслие возмущенного Даби все же больше было мне по душе. «Хорошо,— думал я,— если бы для равновесия в жизни было то и другое». Но я вынужден был вмешаться, когда, возражая Даби, Джеф заговорил о «подлости». Я попросил вообще не употреблять в разговоре этого слова, потому что если иногда требуется большое мужество для борьбы, то не меньшее может потребоваться для того, чтобы в борьбу не ввязываться.

Написав это, я вдруг вспомнил о Жионо, о его «Отказе к повиновению». Даби очень любил Жионо и в чем-то был на него похож. У того и другого в высшей степени было развито «ощущение корней». (Только те, у кого оно есть, поймут в полной мере, что следует понимать под этим.) * Мы часто говорили о Жионо в Грузии, казалось, что эта дикая, плодородная страна сотворена именно для него. Говорили также о том, что он сильно страдал бы всюду, где это «чувство корней» утрачивается.

---

* «Оии лгут. Оии все лгут,— говорил нам в Тифлисе Х. о советских руководителях.— Оии утратили всякое представлеиие о реальиости. Это все отвлечеииые теоретики». Голос его дрожал от волиеиия. И накоиец произиес фразу, иа которую я сиачала ие обратил виимаиия и которую мие потом иапомиил Эрбар — оиа ему показалась замечательиой (действительио, оиа замечательиая), и он ее часто цитировал: «Оии забыли, что такое корни».

Нельзя сказать, чтобы Даби терял интерес к путешествию, но оно его занимало меньше, чем нас. Все чаще и чаще он уединялся, читал, писал или флиртовал.* Он читал в то время «Мертвые души», которые я привез с собой, и порой обращал мое внимание на какую-нибудь страницу. В частности, на те строчки из четырех писем Гоголя, помещенных в начале второго тома,— я их уже цитировал,— а также и на многие другие, которые заставляют усомниться в том, что в царское время, как об этом говорят, ничего не было сделано для народа, ничего такого, по крайней мере, чем можно было бы гордиться.

«Вот уже почти полтораста лет протекло с тех пор, как государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещения европейского, дал в руки нам все средства и орудия для дела...»

С тех пор «правительство во все времена действовало без устали. Свидетелем тому целые тома постановлений, узаконений и учреждений, множество настроенных домов, множество изданных книг, множество заведенных заведений всякого рода: учебных, человеколюбивых, богоугодных и, словом, даже таких, *каких нигде в других государствах не заводят правительства»*.

Если это пыль в глаза, то тогда видно, что это не изобретение наших дней.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Обычно любезный, Кольцов кажется особенно откровенным. Я хорошо знаю, что он не скажет ничего лишнего, но он говорит со мной таким образом, чтобы я мог почувствовать себя польщенным его доверием. Демонстрируя доверительность, он начинает:

— Вы не представляете, с какими новыми и необычными проблемами нам приходится сталкиваться на каждом шагу и которые мы вынуждены решать. Представьте себе, наши лучшие рабочие-стахановцы в массовом порядке бегут с заводов.

— И как вы это объясняете?

---

* «Какое желание покоя и тишины во мне!» — писал он в записной книжке за несколько дней до смерти.

— Ну, это просто. Они получают такую громадную зарплату, что не могут ее потратить, даже если бы захотели, на нее пока еще мало что можно купить. Вот в этом и заключена для нас большая проблема. Дело в том, что люди откладывают деньги, и, когда у них накопится несколько тысяч рублей, они компаниями отправляются роскошно отдыхать на нашу Ривьеру. И мы не можем их удержать. Поскольку это лучшие рабочие, они знают, что их всегда примут обратно. Через месяц-другой — как только кончатся деньги — они возвращаются. Администрация вынуждена их принимать, потому что без них не обойтись.

— Это представляет сложности для вас? Много таких людей?

— Тысячи. Учтите, каждый рабочий имеет право на оплачиваемый отпуск. Отпуск предоставляется в определенное время, не всем сразу — завод должен работать. Но в этом случае все по-другому. Они сами платят за все, отпуск берут за свой счет, когда им вздумается, и все сразу.

Он улыбается. Я про себя думаю: если бы дело было серьезным, он так бы не говорил. Все это делается скорее для того, чтобы подчеркнуть, дать повод оценить недавнюю изобретательность Сталина. Не он ли недавно одобрил женское кокетство, призвал вернуться к модной одежде и украшениям *.

— Давайте, товарищи, заботьтесь о ваших женах! Дарите им цветы, не жалейте для них денег!

В последнее время открылось много новых магазинов, и я удивлялся, читая вывески «Маникюр» и глядя на напудренных, с крашеными ногтями женщин.

— Сколько вам платят в месяц? — спрашивает товарищ Х. у заведующей косметическим кабинетом в гостинице.

— Сто пятьдесят рублей.

— Вам положена квартира?

---

* В «Правде» от 31 декабря 1936 года опубликовано письмо колхозниц, в нем речь идет об одежде: «Мы тоже можем элегантно одеваться, потому что у нас есть вкус и мы следим за модой. Мие, например, уже ие нравятся расклешенные юбки и блузки-аэропланы. Но мы их иосим, потому что нет других моделей. *Деньги у нас есть*».

— Нет, и не кормят тоже. Нужно платить по крайней мере двадцать рублей в месяц за комнату.

— Значит, у вас остается только сто тридцать. А питание?

— Ох, меньше, чем на двести рублей, не проживешь.

— Ну и как же вы обходитесь?

Грустная улыбка.

— Выкручиваемся...

В Севастополе Джеф подружился со студентом, который ничем особенным не выделялся, но который заинтересовал его именно своей ординарностью. После беседы с ним он нам рассказывал.

Х. горячий поклонник режима, искренне верит и надеется. Как студент-первокурсник он получает шестьдесят рублей в месяц. Радуется, что в следующем году будет получать семьдесят, а на третьем курсе — восемьдесят. Он мог бы жить в студенческом общежитии и питаться в столовой за рубль или два. Но не хочет оставить старую мать-кухарку, зарабатывающую девяносто рублей в месяц. Они живут вдвоем в комнате, за которую платят девять рублей в месяц, и питаются почти одним черным хлебом, и то не досыта (четыреста граммов в день). Но он это называет «полным довольствием», и ни слова жалобы. В эту комнату, где он живет с матерью, он охотно привел бы подругу. Мать хотела бы, чтобы он женился, но его смертельно напугал указ об абортах.

— Подумайте только, и без того так трудно жить! А если еще содержать ребенка... Ох, я знаю, что вы мне скажете. Но презервативы невозможно достать, или они такого качества, что надеяться на них нельзя. Что же касается предосторожностей, то в наших условиях это нереально.

Но затем привычный оптимизм возобладал, и он весело заметил, что при таком питании, как у него, лучше всего вообще воздерживаться.

Если верить одному советскому врачу, в СССР повсеместно распространен онанизм.

Обсуждаются проекты новых зданий. Х., архитектор, предлагает план квартиры.

— Это что за помещение?
— Комната для прислуги.
— Прислуги?.. Вы же хорошо знаете, что теперь прислуги нет.

И поскольку в теории прислуги больше не существует, отличный повод, чтобы заставить ее спать в коридоре, на кухне — где угодно.

Какое это было бы признание — предусмотренная специально комната для прислуги! И если в СССР она все же есть, то тем хуже для нее.

Почти все, кто прибывает в Москву в услужение за пятьдесят рублей в месяц,— бедные крестьянские девушки, покинувшие родные деревни в надежде найти работу на заводе или где-нибудь еще в городе. На первых порах они пристраиваются в семьи, пока найдется подходящее место. Домработница соседей моих друзей X.— беременна. Соседи взяли ее из жалости. Она спит в стенной нише, где не может даже вытянуться во весь рост. А еда... Она обратилась с просьбой к моим друзьям: «Пусть хозяйка не выбрасывает остатки». Она их собирала в помойном ведре.

Ах, не собираюсь утверждать, что формируемое общественное мнение делает всех приверженцами официальной линии. Иные имена, в частности имя Есенина, произносятся шепотом. Но все же произносятся. Пожалуй, точнее: еще произносятся, но шепотом. Я плохо знаю поэзию Есенина, но случилось так, что мне захотелось получше ее узнать. Есенин покончил с собой, как Маяковский. Говорят, любовная история. Может быть, и так. Но вольно нам задуматься о более глубоких причинах самоубийства.

Итак, однажды в Сочи, после роскошного обеда, мы разоткровенничались. Вино и водка этому способствовали. Много выпивший X. был настроен лирически. Наш гид и переводчица стала проявлять видимое беспокойство. X. разговорился еще больше... Объявил нам, что будет читать наизусть Есенина. И тут переводчица вмешалась:

— Вы совершенно пьяны. Вы не понимаете, что говорите. Замолчите...

Х., в полном сознании и хорошо владея собой, несмотря на выпитое, умолк. Затем, как бы притворяясь нетрезвым, попросил переводчицу сходить за сигаретами. И как только она удалилась, Х. начал читать замечательное стихотворение — после запрещения оно передавалось из уст в уста. Стихотворение было написано Есениным в ответ на богохульную статью.

«Когда ты выступаешь против попов,— обращался к автору статьи Есенин,— мы тебя поддерживаем. Мы с тобой, когда ты смеешься над небом и преисподней, над Богом и Богородицей. Но когда ты говоришь о Христе, поостерегись. Не забудь, что тот, кто отдал жизнь за людей, был не с сильными мира сего, но с несчастными и обездоленными, и славу свою видел в том, что его, сына Божьего, называли сыном человеческим».

Х. читал эти стихи, и голос у него дрожал — не оттого, что он был пьян. А когда закончил, по его лицу текли слезы. В продолжение всего вечера разговор был пустой, вздорный... Хотя, пожалуй, я не совсем справедлив к Х., да и к нам самим тоже. Х. возбуждал нас все больше и больше. Нас восхищал его рассказ об удивительных приключениях в Китае, о том, как он несколько раз был в плену и как спасался. Нет, он не был красив, но какая-то дикая прелесть одухотворяла его черты. Его голос, хриплый и возбужденный, смягчался, когда он читал стихи, и это так противоречило жесткому цинизму произнесенных накануне слов. В нем словно бы обнаруживалась скрытая нежность, что-то глубоко затаенное, что и было подлинным, настоящим, а все остальное — цинизм и жесткость — казалось какой-то искусственной оболочкой, под которой скрывалось все, что в нем есть лучшего. Но это нескромное как бы подсматривание свершилось в одно мгновение. Вернулась переводчица, и разговор, шумный и бестолковый, принял прежнее направление *.

---

* Я просил нескольких своих друзей, говорящих по-русски, найти мне эти стихи Есенина, которые я, несомненно, процитировал очень неточно. Они не могли их найти, что заставляет меня подозревать: не исключили ли их из последних официальных изданий. Это можно было бы проверить. Кроме того, мне говорили, что ходит в списках большое количество стихотворений, приписываемых Есенину.

Только просидев семь часов в жестком вагоне напротив моей знакомой, решился заговорить с ней молодой русский. Он привлек ее внимание с самого начала путешествия.

«Ему было лет тридцать, но чувствовалось, что его уже основательно жизнь потрепала. На вопросы он отвечал уклончиво, и мне пришлось постараться, чтобы разговорить его. В особенности я убеждала его, что я иностранка, что ему нечего меня бояться, что его слова никому не станут известны... С ним были жена и трехлетний сын. Я узнала, что он оставил еще двоих детей в X., чтобы избежать расходов и из страха перед неизвестностью,— он не знал, что его ждет в Москве.

Если бы не болезненный вид, его жена могла бы показаться красивой. К моему величайшему изумлению, я видела, как она несколько раз кормила грудью ребенка, судя по всему, уже давно отнятого от груди. Не знаю, что получил он от этой отвислой, пустой груди. Но в дороге другого питания у него не было.

Его родители выглядели очень изможденными. Когда муж наконец решился вступить в беседу, жена заволновалась. Она оглядывалась по сторонам — не услышит ли кто-нибудь нас. Но в купе не было никого, кроме бестолковой старухи и дремавшего пьяницы. И, как бы извиняясь, она сказала:

— Он всегда слишком много говорит. Это нас всегда и губило.

А он мне рассказывал о своей жизни. Все было хорошо до убийства Кирова. Потом — он не знает, по какому доносу — к нему стали подозрительно относиться. Поскольку он был хороший работник и его не в чем было упрекнуть, его не сразу уволили с завода. Но он стал замечать, что друзья и товарищи отворачиваются от него. Каждый боялся скомпрометировать себя разговором с ним. Наконец директор завода вызвал его и, формально не увольняя — против него не было никаких обвинений,— посоветовал ему искать работу в другом месте. С тех пор он скитался по городам в надежде где-нибудь устроиться на заводе, вызывая все большее и большее подозрение, отверженный, загнанный, получая всюду отказ, лишенный всякой поддержки, всякой помощи, не в состоянии ничего добыть для детей, впадая в жестокую нищету.

— Все это продолжается уже больше года,— сказала его жена.— У нас уже нет сил. Нас нигде не держат более двух недель.

— И хоть бы еще,— вставил муж,— я мог понять, в чем меня обвиняют. Наверное, кто-то что-то сказал против меня. Я не знаю кто, не знаю, что могло быть сказано. Я знаю только одно — я ни в чем не виноват.

Он сказал, что принял решение ехать в Москву и все узнать, оправдать себя, если возможно, или уже совсем себя погубить — протестовать против непонятных, ничем не вызванных подозрений».

Бывают сигареты по восемьдесят копеек и даже по шестьдесят, те самые, которые называют «пролетарскими»,— они отвратительны. «Папиросы», которые мы курим и которые только и известны иностранцам (некоторые из них так и называются — «Интурист»), стоят пять или шесть рублей за пачку. Бывает даже еще дороже.

Не зная, где искать табачную лавку (дело происходило в Гори, мы там останавливались на несколько часов), Пьер Эрбар просит рабочего, с которым он беседует на берегу реки, купить ему пачку папирос.

— За сколько?

— За пять рублей.

У рабочего отличное настроение, и он весело говорит:

— Дневной заработок.

Мадам X. едет на дачу в Подмосковье в компании «ответственного работника» (так там называют крупных руководителей). «Ответственный работник» запанибрата обращается со всеми встречающимися рабочими: «Я люблю, чтобы они чувствовали себя со мной свободно. Я обращаюсь с ними, как с товарищами, как с братьями, и они никогда не боятся говорить со мной».

Встречается какой-то землекоп, и как бы в подтверждение только что сказанному ответственный работник обращается к нему: «Ну, друг, как дела? Вы довольны?» Тот ему в ответ: «Разрешите, товарищ, задать вам один вопрос?» — «Ну, конечно, друг, я готов

ответить».— «Вы все знаете и, конечно, мне объясните. Скажите, когда придет время, что мы будем работать по силам и есть досыта?»

— И что сказал ответственный работник? — спросил я у X.

— Он ему прочитал лекцию.

В автомобиле на пути в Батум. Мои спутники восхищаются недавно посаженными по обеим сторонам дороги деревьями, через несколько лет они должны давать тень. Зачем обращать их внимание на то, что среди этих деревьев нет ни одного живого. Несомненно, они посажены не вовремя, то есть не в тот сезон, когда они могли бы прижиться. Скорее всего, не осмелившись возразить, люди исполнили спущенный сверху приказ. Природа тоже должна подчиняться — идет ли речь о дереве или о человеке.

В связи с прививками Воронова и другими экспериментами в Сухуми содержат большой обезьяний питомник. Я захотел узнать, откуда берут животных. Однако столкнулся с тем, что сведения здесь дают такие же многословные и противоречивые, как в заморских колониях. Есть люди вообще склонные к бессодержательному многословию. Вот очаровательная товарищ Боля, приставленная к нам в качестве гида и переводчика. Ее ничто не смущает, она отвечает на любой вопрос. Причем, чем меньше знает, тем с большей уверенностью говорит. Она не отдает себе отчета в своей невежественности, и это наводит на мысль, что неосознаваемое невежество может быть причиной самых решительных утверждений. Такова уж особенность этих людей, так устроен их ум, удовлетворяющийся неопределенностью, приблизительностью, чисто внешними приметами.

— Можно узнать, откуда привезли обезьян, которые живут здесь?

— Конечно. Очень просто. (В свою очередь она обращается с вопросом к сопровождающему нас человеку.)

— Большинство обезьян родилось здесь. Да, почти все они родились здесь.

— Но нам говорили, что здесь не водятся обезьяны. Следовательно, сначала их должны были завезти сюда.

— Совершенно верно.
— Так откуда все же их завезли?
И, уже ни к кому не обращаясь за помощью, с находчивой уверенностью отвечает:
— Понемногу отовсюду.
Наша очаровательная переводчица — замечательно доброжелательный и самоотверженный человек. Но вот что немного утомляет в ней: если сведения, которые она сообщает, точны, то можно быть уверенным, что они неверны.

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ В ПАРИЖ

— Откуда вы взяли, что крупные руководители пользуются значительными привилегиями? — спрашивает у меня X., только что вернувшийся оттуда и не скрывающий своего восхищения.— Я часто встречался с У., он очень простой и доброжелательный человек. Я был у него дома и не заметил ни роскоши, ни излишеств. И его жена, с которой он меня познакомил, такая же простая, как он сам...
— Какая жена?
— Что значит: какая? Жена, и все...
— Ну да, законная. Вы не знаете, что у него их три. И две другие квартиры, а кроме того, могут быть еще дачи. И три автомобиля, причем вы видели самый скромный — для семейных выездов.
— Неужели это возможно?
— Не только возможно — это так и есть.
— И как на это смотрит партия? Сталин...
— Не будьте слишком наивным. Сталин боится только тех, кто довольствуется малым, кто честен и неподкупен.

СВИДЕТЕЛЬСТВА

Доктор А. Денье

4 декабря 1936 г.

Месье,
я был в Москве в день похорон Горького, слушал вашу речь. Она меня тогда огорчила, потому что, зная вас как искреннего человека, я боялся, как бы дело

не кончилось надувательством. Сейчас я только что прочитал «Возвращение из СССР» и вздохнул с облегчением. Я был в России, занимался там проблемами биофизики, свободно общался с коллегами в неофициальной обстановке и без переводчика, жил с ними душа в душу — и страдал. Вы прекрасно выразились: всякое свободомыслие исключено из жизни. Все мои коллеги — «язвы» в особенности — заглушают в себе всякое стремление думать и писать, постоянно испытывают давление извне, опасаются сделать малейший неосторожный шаг. Мои друзья, свободно мыслящие люди (среди них есть практики и известные ученые), вынуждены раздваиваться: один человек — это тот, которого мы видим, который говорит, проявляет себя внешним образом; другой — ушедший в себя, которого можно узнать только при близком знакомстве.

С уважением А. Денье.

Выдержка из сообщения,
сделанного на медицинском факультете
в октябре 1936 года

Кто может быть врачом в СССР? Рабочие, посещающие вечерние занятия в институте, или студенты, которым платят по 110 рублей в месяц. Они живут по 10—15 человек в комнате.

Им платят больше или меньше в зависимости от результатов экзаменов. После института их посылают в деревню на должность фельдшера или санитара. В настоящее время в стране сто тысяч врачей, а нужно, кажется, четыреста тысяч.

Еще два года назад врачу платили 110 рублей в месяц, сумма до такой степени незначительная, что многие переквалифицировались в рабочих, которым платят больше. Набор был затруднен, преобладали женщины. Обнаружив, что не производящий материальных ценностей врач все же необходим государству, подняли ему зарплату до 400 рублей. Затем улучшили подготовку, которая была на уровне фельдшеров.

Всем врачам выпуска 1930—1933 годов не хватает знаний, они были вынуждены на полгода вернуться на факультет для повышения квалификации.

Продолжительность рабочего дня можно было бы считать приемлемой, но это, так сказать, в теории, очень мало кто работает по шесть часов. На зарплату в 400 рублей прожить нельзя, поэтому врач, как правило, вынужден искать совместительства, чтобы добрать до 800 или 1200 рублей в месяц,— надо отдавать себе отчет в том, что такое покупательная способность рубля: обычный костюм стоит 800 рублей, хорошие туфли — от 200 до 300 рублей, килограмм хлеба — 1 руб. 90 коп.; метр драпа — 100 рублей. Кроме того, до 1936 года нужно было в обязательном порядке отдать государству в виде займа месячную зарплату. Единственная комната, в которой врач живет с семьей и которая служит одновременно и гостиной, и спальней, и библиотекой, и кухней и т. д., стоит 50 рублей в месяц. Хорошо еще, если нет детей.

Материальные условия тяжелые, но еще тяжелее переносить ужасающий моральный гнет. Надо считаться с дворником — агентом ГПУ, нельзя поделиться мыслями с сослуживцами в больнице. Плакат, который у нас висел в военные годы: «Будьте осторожны — вас подслушивает враг!», там теперь очень актуален.

Один известный ученый, член Академии наук, два года просидел в тюрьме. Иностранцам говорили: «Он болен». У другого ученого разогнали кафедру и лаборатории за научные взгляды, не совпадающие с марксистской теорией, а сам он был вынужден, как Галилей, публично от них отказаться, чтобы избежать высылки. Почему я не мог увидеть коллегу-ученого, хотя он был на месте? Мою телеграмму он получил месяц спустя после моего отъезда. Когда же я приходил к нему, мне лгали, что его нет.

Париж, 29 ноября 1936 г.

Месье,
когда я вас увидел в Сочи, я очень боялся, чтобы вас не обманули и чтобы из партийного пристрастия — худшего врага прогресса — вы не стали восхвалять новое государство. Но «Возвращение из СССР» доставило мне истинное удовольствие.

Хорошо зная русский язык, я видел своими глазами и слышал своими ушами все, что увидели и услышали вы. Я полностью вас поддерживаю и благодарен вам за то, что вы осмелились это сказать.

В знак признательности позвольте предложить вам некоторые, сделанные там записи.

Да поможет Бог нашей Франции с мудрым спокойствием следовать новым своим путем.

В третий раз, с промежутком в три года, я возвращаюсь из России.

Погрязший в низости и жестокости режим с самого начала попрал искусство, культуру, человеческие чувства.

Это совершенная форма варварского нашествия.

Спустя двадцать лет после революции все еще существуют вагоны второго и третьего классов. На большом русском пароходе, совсем недавно построенном, пассажирские места распределяются таким образом: 75 процентов — третьего класса, 20 — второго, 5 — первого. То же самое в еде, одежде, гостиницах. Те, кто может платить, пользуются лучшими местами.

Рабочий трудится 40 часов в продолжение пятидневки. У него в году пять праздничных дней, и он работает на 400 часов больше французского рабочего, если бы тот тоже работал по 40 часов в неделю. Но зарплата столь низкая, что он нередко работает в двух местах по 12—16 часов.

Процветает как никогда сдельная работа. Более способный и зарабатывает больше своего товарища, который ему завидует как менее ловкий.

Когда работы нет, рабочий остается незанятым и без зарплаты. Государство не обременяет себя сантиментами: есть работа — оно предоставляет ее рабочему, который должен выполнять ее быстро и хорошо. Нет работы — человек должен сам выкручиваться, приобретать другую специальность, чтобы не умереть с голоду.

Зависть, мелочность всюду одинаковы. Умный и добросовестный рабочий, которого называют «ударником», может заработать больше своих товарищей, и его оплачиваемый отпуск может вместо двух недель продолжаться месяц.

Усердие, как правило, замечается и поощряется, но не утратил своей силы и фаворитизм: скромность и другие достоинства, если они не на виду у власти, остаются незамеченными.

Кое-кому, наиболее ловким, умным, честолюбивым,— или же благодаря родственным связям — удается достигнуть чрезвычайно привилегированного положения. Зарплата варьируется от 150 до 500 рублей в месяц. Одни получают очень мало, другие — очень много.

В 65 лет рабочий, после 25 лет ручного труда, получает пенсию 37 рублей в месяц.

Те, кто не сумел сделать сбережения и кто не хочет быть в тягость детям, продолжают работать, таких большинство.

Период реконструкции страны активизировал деятельность примерно так же, как это было у нас после войны. Но активная деятельность в России не означает обязательно комфорт или богатство.

Повсюду люди работают сверх нормы, потому что цены на все невероятно высокие.

Если говорить о начальниках, то они получают приказ: такую-то работу закончить к такому-то сроку. Если их рабочие или служащие не справляются, они сами должны работать сверхурочно — по 18 часов, если нужно,— потому что они отвечают за производительность и за результат.

Их положение не из легких: с одной стороны — власть, с другой — недобросовестность исполнителей.

После трехкратного предупреждения любой рабочий может быть уволен без предварительного извещения и без выходного пособия.

На заводе, который я посетил, плакат напоминает, что не выполнивших норму будут с 1 сентября увольнять без предупреждения.

За сверхурочную работу начальник или его заместитель не получают доплаты. Хотя, впрочем, он может надеяться, что ему вдвое увеличат оплачиваемый отпуск и дадут премию. Так часто бывает, но это не предусмотрено законодательством и во многом зависит от прихоти начальства.

Когда государство испытывает затруднения в средствах, оно увеличивает налоги, которые отчисляются непосредственно из зарплаты, или объявляет обязательный заем, удерживая таким образом деньги.

Чтобы покрыть основные расходы, оно увеличивает цены на товары. Метр самого обычного шелка стоит 165 франков. И на подобного коммерсанта — нувориша, расточающего богатства,— никто не посмеет жаловаться.

Восьмого августа объявили, что по всей стране будут удерживать из зарплаты в фонд помощи борцам против фашизма в Испании. Это право государства. Никто не может ничего возразить, и никому нет дела до прорех в бюджете конкретного человека.

Взамен государство строит школы, заводы, больницы, детские сады и ясли, санатории, дома отдыха — внешне очень привлекательные, где кто-то из рабочих может провести отпуск, но где в комнате живет по нескольку человек. Оно энергично борется с воровством и преступлениями, прибегая к смертной казни или высылке, старается поднять мораль, поощряет материнство, искореняет повсюду проституцию, в невиданных до того масштабах обеспечивает образование, и 80 процентов их ходят в туфлях или тапочках, в то время как при царском режиме 80 процентов ходили босыми.

Свобода печати совершенно отсутствует. В газетах нет совсем уголовной хроники. Зато политические преступления могут занимать прессу в продолжение долгого времени, общественное мнение совершенно подавлено.

Малейший факт, связанный с известными людьми — летчиками, учеными, политиками, может занимать газеты неделями. Нечто вроде гипноза, и Сталин у них — бог.

Действительно ли столь велики завоевания масс, чтобы оправдать кровавую работу 1917 года, и, несмотря на очевидные успехи, несмотря на видимые усилия, прилагаемые для достижения равенства, достигли ли его на самом деле?

Уже повсюду вновь образовавшееся неравенство напоминает о старом мире. Это неравенство день ото дня увеличивается, оно подтверждается с регулярностью накатывающихся друг на друга волн.

Думаю, что не пройдет и десяти лет, как прежнее социальное неравенство восстановится.

2 декабря 1936 г.

Дорогой Месье Жид,
только что прочитал «Возвращение из СССР». После моего возвращения оттуда под впечатлением от репрессий в связи с убийством Кирова в декабре 1934 года я стараюсь не пропустить ни одного известия из России. Сейчас, прочитав вашу книгу — а перед этим несколько недель назад адресованное вам письмо Виктора Сержа и письмо Игнацио Силоне,— я счастлив и одновременно подавлен. Я счастлив оттого, что ваша книга еще раз подтвердила истину, которую я считаю главной, фундаментальной в понимании смысла жизни, именно: нет ничего важнее истины. Я, бывший коммунист и советский служащий, проработавший более трех лет в СССР в прессе, в пропагандистском аппарате, в группе по инспекции предприятий, в результате тяжких сомнений и мучительной внутренней борьбы пришел к тем же самым выводам, что и вы — человек из другой среды и из другой страны. И вместе с нами Серж, с нами Силоне, с нами часть человечества, которая не приемлет того конформизма, о котором вы говорите в вашей книге.

Возможно, вас заинтересует то, что я написал об СССР. Одновременно я высылаю вам свою небольшую книжку — «Die Wiederentdeckung Europas» * и брошюру — «Der Moskauer Prozess» **. Кроме того, я попрошу своего издателя из Schweizer Spiegel Verlag в Цюрихе выслать вам мою книгу «Abschied von Sovjetrussland» ***, вышедшую год назад.

Завершая письмо, позвольте коснуться еще одного вопроса, который не перестает меня беспокоить. Речь идет о том, о чем вы говорите в конце вашей книги: все, что происходит в СССР, может дискредитировать саму идею. Эта опасность кажется мне громадной. Громадной потому, что советской пропаганде не хватает мужества отказаться от игры словами, признать, что улетучился революционный дух. Но поскольку это не сделано, множество искренних революционеров будет отождествлять СССР с социализмом и сталинскую политику — с социально справедливым строем. И, надо сказать, эта ошибка парализует лучшие силы

* «Новое открытие Европы» *(нем.)*.
** «Московский процесс» *(нем.)*.
*** «Прощание с Советской Россией» *(нем.)*.

человеческого прогресса. Что делать, чтобы избежать этого трагического заблуждения?

Мне неизвестно ваше мнение о недавнем процессе над Каменевым — Зиновьевым, о массовых расстрелах, о концентрационных лагерях на берегу Белого моря, в Сибири и Туркестане, где томятся тысячи «контрреволюционеров». Там вместе с русскими товарищами находятся и иностранцы, члены Schutzbund'a, два года назад сражавшиеся за светлое будущее на баррикадах Оттаркинга, там находятся те, кто томился в казематах Петропавловской крепости. В советской тюрьме находится Зензи Мюзам, вдова (какое многозначительное и трагическое совпадение) человека, нашедшего смерть в гитлеровском концлагере. Там находятся — может быть, их уже нет в живых или они уже живые трупы — не только множество моих друзей, но и революционеры, которых хорошо знают друзья прогресса, заключенные социалисты-коммунисты всех лагерей.

Но общественное мнение, человеческая совесть, кажется, больше не существуют. Какой слабый отклик на трагическое повторение московского процесса в Новосибирске: шесть расстрелянных после двухдневного процесса, без свидетелей, на основании «признания», которое служит единственным и смехотворным его «оправданием». Мертвых уже не спасти. Но можно помешать, чтобы другие так не умирали. И можно вернуть к жизни тех, кто дышит еще в бескрайней сибирской тундре и в подземелье ГПУ на знаменитой Лубянке.

Я борюсь изо всех сил. Но мои силы невелики. Мои призывы достигают немногих. Они слишком слабы, чтобы разрушить тюремные стены.

А вас знают. И те, кто вершит трагические беззакония во имя величайшей идеи, выработанной человечеством, не посмеют не прислушаться к вашему голосу.

Осецкого, жертву Гитлера, освободили.

Помогите освободить жертвы Сталина!

Позвольте вам пожать руку.

А. Рудольф.

5 ноября 1936 г.

Месье,

я только что с признательностью прочитал вашу статью в «Vendredi» и позволю себе обратиться к вам. Вы заслужили право на благодарность тех, для кого Революция — это прежде всего социальная справедливость и человеческое достоинство. Я знаю, как трудно писателям, вступающим на неизведанный материк, которым для них является революция, иметь смелость видеть истину и провозгласить ее. Но я знаю также, что «желание оставаться самим собой» может быть осуществлено только при полной искренности. И никогда эта искренность, Месье Жид, не может вредить делу рабочих. Вредны неискренность и приспособленчество.

Я перечитываю ваши строчки, и, думаю, вы поймете теперь, что могли испытывать люди, защищавшие Октябрьскую революцию с первого ее часа, признавшие ее, потому что она была завершением их борьбы против войны, отдавшиеся ей безраздельно и увидевшие, как мало-помалу (со времени смерти Ленина) ее отвоевывает старый мир, как компрометируются ее идеалы, ради которых она свершилась...

Марсель Мартине.

Париж, 25 ноября 1936 г.

Современна ли критика СССР? Да.

Нужно анализировать русский революционный опыт и, если необходимо, критиковать его, как этого требовал от коммунистов других стран сам Ленин. Но куда делось это время? Коммунист не может закрывать глаза на то, что происходит вокруг. Это означало бы отрицание марксизма. Коммунисты именно потому, что они воплощают будущее рабочего движения, не имеют права обманывать пролетариат, скрывать ошибки революционного опыта.

Напротив, это их право, их обязанность — изучать путь, которым следует русская революция. Особенно во Франции, где политическая зрелость пролетариата позволяет ему осознавать собственные ошибки, но не защищает его от обмана. Это изучение покажет, что социализм в СССР не построен, что его революционный

опыт может послужить ценным уроком пролетариату в будущей его борьбе. Важно не играть на руку буржуазии, такое понимание своей роли воспитывает сознание рабочего класса, укрепляет революционный характер его борьбы, предохраняет его от опасных иллюзий и неоправданного оптимизма.

Экономика СССР находится на подъеме, но не следует упускать из виду, что она содержит в себе *зародыши капитализма,* она не избавлена от свободного рынка и существует неравенство в заработной плате со всеми вытекающими последствиями.

Ж. Сен.

Перевод с французского
А. Лапченко

Публикуется по журналу «Звезда». 1989. № 8. С. 127—168.

Лион Фейхтвангер

МОСКВА 1937

Отчет о поездке для моих друзей

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель этой книги

Эти страницы следовало бы, собственно, озаглавить «Москва, январь, 1937 год». Ведь жизнь в Москве течет с такой быстротой, что некоторые утверждения становятся спустя несколько месяцев уже неправильными. Я бродил по Москве с людьми, хорошо ее знающими; пробыв в отсутствии каких-нибудь полгода, они теперь, глядя на нее, покачивали головой: неужели это наш город? Несмотря на это, я все же даю этой книге заглавие «Москва, 1937 год». Я позволю себе такую неопределенность в дате, потому что я не стремлюсь к точной объективной передаче виденного мною; после десятинедельного пребывания такая попытка была бы нелепа. Я хочу только изложить свои личные впечатления для друзей, жадно набрасывающихся на меня с вопросами: «Ну, что вы думаете о Москве? Что вы там, в Москве, видели?»

Насколько неправильна нарисованная мною картина

Так как я сознаю, что предлагаемые мною суждения субъективны, я хочу рассказать о том, с какими ожиданиями и опасениями я ехал в Советский Союз. Пусть каждый читатель сам установит, насколько мой взгляд был затемнен предвзятыми мнениями и чувствами.

Вера в разум

Я пустился в путь в качестве «симпатизирующего». Да, я симпатизировал с самого начала эксперименту, поставившему себе целью построить гигантское государство только на базисе разума, и ехал в Москву с желанием, чтобы этот эксперимент был удачным. Как бы мало я ни был склонен исключать из частной жизни человека его логическое, нелогическое и

чувства, как бы я ни находил жизнь, построенную на одной чистой логике, однообразной и скучной, все же я глубоко убежден в том, что общественная организация, если она хочет развиваться и процветать, должна строиться на основах разума и здравых суждений. Мы с содроганием видели на примере Центральной Европы, что получается, когда фундаментом государства и законов хотят сделать не разум, а чувства и предрассудки. Мировая история мне всегда представлялась великой длительной борьбой, которую ведет разумное меньшинство с большинством глупцов. В этой борьбе я стал на сторону разума, и потому я симпатизировал великому опыту, предпринятому Москвой, с самого его возникновения.

Недоверие и сомнение

Однако с самого начала к моим симпатиям примешивались сомнения. Практический социализм мог быть построен только посредством диктатуры класса, и Советский Союз был в самом деле государством диктатуры. Но я писатель, писатель по призванию, а это означает, что я испытываю страстную потребность свободно выражать все, что я чувствую, думаю, вижу, переживаю, невзирая на лица, на классы, партии и идеологии, и поэтому при всей моей симпатии я все же чувствовал недоверие к Москве. Правда, Советский Союз выработал демократическую, свободную конституцию; но люди, заслуживающие доверия, говорили мне, что эта свобода на практике имеет весьма растрепанный и исковерканный вид, а вышедшая перед самым моим отъездом небольшая книга Андре Жида только укрепила мои сомнения.

Потемкинские деревни

Итак, к границам Советского Союза я подъезжал полный любопытства, сомнений и симпатий. Почетная встреча, оказанная мне в Москве, увеличила мою неуверенность. Мои хорошие знакомые, люди обычно вполне разумные, совершенно теряли здравый ум, когда оказывались среди немецких фашистов, осыпавших их почестями, и я спрашивал себя, неужели и я позволю тщеславию изменить мой взгляд на вещи и людей. Кроме того, я говорил себе, что мне, несомненно, будут показывать только положительное и что мне, человеку, не знакомому с языком, трудно будет разглядеть то, что скрыто под прикрашенной внешностью.

Нападки, вызванные недостатком комфорта

С другой стороны, множество мелких неудобств, осложняющих повседневный московский быт и мешающих видеть важное, легко могло привести человека к несправедливому и слишком отрицательному суждению. Я очень скоро понял, что причиной неправильной оценки, данной Москве великим писателем Андре Жидом, были именно такого рода мелкие неприятности. Поэтому в Москве я приложил много усилий к тому, чтобы неустанно контролировать свои взгляды и выправлять их то в ту, то в другую сторону, с тем чтобы приятные или неприятные впечатления момента не оказывали влияния на мое окончательное суждение.

Дальнейшие трудности на пути к правильному суждению

Иногда же наивная гордость и усердие советских людей мешали мне найти правильное решение. Цивилизация Советского Союза совсем молода. Она достигнута ценой беспримерных трудностей и лишений, поэтому, когда к москвичам приезжает гость, мнением которого — справедливо или несправедливо — они дорожат, они немедленно начинают забрасывать его вопросами: как вам нравится то, что вы скажете по поводу этого? Кроме того, я попал в Москву в неспокойное время. Фашистские вожди вели угрожающие речи на тему о войне против Советского Союза; в Испании и на границах Монголии шла борьба; в Москве слушался политический процесс, сильно взволновавший массы. Следовательно, вопросов накопилось немало, и москвичи на них не скупились. Я же, человек медлительный в своих оценках, люблю мысленно обсудить все «за» и «против» и не тороплюсь выражать свое мнение, если не считаю его достаточно продуманным. Вполне естественно, что не все в Москве мне понравилось, а мое писательское честолюбие требует от меня откровенного выражения моего мнения — склонность, причинившая мне немало неудобств. Итак, я, будучи в Советском Союзе, не хотел умалчивать о недостатках, где-либо замеченных мною. Однако найти этим неблагоприятным отзывам нужную форму и слова, которые, не будучи бестактными, имели бы достаточно определенный смысл, представляло не всегда легкую задачу для почетного гостя в такое напряженное время.

Откровенность за откровенность

Я мог с удовлетворением констатировать, что моя откровенность в Москве не вызвала обиды. Газеты поместили мои замечания на видном месте, хотя, возможно, правящим лицам они не особенно понравились. В этих заметках я высказывался за большую терпимость в некоторых областях, выражал свое недоумение по поводу иной раз безвкусно преувеличенного культа Сталина и говорил насчет того, что следовало бы с большей ясностью раскрыть, какими мотивами руководствовались обвиняемые второго троцкистского процесса, признаваясь в содеянном. И в частных беседах руководители страны относились к моей критике с вниманием и отвечали откровенностью на откровенность. Именно потому, что свое мнение я выражал неприкрыто, я получил сведения, которые в противном случае мне едва ли удалось бы получить.

Нужно ли выступать с положительной оценкой Советского Союза?

После моего возвращения на Запад передо мной встал вопрос, должен ли я говорить о том, что я видел в Советском Союзе? Это не являлось бы проблемой, если бы я, как другие, увидел в Советском Союзе много отрицательного и мало положительного. Мое выступление встретили бы с ликованием. Но я заметил там больше света, чем тени, а Советский Союз не любят и слышать о нем хорошее не хотят. Мне тотчас же было на это указано. Я не очень часто выступал в печати Советского Союза со своими впечатлениями. Мои выступления составили менее двухсот строк, при этом они отнюдь не заключали в себе только похвалу; но даже это немногое было здесь, на Западе, ввиду того, что оно не представляло безоговорочного отрицания, искажено и опошлено. Должен ли я был продолжать говорить о Советском Союзе?

Лучше не надо

Усталый и возбужденный виденным и слышанным, я сказал себе в первые дни после моего возвращения, что моя задача — не говорить, а изображать в образах, и я решил молчать и ждать, пока пережитое не воплотится в образы, которые можно запечатлеть.

Но как писатель я все же это делаю

Однако вскоре другие соображения одержали верх. Советский Союз ведет борьбу с многими врагами, и его союзники оказывают ему только слабую поддержку. Тупость, злая воля и косность стремятся к тому, чтобы опорочить, оклеветать, отрицать все плодотворное, возникающее на Востоке. Но писатель, увидевший великое, не смеет уклоняться от дачи свидетельских показаний, если даже это великое непопулярно и его слова будут многим неприятны.

Поэтому я и свидетельствую.

Глава I
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Недовольство в капиталистических странах

В Советский Союз я приехал из стран, в которых мы привыкли слышать вокруг себя жалобы. Население не было довольно ни своим внешним, ни своим внутренним положением и жаждало перемен. Отовсюду неслись бесчисленные вопли отчаяния, особенно из стран фашистской диктатуры; несмотря на то что критика там каралась как государственная измена, гнев и отчаяние побеждали страх перед тюрьмой и концентрационным лагерем.

Удовлетвореность в Советском Союзе

Я замечал с удивлением и вначале скептически, что в Советском Союзе все люди, с которыми я сталкивался — притом и случайные собеседники, которые ни в коем случае не могли быть подготовлены к разговору со мной,— хотя иной раз и критиковали отдельные недостатки, были, по-видимому, вполне согласны с существующим порядком в целом. Да, весь громадный город Москва дышал удовлетворением и согласием и более того — счастьем.

Внешние недостатки

В течение нескольких недель я думал, что источником этих проявлений был страх. Они вызывали у меня недоверие уже только потому, что в Москве все еще ощущается недостаток во многом, что нам на Западе кажется необходимым. Жизнь в Москве никоим образом не является такой легкой, как этого хотелось бы руководителям.

Питание

Годы голода остались позади, это правда. В многочисленных магазинах можно в любое время и в большом выборе получить продукты питания по ценам, вполне доступным среднему гражданину Союза — рабочему и крестьянину. Особенно дешевы и весьма хороши по качеству

консервы всех видов. Статистика показывает, что на одного жителя Советского Союза приходится больше продуктов питания и лучшего качества, чем, например, в Германской империи или в Италии, и, судя по тому, что я видел во время небольшой поездки по Союзу, эта статистика не лжет. Бросается в глаза изобилие угощения, с которым люди даже с ограниченными средствами принимают нежданного гостя. Правда, эта обильная и доброкачественная пища приготовляется часто без любви к делу и без искусства. Но москвичу нравится его еда — ведь его стол так хорошо обставлен только с недавних пор. В течение двух лет, с 1934 по 1936 год, потребление пищевых продуктов в Москве увеличилось на 28,8 процента на душу населения, а если взять статистику довоенного времени, то с 1913 по 1937 год потребление мяса и жиров выросло на 95 процентов, сахара — на 250, хлеба — на 150, картофеля — на 65 процентов. Неудивительно, что после стольких лет голода и лишений москвичу его питание кажется идеальным.

Одежда

Тех, кто знает прежнюю Москву, удивляет также заметное улучшение в одежде. В одном лишь 1936 году затраты населения на одежду увеличились на 50,8 процента. Однако тому, кто видит Москву впервые, одежда кажется довольно неприглядной. Правда, достать необходимое можно, притом некоторые вещи, как, например, овчины или галоши, поразительно дешевы, остальные большей частью довольно дороги. Но что абсолютно отсутствует — это комфорт. Если кто-либо, женщина или мужчина, хочет быть хорошо и со вкусом одет, он должен затратить на это много труда, и все же своей цели он никогда вполне не достигнет. Однажды у меня собралось несколько человек, среди них была одна очень хорошо одетая актриса. Хвалили ее платье. «Это я одолжила в театре»,— призналась она.

Что есть и чего нет

Когда приезжаешь с Запада, бросается в глаза также недостаток в других вещах повседневного обихода. Например, очень ограничен выбор бумаги всякого рода, и в магазинах можно получить ее только в небольших количествах; ощущается также недостаток в косметических и медицинских товарах. При посещении магазинов бросается в глаза некоторая безвкусность отдельных товаров. Многое, правда, опять-таки

радует своей красивой формой, целесообразностью и дешевизной, например настольные лампы, деревянные коробки, фотоаппараты, граммофоны. Очевидно, что с возрастающей зажиточностью повышаются и потребности, и если в годы нужды люди довольствовались только самым необходимым, то теперь начал расти спрос и на излишества. Спрос этот растет настолько быстро, что производство не поспевает за ним и у магазинов можно часто увидеть очереди.

Средства сообщения

Существуют еще другие неудобства, осложняющие быт москвичей. Правда, средства сообщения работают хорошо, и наивная гордость местных патриотов по отношению к их метрополитену вполне обоснована: он действительно самый красивый и самый удобный в мире. Но трамваи зачастую еще переполнены, и получить такси очень трудно. Один мой знакомый, проживающий в сорока километрах от Москвы, опоздал на поезд, отходящий за границу, только потому, что, несмотря на многочасовые поиски, не мог достать автомобиля для перевозки своего багажа.

Мелкие заботы

Бюрократизм тоже способствует осложнению московского быта. На въезд в квартиру, на путешествие, на приобретение горючего для автомобиля, на вход в некоторые общественные здания и во многих других случаях требуются удостоверения. «Пропуск» — разрешение — это одно из первых русских слов, которые должен запомнить иностранец. Поездка за город тоже нелегкое дело для иностранца. В окрестностях Москвы очень мало гостиниц и ресторанов, а бесчисленные дома отдыха доступны только членам профессиональных организаций. Аккредитованный посланник одного иностранного государства рассказывал мне — при этом только полушутя,— с какой тоской он стоит в праздничные дни перед рабочими бассейнами для плавания; он никуда не имеет доступа.

Жилищная нужда

Однако тяжелее всего ощущается жилищная нужда. Значительная часть населения живет скученно, в крохотных убогих комнатушках, трудно проветриваемых зимой. Приходится становиться в очередь в уборную и к водопроводу. Видные политические деятели, писатели, ученые с высокими окладами живут примитивнее, чем некоторые мелкие буржуа на Западе.

Несмотря на это, они довольны

Я часто спрашивал себя, особенно в первые недели своего пребывания, не должны ли эти неудобства повседневной жизни подействовать отрицательно на то удовлетворенное настроение советских граждан, о котором я говорил выше. Нет, не действуют. Советские люди в течение многих лет переносили крайние лишения и еще не забыли то время, когда постоянно недоставало света и воды и приходилось стоять в очередях за хлебом и селедкой. Их хозяйственные планы оказались правильными и устранили эти крупные недочеты; в ближайшем будущем исчезнут и мелкие недочеты, мешающие им сегодня. Москвичи острят над этими мелкими неполадками, их остроты добродушны, а иногда и злобны, но эти мелкие неудобства не заслоняют от них того большого, которое может дать только жизнь в Советском Союзе, и если слишком долго останавливаешься на этих небольших бытовых неудобствах, то москвичи переходят в наступление, в свою очередь задавая вопрос: как можно жить в капиталистической стране?

О несчастливой жизни на Западе

«Как вы можете жить,— спрашивают они меня,— в таком морально скверном воздухе, которым вам приходится там дышать? Даже если вы лично и имеете возможность работать там в комфорте и тишине, то неужели вас не беспокоит окружающая вас нужда, которую можно было бы устранить разумным урегулированием вещей Неужели вас не раздражает явная бессмыслица, окружающая вас? Как можете вы выносить жизнь в стране, экономика которой определяется не разумным планированием, а жаждой одиночек к наживе? Неужели вас не беспокоит ощущение неуверенности, временности, упадка? Статистика Германской империи отмечает пятьдесят два самоубийства в день при населении в шестьдесят пять миллионов; у нас сто восемьдесят миллионов, и у нас на день приходится тридцать четыре самоубийства. А посмотрите на молодежь капиталистических стран и сравните ее с нашей. Многие ли из молодых людей на Западе имеют возможность выбрать себе профессию, соответствующую их желаниям и способностям; а кто у нас не имеет этой возможности? Многие ли из молодых людей свободны там от заботы: что будет со мной, за что мне бороться, разве будущее, лежащее

предо мной, не пусто, разве не является оно для меня скорее угрозой, чем надеждой?»

О счастливой жизни советских граждан

Такие рассуждения вовсе не приводятся только в целях пропаганды; они явно основаны на внутреннем убеждении. Очевидная планомерность хозяйства и всей государственной структуры компенсирует отдельное лицо за неудобства, испытываемые им в личной жизни, если оно эти неудобства вообще замечает; яркий контраст между прошлым и настоящим заставляет забывать об этих лишениях. У кого есть глаза, умеющие видеть, у кого есть уши, умеющие отличать искреннюю человеческую речь от фальшивой, тот должен чувствовать на каждом шагу, что люди, рассказывающие в каждом углу страны о своей счастливой жизни, говорят не пустые фразы.

С каждым днем все лучше и лучше

И эти люди знают, что их процветание является не следствием благоприятной конъюнктуры, могущей измениться, а результатом разумного планирования. Каждый понимал, что, прежде чем заняться внутренним устройством дома, необходимо было заложить его фундамент. Сначала нужно было наладить добычу сырья, построить тяжелую промышленность, изготовить машины, а затем уже перейти к производству предметов потребления, готовых изделий. Советские граждане понимали это и с терпением переносили лишения в своей частной жизни. Теперь становится очевидным, что план был намечен правильно, что посев был проведен рационально и может принести богатый, счастливый урожай. И с чувством огромного удовлетворения советские граждане наблюдают теперь за началом этого урожая. Они видят, что ныне именно так, как им было обещано, они располагают множеством вещей, о которых еще два года тому назад они едва осмеливались мечтать. И москвич идет в свои универмаги, подобно садовнику, посадившему самые разнообразные растения и желающему теперь взглянуть, что же взошло сегодня. Он с удовлетворением констатирует: смотри-ка, сегодня имеются в продаже шапки, ведра, фотоаппараты. И тот факт, что руководящие лица сдержали свое слово, служит для населения залогом дальнейшего осуществления плана и улучшения жизни с каждым месяцем. Так же как москвичи знают, что поезд в Ленинград отходит в таком-

то часу, так же точно знают они, что через два года у них будет одежда в любом количестве и любого качества, а через десять лет и квартиры в любом количестве и любого качества.

Крестьянин прежде и теперь

Больше всех разницу между беспросветным прошлым и счастливым настоящим чувствуют крестьяне, составляющие огромное большинство населения. Они не жалеют красок для изображения этого контраста. Отцы рассказывают детям о тяжелом прошлом, о нищей и темной жизни при царе. Мы знаем эту жизнь по произведениям русских классиков. Большую часть года крестьяне питались черствым, трудно перевариваемым хлебом и горячей водой, чуть подкрашенной чаем. Они не умели ни читать, ни писать, весь их умственный багаж состоял из убогого запаса слов, служивших для обозначения окружающих их предметов, плюс немного сведений из мифологии, которые они получили от попа. Теперь у этих людей обильная еда, они ведут свое сельское хозяйство разумно и с возрастающим успехом, они имеют одежду, кино, радио, театры, газеты, они научились читать и писать, и их дети получили возможность избрать специальность, которая их привлекает.

Согласие и уверенность

Сознание того, что государство не отрывает у большинства потребительские блага в пользу незначительного меньшинства, а, наоборот, действенно помогает самыми разумными методами всему обществу, это сознание, подкрепленное двадцатилетним опытом, вошло в плоть и кровь всего населения и породило такое доверие к руководству, какого мне нигде до сих пор не приходилось наблюдать. В то время как на Западе общество, наученное печальным опытом, питает к заверениям и обещаниям своих правительств недоверие — недоверие настолько сильное, что иногда считают, что определенный факт должен совершиться именно потому, что правительство утверждает обратное, в Советском Союзе твердо верят, что обещания властей будут выполнены в точности и к назначенному сроку. Известно, каких трудов и приготовлений стоит фашистским государствам инсценировка «добровольных демонстраций» сопротивляющихся масс; я наблюдал на сотне мелких примеров, с какой детской радостью устремляются москвичи на свои демонстрации.

Право на труд, отдых и обеспеченную старость

Да, гарантии и преимущества, которые имеет советский гражданин по сравнению с гражданами западных государств, представляются ему настолько огромными, что перед ними бледнеют неудобства его быта. Социалистическое плановое хозяйство гарантирует каждому гражданину возможность получения в любое время осмысленной работы и беззаботную старость. Безработица действительно ликвидирована, а также ликвидирована в полном смысле слова и эксплуатация. Количество работы, которое государство требует от каждого своего гражданина, не лишает последнего возможности тратить значительную часть своих сил по своему личному усмотрению. Каждый шестой день они свободны; семичасовой рабочий день проведен; каждый работающий располагает месячным оплачиваемым отпуском. Насколько бедны частные жилища, настолько светлы, просторны и уютны многочисленные дома отдыха, предоставляемые советским гражданам по самым дешевым ценам на время их отпусков.

Государство — это мы

Чувство безусловной обеспеченности, спокойная уверенность каждого человека в том, что государство действительно существует для него, а не только он существует для государства, объясняет наивную гордость, с которой москвичи говорят о своих фабриках, своем сельском хозяйстве, своем строительстве, своих театрах, своей армии. Но больше всего они гордятся своей молодежью.

Молодежь

Эта молодежь является поистине сильнейшей статьей актива Советского Союза.

Забота государства

Для молодежи делается все, что вообще возможно. Повсюду имеется бесчисленное множество превосходно организованных яслей, детских садов, большая сеть школ, число которых растет с невероятной быстротой. Дети имеют свои стадионы, кино, кафе и прекрасные театры. Для более зрелых имеются университеты, бесчисленные курсы на отдельных производствах и в крестьянских коллективных хозяйствах, культурные организации Красной Армии. Условия, в которых растет советская молодежь, более благоприятны, чем где бы то ни было.

Молодежь западных стран

Большинство писем, получаемых мною от молодых людей всех стран, за исключением писем молодых людей Советского Союза, содержат призывы о помощи. Огромные массы молодых людей Запада не знают, куда им податься ни в смысле физическом, ни в смысле духовном; у них не только нет надежды получить работу, которая смогла бы доставить им радость, у них вообще нет надежды на получение работы. Они не знают, что им делать, они не знают, в чем смысл их существования, все пути, лежащие перед ними, кажутся им лишенными цели.

Молодежь Советского Союза

Какая радость после всего этого встретить молодых людей, которым посчастливилось сорвать первые плоды советского образования, молодых интеллигентов из рабочих и крестьян! Как крепко, уверенно, спокойно стоят они в жизни: они чувствуют себя органической частью мудрого целого. Будущее расстилается перед ними как ровный путь, пересекающий прекрасный ландшафт. Выступают ли они на собраниях, беседуют ли с кем-нибудь, наивная гордость, с которой они рассказывают о своей счастливой жизни, ненаигранна; из уст их действительно рвется то, чем переполнены их сердца. Когда, к примеру, молодая студентка Высшего технического училища, которая всего несколько лет тому назад была фабричной работницей, говорит мне: «Несколько лет тому назад я не могла правильно написать русской фразы, а теперь я могу дискутировать с вами на немецком языке об организации автомобильной фабрики в Америке», или когда девушка из деревни, пышущая радостью, докладывает собранию: «Четыре года тому назад я не умела ни читать, ни писать, а сегодня я беседую с Фейхтвангером о его книгах»,— то радость их законна. Она вытекает из такого глубокого признания советского мира и понимания их собственного места в этом мире, что чувство испытываемого ими счастья передается и слушателям.

Крестьянская и рабочая интеллигенция

По статистике западных стран, процентная норма студентов, выходцев из крестьян или рабочих, чрезвычайно низка. Отсюда само собой напрашивается вывод, что в западных странах огромное количество способных людей обречено на невежество

только потому, что их родители не имеют имущества, в то время как множество неспособных, родители которых имеют деньги, принуждаются к учению. С воодушевлением смотришь, как миллионы людей Советского Союза, которые при существовавших еще двадцать лет тому назад условиях должны были бы прозябать в крайнем невежестве, ныне, когда перед ними открылись двери, с восторгом устремляются в учебные заведения. Советский Союз, поднявший огромные массы лежавших до того втуне полезных ископаемых, обратил себе на пользу также дремавший под спудом могучий пласт интеллигенции. Успех на этом участке был не меньший, чем на первом. С радостной жадностью эти пролетарии и крестьяне с молодыми и свежими мозгами принимаются за изучение новых для них наук, глотают и переваривают их, и непосредственность, с которой их юные глаза впитывают накопленные тремя тысячелетиями знания, с которой они открывают в них новые, неожиданные стороны, подбодряет того, кто после всего пережитого со времени войны был уже готов отчаяться в будущем человеческой цивилизации.

Глупы и самонадеянны?

Андре Жид рассказывает о самомнении этого молодого поколения. Он описывает, как его спрашивали о том, имеется ли и в Париже метро, как ему не хотели верить, что во Франции русские фильмы допущены к демонстрации, как ему надменно и пренебрежительно заявили, что совершенно излишне утруждать себя изучением иностранных языков, потому что все равно у заграницы учиться больше нечему. Так как советские газеты очень часто, говоря о московском метро, сравнивают его с заграничными, так как они постоянно выражают свою радость по поводу успеха советских фильмов именно во Франции, то очевидно, что Андре Жид имел дело с несколькими глупыми и дерзкими юнцами, представляющими в своей среде исключение. Мне, во всяком случае, такие вопросы никогда не задавались, хотя я провел с советской молодежью очень большое количество бесед. Я был приятно удивлен, увидев, сколько студентов знают немецкий, английский или французский языки или даже два и три из этих языков.

Советский читатель

Писателю доставляет истинную радость сознание того, что его книги находятся в библиотеках этих молодых советских людей. Почти во всех странах мира имеются заинтересованные читатели, обращающиеся с любознательными вопросами к автору. Однако на Западе в большинстве случаев книги являются только культурным времяпрепровождением, роскошью. Но для читателя Советского Союза как будто не существует границ между действительностью, в которой он живет, и миром его книг. Он относится к персонажам своих книг, как к живым людям, окружающим его, спорит с ними, отчитывает их, видит реальность в событиях книги и в ее людях. Я неоднократно имел возможность обсуждать на фабриках с коллективами читателей свои книги. Там были инженеры, рабочие, служащие. Они прекрасно знали мои книги, некоторые места даже лучше, чем я сам. Отвечать им было не всегда легко. Они, эти молодые крестьянские и рабочие интеллигенты, задают весьма неожиданные вопросы, защищают свою точку зрения почтительно, но упорно и решительно. Они лишают автора возможности спрятаться за законы эстетики и рассуждения о литературной технике и поэтической свободе. Автор создал своих людей, он за них отвечает, и если он на вежливые, но решительные возражения и сомнения своих молодых читателей дает не вполне правдивые ответы, то читатели немедленно дают ему почувствовать свое неудовольствие. Очень полезно беседовать с такой аудиторией.

Заражающее счастье

Да, эта молодежь распространяет вокруг себя заражающее чувство силы и счастья. Глядя на нее, понимаешь веру советских граждан в свое будущее, веру, которая помогает им не замечать недостатков настоящего.

Один пример

Я хочу попытаться показать на отдельном примере, так сказать, технику перехода этой веры в будущее в довольство настоящим.

Картина сегодняшней Москвы

Я уже говорил о том, в каких убогих и тесных жилищах, как скученно живут москвичи. Но москвичи понимают, что и жилищное строительство ведется по принципу: сначала для общества, а потом для одиночек, и представительный вид обще-

ственных зданий и учреждений их до известной степени за это компенсирует. Клубы рабочих и служащих, библиотеки, парки, стадионы — все это богато, красиво, просторно. Общественные здания монументальны, и благодаря электрификации Москва сияет ночью, как ни один город в мире. Жизнь москвича проходит в очень значительной части в общественных местах; он любит улицу, охотно проводит время в своих клубах или залах собраний, он страстный спорщик и любит больше дискутировать, чем молча предаваться размышлениям. Уютные помещения клуба помогают ему легче переносить непривлекательную домашнюю обстановку. Однако основное утешение в своей печали по поводу скверных жилищных условий он черпает в обещании: Москва будет прекрасной.

Москва будет прекрасной

То, что это обещание не является пустым лозунгом, доказывает та энергия, с которой за последние два года принялись за полную перестройку Москвы.

Реконструкция Москвы

Да, разумное начало, наложившее свою печать на всю жизнь Советского Союза, особенно ярко проявляется в величественном плане реконструкции Москвы. Пожалуй, нигде так полно и глубоко не раскрывается существо Советского Союза, как на модели будущей Москвы, установленной на строительной выставке.

Отдельные строения

Правда, проекты отдельных архитекторов, которые можно увидеть на московской строительной выставке, кажутся мне не лучше и не хуже, чем во всяком другом месте; с точки зрения творчески-революционной мне понравились работы только трех архитекторов, в работах остальных много эклектизма и классицизма, мало меня трогающих. Однако совершенно иным предстает перед вами облик строительства Советского Союза, когда вы подходите к планам и моделям, показывающим, как советскими строителями были заново построены либо реконструированы города и как эти советские строители представляют себе в дальнейшем свою задачу.

Планирование Москвы

Самой грандиозной среди такого рода работ является реконструкция Москвы. Известно, что город с самого начала революции охвачен перестройкой; повсюду беспрерывно копают, шурфуют, стучат, строят,

улицы исчезают и возникают; что сегодня казалось большим, завтра кажется маленьким, потому что внезапно рядом вырастает башня,— все течет, все меняется. Только в июле 1935 года Совет Народных Комиссаров решил внести порядок в это движение, то есть он решил так же планомерно изменить внешний облик города, как и всю структуру Советского Союза, и сделать это в десять лет. Вот то, что было осуществлено с июля 1935 года, и то, что должно быть осуществлено в ближайшие восемь лет, и показывает модель будущей Москвы на строительной выставке.

Модель новой Москвы

Стоишь на маленькой эстраде перед гигантской моделью, представляющей Москву 1945 года — Москву, относящуюся к сегодняшней Москве так же, как сегодняшняя относится к Москве царской, которая была большим селом. Модель электрифицирована, и все время меняющиеся голубые, зеленые, красные электрические линии указывают расположение улиц, метрополитена, автомобильных дорог, показывают, с какой планомерностью будут организованы жилищное хозяйство и движение большого города. Огромные диагонали, разделяющие город, кольцевые магистрали, расчленяющие его, бульвары, радиальные магистрали, главные и вспомогательные пути, учреждения и жилые корпуса, промышленные сооружения и парки, школы, правительственные здания, больницы, учебные заведения и места развлечений — все это распланировано и распределено с геометрической точностью. Никогда еще город с миллионным населением не строился так основательно по законам целесообразности и красоты, как новая Москва. Бесчисленные маленькие вспыхивающие точки и линии показывают: здесь будут школы, здесь больницы, здесь фабрики, здесь магазины, здесь театры. Москва-река будет проходить здесь, а здесь пройдет канал Волга — Москва. Тут будут мосты, а здесь под рекой пройдет тоннель, там протянутся пути для подвоза продовольствия, а вот здесь — для всякого рода другого транспорта, отсюда будем регулировать водоснабжение города, отсюда электроснабжение, а тут будет теплоцентраль.

Что препятствует планировке городов в капиталистических странах

Все это так мудро увязано одно с другим, как нигде в мире. В других городах рост потребностей выявлялся с течением времени, и только потом делались попытки с помощью перестройки улиц и регулирования движения исправить обнаружившиеся недостатки. Все это носило неизбежно более или менее случайный характер и никогда не было ни разумным, ни законченным. Возникновение и развитие этих городов не только не было органическим, но даже дальнейшее урегулирование их потребностей затруднялось и обрекалось на неудачу вследствие того, что оно вступало в конфликт с бесчисленными частными интересами, причем не было авторитетной организации, которая могла бы, пренебрегая частными интересами, принести их в жертву общественному благу. Повсюду сопротивление алчных землевладельцев срывало разумное планирование города. Префект Оссман, перепланировавший в середине XIX века Париж, рассказывает: «Для приведения в исполнение проекта инженера Бельграна по водоснабжению Парижа городу необходимо было приобрести верховья рек Соммы и Суда. Однако частные владельцы не поддавались никаким уговорам, и дело это сорвалось». А когда в 1923 году заново отстраивали разрушенный землетрясением город Токио, то за сто двадцать гектаров земли, необходимых для расширения общей площади и составлявших только четвертую часть всего потребного количества, частным владельцам было уплачено сорок миллионов иен, и от первоначально запланированного расширения города пришлось отказаться.

Преимущества московской планировки

Будущая Москва не знает такого рода помех. Ее планирование не встречает таких препятствий, как необходимость приспосабливаться к уже существующему плохому. Наоборот, здесь с самого начала все строится целесообразно, планово, разумно, осмысленно.

Отдельные детали

Проведение трех диагональных магистралей длиной от пятнадцати до двадцати километров каждая и трех новых радиальных магистралей, разбивка двух параллельных улиц, расширение Красной площади вдвое, размещение жилых корпусов, перенесение опас-

ных в пожарном отношении и вредных производств, строительство широких набережных, одиннадцати новых мостов и новых железнодорожных путепроводов, распределение теплоцентралей, пятисот тридцати новых школьных зданий, семнадцати новых больших больниц и двадцати семи амбулаторий, девяти новых огромных универмагов, увеличение площади города на тридцать две тысячи гектаров, закладка мощного, шириною в десять километров, защитного поясного массива парков и лесов, который кольцом окружит город, расширение пятидесяти двух районных парков в пределах города и тринадцати парков на окраинах — все это так точно рассчитано, так мудро увязано, что даже самого трезвого наблюдателя должны взволновать размах и красота проекта.

Инициаторы

Инициаторами этого проекта являются Н. С. Хрущев, Л. М. Каганович и Иосиф Виссарионович Сталин.

Еще раз о модели

Да, испытываешь несравненное эстетическое наслаждение, рассматривая модель такого города, построенного с самого основания по правилам разума,— города первого в своем роде, с тех пор как люди пишут историю. Стоишь и смотришь на гигантскую модель, а архитекторы дают объяснения. В 1935/1936 г. мы намечали построить школы здесь и здесь — и в соответствующих местах вспыхивают электрические точки,— а вот сколько мы фактически построили — и точек вспыхивает больше. В первые полтора года мы хотели построить больницы здесь и здесь, а построили фактически — и опять точек вспыхивает больше, чем было запроектировано. Если хочешь рассмотреть модель подробнее, отдельные кварталы города, то модель автоматически раздвигается, проходишь туда, сюда, осматриваешь будущий город, выбираешь себе любимые места.

Прежде и теперь

Радостно сознавать, что эта модель не игрушка, не фантастическая утопия западного архитектора, но что через восемь лет она будет претворена в действительность. Эта уверенность основана на сознании того, сколько до сих пор уже сделано и насколько нынешняя Москва отличается от прежней. В Москве при последнем царе было заасфальтировано или вымощено булыжником 200 000 квадратных метров улиц и пло-

щадей, теперь — 3 200 000 квадратных метров. В старой Москве потребление воды на душу населения составляло 60 литров в день, теперь 160 литров (берлинец потребляет 130 литров). Старая Москва располагала самыми отсталыми средствами сообщения в мире, новая, со своей расширенной трамвайной сетью, со своими автобусами и троллейбусами и своим великолепным метро, стоит — с 550 поездками в среднем в год на каждого жителя — на первом месте среди городов мира. В первые два года, на которые падали труднейшие задачи, план строительства Москвы был осуществлен больше чем на сто процентов. Таким образом, не подлежит сомнению, что запланированное на следующие восемь лет будет также осуществлено.

Всегда служи целому!

Но самым важным мне кажется не то, что в такой исключительно короткий срок были и будут построены дома, улицы, средства передвижения. Самым поразительным и новым является планомерность, разумность целого, тот факт, что во внимание принимались не только потребности отдельных лиц, а поистине потребности всего города,— нет, всего гигантского государства, ибо в плане Москвы предусмотрено, что число жителей не должно превышать пяти миллионов, и уже сейчас рассчитано, куда будет направлен излишек населения. В Америке в самом большом городе страны проживает 9 процентов всего населения страны, во Франции — 12, в Англии — свыше 15 процентов. Советский Союз по многим весьма понятным причинам не желает, чтобы число жителей столицы беспорядочно росло, поэтому он с самого начала ограничивает его 2,5 процента всего населения страны.

Гарантии выполнения

Как приятно рядом с расплывчатыми, пустыми обещаниями фашистских четырехлетних планов видеть точность, с которой здесь предусмотрена каждая деталь, осмотрительность, с которой учитываются возможности производства и доставки необходимых материалов, видеть реальность этих возможностей, доказанную осуществленной действительностью.

Пророчество

В официальном изложении «Проекта реконструкции города Москвы» сказано: «Осуществление этого плана работ требует напряжения всех сил, но он будет осуществлен».

Уверенность

Кто однажды был в Москве, знает, что план будет осуществлен.

Некоторые основные права и обязанности граждан (из Конституции)

Глава 10 Конституции Союза Советских Социалистических Республик — «Основные права и обязанности граждан» — предусматривает в своих статьях 118—121:

«Статья 118. Граждане СССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.

Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы.

Статья 119. Граждане СССР имеют право на отдых. Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7 часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы, предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.

Статья 120. Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также — в случае болезни и потери трудоспособности. Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся широкой сети курортов.

Статья 121. Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью образования, включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся».

Новое в Советской Конституции

Как явствует из этого, разница между обычными конституциями демократических стран и Конституцией Советского Союза состоит в том, что хотя в других конституциях и объявлено о правах и свободах граждан, но средства, при помощи которых могли бы быть осуществлены эти права и свободы, не указаны, в то время как в Конституции Советского Союза перечислены даже факты, являющиеся предпосылками подлинной демократии; ведь без определенной экономической независимости невозможно свободное формирование мнения, а страх перед безработицей и нищей старостью и боязнь за будущность детей являются злейшими противниками свободы.

Не бумага, а реальность

Можно спорить о том, все ли 146 статей Советской Конституции осуществлены или некоторые остались только на бумаге. Неоспоримо то, что приведенные четыре статьи — а они кажутся мне предпосылками осуществленной демократии — выражают не бумажные фразы, а настоящую реальность. Если обойти весь большой город Москву, то вряд ли удастся обнаружить в нем что-нибудь противоречащее этим статьям.

Еще раз о счастье советских граждан

Если сопоставить этот факт с тем, что я говорил выше, то можно прийти к следующему выводу: в настоящее время за пределами Советского Союза средний гражданин во многих странах живет пока все еще удобнее, чем средний гражданин в пределах СССР, но эта удобная жизнь построена на неустойчивой почве. Кроме того, зрелище окружающей неописуемой нужды мешает многим наслаждаться благами жизни: их тяготит сознание того, что при разумном урегулировании вещей эту нужду можно было бы устранить. Средний гражданин Союза живет пока еще хуже, чем средний гражданин в некоторых других странах, но он чувствует себя более спокойным, более довольным своей судьбой, более счастливым.

Глава II
КОНФОРМИЗМ И ИНДИВИДУАЛИЗМ

«Вялость» москвичей

Писателю Андре Жиду был представлен поставивший рекорд «стахановец» — рабочий, который, как сообщили Жиду, «не то за пять часов работы выполнил норму восьми дней, не то за восемь часов — норму пяти дней, точно я сейчас уже не помню. Я спросил,— продолжает дальше Жид,— не означает ли это, что прежде этот человек затрачивал восемь дней на выполнение пятичасовой работы». Жид удивляется, что вопрос его был принят холодно и что ему предпочли не отвечать. Это дает Андре Жиду повод для размышлений о «вялости» москвичей. Назвать это «ленью», добавляет он как объективный наблюдатель, «было бы слишком резко». Однако он считает, что в стране, в которой все рабочие действительно работают, стахановское движение было бы излишне. Но у них, в Советском Союзе, говорит он, люди, будучи предоставлены самим себе, немедленно дезорганизуются, поэтому, для того чтобы подстегивать ленивых, было придумано стахановское движение; прежде, говорит он, для этой цели имелся кнут.

Трудолюбие

Поразительные наблюдения делает Андре Жид. Что касается меня, то я должен сказать, что мне бросились в глаза как раз исключительные деловитость, активность, трудолюбие москвичей, которые мчатся по улицам с сосредоточенными лицами, торопливо пересекают, как только вспыхивает зеленый светофор, мостовую, теснятся на станциях метро, бросаются в трамваи, автобусы, суетятся повсюду, как муравьи. На фабриках я почти не видел, чтобы рабочий или работница поднимали глаза на посетителя: настолько они были поглощены собственным делом. Я уже не говорю о тех, кто занимает сколько-нибудь ответственное положение. Эти почти

не уделяют времени для еды, они почти не спят и не видят ничего особенного в том, чтобы вызвать по телефону из театра, во время представления, человека, только для того, чтобы задать ему какой-нибудь срочный вопрос или позвонить ему в три или четыре часа утра по телефону. Я нигде не встречал такого количества неутомимо работающих людей, как в Москве. С другой стороны, я с сожалением замечал, что на этих людях сказываются вредные последствия переутомления, работа совершенно выматывает их. Почти все москвичи, занимающие ответственные посты, выглядят старше своих лет. Если в Нью-Йорке или Чикаго я не обнаружил американских темпов работы, то я обнаружил их в Москве.

Труд

Пора было бы положить конец этой «fable convenue» * о лени русского человека. Народ, который еще двадцать лет тому назад почти задыхался в нищете, грязи и невежестве, является в настоящее время обладателем высокоразвитой промышленности, рационализированного сельского хозяйства, громадного количества новоотстроенных или до основания перестроенных городов и, кроме того, полностью ликвидировал свою неграмотность. Возможно ли, чтобы ленивые по природе люди могли выполнить такую работу? Допустим, что Советскому Союзу посчастливилось найти необычайно талантливых вождей, но даже если бы все гении, которыми на протяжении веков располагало человечество, были собраны в эти двадцать лет в Москве, они не смогли бы заставить ленивый по природе народ проделать такую гигантскую работу. Неудивительно, что крестьяне и рабочие, пока им приходилось гнуть спину для капиталистов и помещиков, считали свой труд бременем и стремились освободиться от него; с тех пор как они увидели, что плоды этого труда идут на пользу им самим, отношение их к труду в корне изменилось.

Распределение богатства, а не бедности

Андре Жид, далее, удивляется, и на этот раз с ним удивляются многие другие, по поводу материального неравенства в Советском Союзе. Меня удивляет его удивление. Мне кажется вполне разумным, что Советский Союз до тех пор, пока он

* Распространенной небылице *(фр.)*.

не сможет осуществить идеальный принцип завершенного коммунизма: «...каждому по потребностям», следует социалистическому принципу: «...каждому по его труду». Мне кажется, что при построении социализма вопрос ставится не о распределении нужды, а о распределении богатства. Но я не вижу, каким путем можно было бы когда-либо достигнуть распределения богатства, если заставлять тех, от кого ждут высокой производительности труда, вести скудную жизнь, которая неблагоприятно отразится на их работоспособности. Теория о том, что граждане Советского государства, все без исключения, должны жить бедно или по меньшей мере весьма скромно до тех пор, пока все не будут иметь возможности жить зажиточно,— эта теория кажется мне атавистическим пережитком представлений первобытного христианства и скорее благочестивой, нежели разумной. Представители такого рода взглядов напоминают мне одного моего родственника, престарелого баварского чиновника, который во время мировой войны спал на голом полу, потому что люди, сидящие в окопах, не имели постелей.

Бесклассовое общество

Опасение, что материальное неравенство может восстановить только что уничтоженные классы, кажется мне ошибочным. Основным принципом бесклассового общества является, пожалуй, то, что каждый с момента своего рождения имеет одинаковую возможность получить образование и выбрать профессию и, следовательно, у каждого есть уверенность в том, что он найдет себе применение в соответствии со своими способностями. А этот основной принцип — чего не оспаривают даже самые ярые противники Советского Союза — проведен в СССР в жизнь. Потому-то я и не наблюдал нигде в Москве раболепства. Слово «товарищ» — это не пустое слово. Товарищ строительный рабочий, поднявшийся из шахты метро, действительно чувствует себя равным товарищу народному комиссару. На Западе, по моим наблюдениям, сыновья крестьян и пролетариев, которым удалось получить образование, подчеркивают свой переход в высший класс и стараются держаться в стороне от своих бывших товарищей по классу. В Советском Союзе интеллигенты из крестьян и рабочих поддерживают тесный контакт с той средой, из которой они вышли.

Два класса — борцы и работники

Все же я заметил в Советском Союзе одно разделение. Молодая история Союза отчетливо распадается на две эпохи: эпоху борьбы и эпоху строительства. Между тем хороший борец не всегда является хорошим работником, и вовсе не обязательно, что человек, совершивший великие дела в период гражданской войны, должен быть пригоден в период строительства. Однако естественно, что каждый, у кого были заслуги в борьбе за создание Советского Союза, претендовал и в дальнейшем на высокий пост, и так же естественно, что к строительству были в первую очередь привлечены заслуженные борцы, хотя бы уже потому, что они были надежны. Однако ныне гражданская война давно стала историей; хороших борцов, оказавшихся негодными работниками, сняли с занимаемых ими постов, и понятно, что многие из них теперь стали противниками режима.

Вредители

Естественно, что, как бы ни были успешно завершены пятилетние планы, проведение их не могло не встретить затруднений,— и в некоторых областях были допущены ошибки. Те, кто работает хорошо, с напряжением всех своих сил, чувствуют, что им мешает слабая или неправильная работа других, и озлобляются. Не рассуждая долго, они приписывают злую волю тому, кто просто не имел достаточной силы для больших достижений, и подозревают его во вредительстве.

Правда

То, что акты вредительства были, не подлежит никакому сомнению. Многие, стоявшие раньше у власти — офицеры, промышленники, кулаки,— сумели окопаться на серьезных участках и занялись вредительством. Если, например, в настоящее время проблема снабжения частных лиц кожей и особенно проблема снабжения обувью все еще недостаточно урегулирована, то, несомненно, виновниками этого являются те кулаки, которые в свое время вредили в области скотоводства. Химическая промышленность и транспорт также долгое время страдали от вредительских актов. Если еще до сих пор принимаются чрезвычайно строгие меры к охране фабрик и машин, то на это имеется много причин, и это вполне обоснованно.

Вымысел

Постепенно, однако, население охватил настоящий психоз вредительства. Привыкли объяснять вредительством все, что не клеилось, в то время как значительная часть неудач должна была быть, наверное, просто отнесена за счет неумения.

Примеры

У меня в гостинице обедал как-то один крупный работник. Официант подавал очень медленно. Мой гость вызвал администратора, пожаловался ему и сказал в шутку: «Ну разве это не вредитель?» Но это уже не шутка, когда слабую работу кинорежиссера или редактора объясняют вредительством или когда утверждают, что плохие иллюстрации к книге на тему о строительстве сельского хозяйства нужно отнести за счет злого умысла художника, пытавшегося своим произведением дискредитировать строительство.

Конформизм

Самый факт, что такой психоз мог распространиться, свидетельствует о существовании того конформизма, в котором многие упрекают Советский Союз. Люди Союза, говорят эти критики, обезличены, их образ жизни, их мнения стандартизованы, нивелированы, унифицированы. «Когда говоришь с одним русским,— сказано у Жида,— говоришь со всеми».

Что в этом правда?

В этих утверждениях есть крупинка правды. Не только плановое хозяйство несет с собой определенную стандартизацию продуктов потребления, мебели, одежды, мелких предметов обихода до тех пор, пока производство готовых изделий еще невысоко развито, но и вся общественная жизнь советских граждан стандартизована в широких масштабах. Собрания, политические речи, дискуссии, вечера в клубах — все это похоже как две капли воды друг на друга, а политическая терминология во всем обширном государстве сшита на одну мерку.

Три пункта

Если, однако, присмотреться поближе, то окажется, что весь этот пресловутый «конформизм» сводится к трем пунктам, а именно: к общности мнений по вопросу об основных принципах коммунизма, к всеобщей любви к Советскому Союзу и к разделяемой всеми уверенности, что в недалеком будущем Советский Союз станет самой счастливой и самой сильной страной в мире.

Коммунизм и советский патриотизм

Таким образом, прежде всего господствует единое мнение насчет того, что лучше, когда средства производства являются не частной собственностью, а всенародным достоянием. Я не могу сказать, чтобы этот конформизм был так уже плох. Да, честно говоря, я нахожу, что он ничуть не хуже господствующего мнения о том, что две величины, порознь равные третьей, равны между собой. И в любви советских людей к своей родине, хотя эта любовь и выражается всегда в одинаковых, подчас довольно наивных формах, я тоже не могу найти ничего предосудительного. Я должен, напротив, признаться, что мне даже нравится наивное патриотическое тщеславие советских людей. Молодой народ ценой неслыханных жертв создал нечто очень великое, и вот он стоит перед своим творением, сам еще не совсем веря в него, радуется достигнутому и ждет, чтобы и все чужие подтвердили ему, как прекрасно и грандиозно это достигнутое.

Большевистская самокритика

Впрочем, такого рода советский патриотизм никоим образом не исключает критику. «Большевистская самокритика» — это никак не пустые слова. В газетах встречаются ожесточеннейшие нападки на бесчисленные, действительные или предполагаемые, недостатки и на руководящих лиц, которые якобы несут ответственность за эти недостатки. Я с удивлением слушал, как яростно критикуют на производственных собраниях руководителей предприятий, и с недоумением рассматривал стенные газеты, в которых прямо-таки зверски ругали или представляли в карикатурах директоров и ответственных лиц. И чужому тоже не возбраняют честно высказывать свое мнение. Я уже упоминал о том, что советские газеты не подвергали цензуре мои статьи, даже если я в них и сетовал на нетерпимость в некоторых областях, или на чрезмерный культ Сталина, или требовал большей ясности в ведении серьезного политического процесса. Более того, газеты заботились о том, чтобы с максимальной точностью передать в переводе все оттенки моих отрицательных высказываний. Руководители страны, с которыми я говорил, были все без исключения больше расположены выслушивать возражения, чем льстивые похвалы. В Советском Союзе охотно сравнивают собственные достижения с достижениями Запада,

сравнивают справедливо, иной раз даже слишком справедливо и, если собственное творение уступает западному, не боятся в этом признаться; да, очень часто они переоценивают успехи Запада, умаляя собственные. Однако, когда чужестранец разменивается на мелочную критику и за маловажными недостатками не замечает значение общих достижений, тогда советские люди начинают легко терять терпение, а пустых, лицемерных комплиментов они никогда не прощают. (Возможно, что резкость, с которой Советский Союз реагировал на книгу Жида, объясняется именно тем, что Жид, находясь в Союзе, все расхваливал и, только очутившись за его пределами, стал выражать свое неодобрение.)

Генеральная линия партии

Вы можете весьма часто услышать и прочитать возражения по поводу тех или иных частностей, но критики генеральной линии партии вы нигде не услышите. В этом вопросе действительно существует конформизм. Отклонений не бывает, или если они существуют, то не осмеливаются открыто проявиться. В чем же состоит генеральная линия партии? В том, что при проведении всех мероприятий она исходит из убеждения, что построение социализма в Советском Союзе на основных участках успешно завершено и что о поражении в грядущей войне не может быть и речи. В этом пункте я тоже не нахожу конформизм таким предосудительным. Если сомнения в правильности генеральной линии еще имели какой-то смысл приблизительно до середины 1935 года, то после середины 1935 года они с такой очевидностью опровергнуты возрастающим процветанием страны и мощью Красной Армии, что consensus omnium * этого пункта равносильно всеобщему признанию здравого смысла.

Конформизм в Москве и Лондоне

В общем и целом конформизм советских людей сводится к всеобщей горячей любви их к своей родине. В других местах это называется просто патриотизмом. Например, если в Англии жестокая потасовка во время футбольного матча немедленно превращается во всеобщую гармонию, как только заиграют национальный гимн, то такое явление редко называют конформизмом.

* Всеобщее признание *(лат.)*.

Любовь к родине, масло, пушки и золото

Правда, между патриотизмом советских людей и патриотизмом жителей других стран существует одно различие: патриотизм Советского Союза имеет с рациональной точки зрения более крепкий фундамент. Там жизнь человека с каждым днем явно улучшается, повышается не только количество получаемых им рублей, но и покупательная сила этого рубля. Средняя реальная заработная плата советского рабочего в 1936 году поднялась по сравнению с 1929 годом на 278 процентов, и у советского гражданина есть уверенность в том, что линия развития в течение еще многих лет будет идти вверх (не только потому, что золотые резервы Германской империи уменьшились до 5 миллионов фунтов, а резервы Советского Союза увеличились до 1400 миллионов фунтов). Гораздо легче быть патриотом, когда этот патриот получает не только больше пушек, но и больше масла, чем когда он получает больше пушек, но вовсе не получает масла.

Поощряемый оптимизм

Следовательно, сам по себе единодушный оптимизм советских людей удивлений не вызывает. Правда, его выражают словами, которые благодаря своему однообразию вскоре начинают казаться банальными. Советские люди только приступают к овладению основами знаний, у них еще не было времени обзавестись богатой оттенками терминологией, и поэтому и патриотизм их выражается пока еще довольно общими фразами. Рабочие, командиры Красной Армии, студенты, молодые крестьянки — все в одних и тех же выражениях рассказывают о том, как счастлива их жизнь, они утопают в этом оптимизме и как ораторы и как слушатели. Власти же стараются поддерживать в них это настроение; стандартизованный энтузиазм, в особенности когда он распространяется через официальные микрофоны, производит впечатление искусственности, и этим объясняется то, что в конце концов даже сочувственно настроенные критики начинают говорить о конформизме.

Литература и театр

Этот стандартизованный оптимизм наносит серьезный ущерб литературе и театру, то есть факторам, которые больше всего могли бы способствовать формированию индивидуальностей. Это прискорбно потому,

что в Советском Союзе существуют исключительно благоприятные условия именно для расцвета литературы и театра. Я ведь уже указывал на то, что гигантская страна, приобщая к духовной жизни огромное большинство населения, находившееся до сих пор в невежестве, подняла на поверхность громадную массу до сих пор скрытых талантов.

Жажда знания и искусства

Ученым, писателям, художникам, актерам хорошо живется в Советском Союзе. Их не только ценит государство, которое бережет их, балует почетом и высокими окладами; они не только имеют в своем распоряжении все нужные им для работы пособия и никого из них не тревожит вопрос, принесет ли им доход то, что они делают,— они помимо всего этого имеют самую восприимчивую публику в мире.

Жажда чтения

Например, жажда чтения у советских людей с трудом поддается вообще представлению. Газеты, журналы, книги — все это проглатывается, ни в малейшей степени не утоляя этой жажды. Я должен рассказать об одном небольшом случае. Я осматривал новую типографию самой распространенной московской газеты «Правда». Мы расхаживали по гигантской ротационной машине, занимающей первое место в мире по своей производительности; в течение двух часов она отпечатывает два миллиона экземпляров газет. Машина в целом похожа на огромный паровоз, и по ее огромной платформе длиной в восемьдесят метров можно разгуливать, как по палубе океанского парохода. Прогуляв по ней около четверти часа, я вдруг обратил внимание на то, что машина занимает только одну половину зала, а другая половина пустует. Я спросил о причине этого. «В настоящее время,— ответили мне,— мы печатаем «Правду» тиражом только в два миллиона. Но у нас имеется еще пять миллионов заявок подписчиков, и как только наши бумажные фабрики будут в состоянии снабжать нас бумагой, мы установим вторую машину».

Грандиозные тиражи

Книги излюбленных авторов также печатаются в тиражах, цифра которых заставляет заграничных издателей широко раскрывать рот. Тираж сочинений Пушкина к концу 1936 года превысил тридцать один миллион экземпляров; книги Маркса и Ленина выпуще-

ны еще большими тиражами; только недостаток в бумаге ограничивает цифры тиражей книг популярных писателей. Книгу такого популярного писателя обычно невозможно получить ни в одном книжном магазине, ни в одной библиотеке; при появлении нового издания сразу же выстраиваются очереди покупателей, и весь тираж, если он достигает даже 20 000, 50 000, 100 000 экземпляров, расхватывается в несколько часов. В библиотеках — их 70 000 — книги любимых авторов должны заказываться за несколько недель вперед. Таким образом, эти книги представляют собой нечто ценное, хотя и продаются по весьма дешевым ценам, так что когда мне сказали: «Деньги вы можете оставлять незапертыми, но книги свои держите, пожалуйста, под замком», то я отнесся к этому не просто как к шутке. Книги известных писателей переводятся на множество языков народов Союза, и их читают национальности, названия которых сам автор с трудом может выговорить.

Влияние книг

Я уже упоминал о том, что советские читатели проявляют к книге более глубокий интерес, чем читатели других стран, и о том, что персонажи книг живут для них реальной жизнью. Герои прочитанного романа становятся в Советском Союзе такими же живыми существами, как какое-нибудь лицо, участвующее в общественной жизни. Если писатель привлек к себе внимание советских граждан, то он пользуется у них такой же популярностью, какой в других странах пользуются только кинозвезды или боксеры, и люди открываются ему, как верующие католики своему духовному отцу.

Наследство

Научные книги также находят там отклик. Новое издание сочинений Канта, выпущенное тиражом в 100 000 экземпляров, было немедленно расхватано. Тезисы умерших философов вызывают вокруг себя такие же дебаты, как какая-нибудь актуальная хозяйственная проблема, имеющая жизненное значение для каждого человека, а об исторической личности спорят так горячо, как будто вопрос касается качеств работающего ныне народного комиссара. Советские граждане равнодушны ко всему, что не имеет отношения к их действительности, но, найдя однажды, что такая-то вещь имеет какое-то отношение к их действительности,

они заставляют ее жить чрезвычайно интенсивной жизнью, и понятие «наследство», которое они очень охотно употребляют, приобретает у них какой-то в высшей степени осязательный характер.

Изобразительные искусства

С изобразительными искусствами дело обстоит так же, как с литературой.

Московские театры

Очень трудно, говоря о московских театрах и фильмах, продолжать повествование в деловом духе и не восторгаться как представлениями, так и публикой. Советские люди — это самые лучшие в мире, самые отважные, полные чувства ответственности режиссеры и музыканты. Как москвичи играют произведения своих собственных композиторов — Чайковского, Римского-Корсакова, «Тихий Дон» молодого Дзержинского, как они играют «Фигаро» или «Кармен» — это не только совершенно в музыкальном отношении: режиссура, актерское исполнение, сценическое оформление — все поражает новизной и необычайной полнотой жизни. Создать произведения, равные произведениям Московского Художественного и Вахтанговского театров, театры других стран не могут: у них, не говоря о таланте, недостает для этого ни денег, ни терпения; чтобы достигнуть такого овладения каждой ролью и такой сыгранности ансамбля, нужно репетировать долгие месяцы, иногда и годы, а это возможно только тогда, когда режиссер не чувствует над собой плетки предпринимателя, заинтересованного только в материальной выгоде. Сценические картины отличаются такой законченностью, какой мне нигде до сих пор не приходилось видеть; декорации, там, где это уместно, например в опере или в некоторых исторических пьесах, поражают своим расточительным великолепием. Раньше увлекались экстравагантностью. Увлечение это утихло, вкусы стали умереннее, однако смелые, интересные эксперименты встречаются и поныне, как, например, пьеса «Много шума из ничего» в Вахтанговском театре. Каждая деталь была легко и грациозно подана, смелость спектакля граничила с дерзостью, а сочетание Шекспира с джазом оказалось прекрасным.

Случается, что в Москве идет одна пьеса одновременно в нескольких театрах, играющих ее в различных стилях, например «Отелло», «Ромео и Джульет-

та», а также оперы и пьесы современных авторов. Я смотрел в двух московских театрах пьесу молодого автора Погодина «Аристократы», рассказывающую о жизни трудового лагеря. Вахтанговцы дают спектакль слегка традиционного стиля, превосходный по качеству, отделанный до мельчайших подробностей. Охлопков играет без декораций, слегка только намекая конструкциями, на двух сценах, сообщающихся между собой деревянными мостками, причем одна сцена поставлена на самой середине зрительного зала. Спектакль чрезвычайно стилизованный, в высшей степени экспериментаторский и действенный.

В провинции

Ленинградский театр, как говорили мне знатоки, почти не уступает московскому, а в некоторых областях даже превосходит его. В провинциях строятся новые прекрасные театральные помещения по последнему слову техники, и столица посылает туда свои испытанные, знаменитые ансамбли, но не на гастроли, а навсегда.

Кинокартины

Кино получает средств еще больше, и кинорежиссер также имеет возможность экспериментировать, не считаясь с расходами. Насколько затраченный труд и издержки целесообразны, свидетельствуют виденные мною фильмы, только что изготовленные или еще не вполне законченные,— Райзмана, Рошаля и прежде всего великолепный, подлинно поэтический фильм Эйзенштейна «Бежин луг» — шедевр, насыщенный настоящим внутренним советским патриотизмом.

Реакция публики

Публика тоже не остается неблагодарной. В Москве тридцать восемь больших театров, бесчисленное множество клубных сцен, любительских кружков. Помимо всего этого еще целый ряд новых театров находится в строительстве. Места во всех театрах почти постоянно распроданы, билет туда достать нелегко; мне рассказывали, что в Художественном театре со дня его основания не было ни одного незанятого кресла. Публика сидит перед сценой или перед полотном экрана, отдавшись целиком своему чувству, жадно впитывая каждый нюанс; при этом она полна наивности, которая одна в состоянии обеспечить подлинное наслаждение произведением искусства. В этой впечатлительной публике чувствуется одновременно и наивность и критическое отношение к окружающему.

Она «смакует» тонкие психологические нюансы не меньше, чем какой-нибудь мастерский декоративный трюк. Это видно из следующего: когда крупный актер Хмелев в роли царя Федора в одноименной исторической драме Толстого, вместо того чтобы решительно выступить, неуверенно улыбается и едва заметно поворачивает шею, как будто его что-то давит, старик, сидевший рядом со мной, тяжело и печально вздохнул; он понял, что царь там, на сцене, усмехается над тем, что счастье не улыбнулось ни ему, ни его государству. А когда Отелло, попавшись на удочку, поверил в любовную связь Дездемоны с Кассио, у молодой женщины, сидевшей около меня, вырвался короткий заглушенный крик, и она отчетливо произнесла: «Дурак». Когда в самом последнем акте «Кармен» стена цирка поднимается и взору горящей нетерпением публики представляется бой быков, над залом с двумя с половиной тысячами слушателей проносится глубокое, счастливое «ах», полное восхищения. Нужно видеть, с каким возмущением зрители на фильме Вишневского «Мы из Кронштадта» смотрят, как белогвардейцы заставляют своих связанных пленников прыгать в море, и с каким негодованием они реагируют на то, что даже совсем юный, пятнадцатилетний пленник подвергается той же участи.

Отрицательное

Я уже отмечал, что советские писатели и театральные работники имеют идеальную публику, к тому же они пользуются весьма щедрой поддержкой государства, и их работа, казалось, должна была бы удовлетворять и радовать их, но, к сожалению, стандартизованный оптимизм, о котором я говорил выше, мешает больше всего именно им.

Терпимость

Художественная политика Советского Союза, по-видимому, не отличается цельностью. Она очень широко открывает двери всей старой литературе, бережно хранит русских и иностранных классиков, «наследство», и к оценке современных западных писателей подходит только с одним масштабом — качество. В Москве выпускаются отдельные издания превосходного журнала «Интернациональная литература» на русском, немецком, английском и китайском языках, и едва ли можно с большим размахом, чем этот журнал, выполнять задачу посредничества между советской печатью

и иностранной литературой. Мечта немецких классиков об «универсальной литературе» и «республике ученых» нигде так не близка к осуществлению, как в Советском Союзе.

Плановое хозяйство в искусстве

Тем более на фоне этой терпимости удивляет политика планового хозяйства, которую применяют в отношении современных советских авторов. Хотя писателей, отклоняющихся от генеральной линии, непосредственно не угнетают, но им явно предпочитают тех, которые во всех своих сочинениях проводят лейтмотив героического оптимизма так часто и неприкрыто, как это только возможно.

Героический оптимизм в книге

Несомненно, основным тоном Советского Союза и по сегодняшний день остался тон героический, способный увлечь художника, а угроза войны, исходящая от фашистских держав, должна оказывать влияние на мышление писателя и художника, заставляя этот героический оптимизм звучать лейтмотивом во многих произведениях. Но я не могу себе представить, чтобы героические темы заняли такое огромное место в книгах, фильмах и театрах, если бы это не поощрялось всеми средствами со стороны руководящих организаций. Несомненно, писателю, рискнувшему отклониться от генеральной линии, приходится не очень легко. Например, имя одного крупного лирика, основными настроениями творчества которого является меланхолия, осенние мотивы, во всяком случае никак не героический оптимизм, не упоминается ни в прессе, ни в общественных местах, несмотря на то что вещи его еще печатаются, его читают и он вообще любим; страх перед запретным пораженчеством выражается у тех, кто заведует средствами производства, иногда прямо-таки в ребяческих формах. Например, рассказ, автором которого является один известный писатель и в котором летчик ставит рекорд и потом гибнет, был вычеркнут из сборника рассказов этого автора сверхбоязливым редактором как «слишком пессимистический».

Героический оптимизм на сцене

Стремление не отклоняться от генеральной линии героического оптимизма находит отражение на сцене еще более остро, чем в книге, а особенно сильно оно звучит в фильмах. Здесь везде вмешиваются

контрольные организации, стремясь за счет художественного качества произведения выправить его политические тенденции, усилить их, подчеркнуть. Несомненно, героический оптимизм создал несколько замечательных произведений, например «Оптимистическую трагедию» Вишневского и его фильм «Мы из Кронштадта», или пьесу Афиногенова «Далекое», или уже упоминавшуюся оперу Дзержинского «Тихий Дон». Здесь тенденция, как бы она ни была заметна, не мешает, хотя, возможно, «Тихий Дон» только выиграл бы от того, если бы в конце красным флагом взмахнули один раз вместо двух. Но в других произведениях, как в кино, так и на сцене, слишком густо поданная тенденция часто портит художественное впечатление, например пьеса «Интервенция» или фильм «Последняя ночь», несомненно, представляющие в техническом отношении очень большое мастерство, отталкивают своими слишком грубо, только белой и черной краской, нарисованными характерами.

Переводчики

Возможно, что кто-нибудь спросит, как это я позволяю себе выносить такие категорические суждения, после того как я сам признавался в недостаточном знании языка. Это дает мне повод пропеть хвалебную песнь в честь русских переводчиков. В Москве привыкли к тому, что приезжающий иностранец не владеет местным языком, и там имеются переводчики, умеющие с удивительной тонкостью входить с вами в контакт. Они сидят в театре или на докладе рядом с вами и шепчут вам на ухо одно переведенное слово за другим так искусно, что одновременно слышишь и русские слова,— пользуешься как бы живым либретто, сидящим рядом с тобой, причем они делают это с таким достойным удивления тактом, что почти забываешь прискорбное отсутствие непосредственного понимания.

«И язык искусства оказался связан властью»

Вернемся к нашей теме. Серьезные современные пьесы или фильмы, если они трактуют иную, неполитическую тему, почти не демонстрируются, поэтому у советских театров и кино весьма скудный репертуар. Одна превосходная опера была снята, так как она не соответствовала линии. Театрам, которые не желают играть исключительно героически-оптимистическое, остаются только классики, и за них хватаются. В мое пребывание в Москве произ-

ведения Шекспира шли не менее чем на восьми сценах; кроме произведений Шекспира в московских театрах можно было увидеть также Бомарше, Шиллера, Островского, Гоголя, Толстого, Горького, Гоцци и переработанный для сцены роман Диккенса — все это в необычайно хорошей постановке. Кинорежиссеры, не желающие ставить только героически-оптимистическое, могут в крайнем случае снимать комедии и шутки. Автор, говорили мне в Москве, если он хочет, чтобы поставили его неполитическую пьесу, должен, если он не называется Горьким, умереть не менее пятидесяти лет назад, и эта шутка звучала немного горько. В общем, художественная политика Советского Союза ведет к тому, что игра артистов в Москве гораздо лучше произведений, которые они играют. Советский Союз имеет великолепный театр, но драмы у него нет.

Причина более строгой цензуры

Так было не всегда. Прежде круг тем московских сцен и фильмов был безусловно шире. Когда спрашиваешь ответственных лиц, почему это изменилось, почему за последний год или два литературная и художественная продукция контролируется строже, чем прежде, то тебе отвечают, что Советскому Союзу угрожает предстоящая в недалеком будущем война и нельзя медлить с моральным вооружением. Вот ответ, который получаешь в Союзе и на некоторые другие вопросы; он объясняет очень многое из того, что вне границ Советского Союза трудно понимается.

Необходима ли цензура?

Однако, по моему мнению, он недостаточно объясняет попечительство и опеку государства над художником. Государство может ставить художнику задачи, но я не считаю полезным, когда оно под более или менее мягким давлением принуждает художника к принятию на себя этих задач и к соблюдению генеральной линии. Я убежден в том, что художник лучше всего разрешает те задачи, которые он сам себе ставит. Кроме того, граждане Советского Союза настолько пропитаны политикой, что эта политика неизбежно сказалась бы в произведениях художников даже в том случае, если бы их и не принуждали к выбору непосредственно политических сюжетов.

Глава III
ДЕМОКРАТИЯ И ДИКТАТУРА

Свобода? Диктатура?

Теперь мы подошли к вопросу, который, когда заходит разговор о Москве текущего, 1937 года, вызывает, пожалуй, самые острые дискуссии. Это вопрос о том, как в Советском Союзе обстоит дело со «свободой».

Формальная и фактическая демократия

Советские люди утверждают, что только они одни обладают фактической демократией и что в так называемых демократических странах эта свобода имеет чисто формальный характер. Демократия означает господство народа; но как же, спрашивают советские люди, может народ осуществлять свое господство, если он не владеет средствами производства? В так называемых демократических странах, утверждают они, народ является номинальным властителем, лишенным власти. Власть принадлежит тем, кто владеет средствами производства. К чему же сводится, спрашивают они далее, так называемая демократическая свобода, если присмотреться к ней повнимательней? Она ограничивается свободой безнаказанно ругать правительство и враждебные политические партии и один раз в три или четыре года пользоваться правом тайно опускать в избирательную урну выборный бюллетень. Но нигде эти «свободы» не дают гарантии или хотя бы только возможности фактически осуществить волю большинства. Как использовать свободу слова, печати и собраний, не располагая в то же время ни типографиями, ни собственной прессой, ни залами для собраний? В какой стране народ имеет все это в своем распоряжении? В какой стране может он эффективно выразить свое мнение и где могут его делегаты эффективно представлять его?

Веймарская конституция считалась самой свободной конституцией в мире. А был ли парламент, избранный на основе избирательного права этой конституции, в состоянии обеспечить проведение воли народа? Смог ли этот парламент воспрепятствовать приходу к власти диктатуры фашистского меньшинства? И советские граждане в заключение заявляют: все так называемые демократические свободы останутся фиктивными свободами до тех пор, пока под них не будет подведен фундамент подлинной народной свободы, то есть пока сам народ не будет распоряжаться средствами производства.

О вреде парламентаризма

«Видите ли,— говорил мне один из ведущих государственных деятелей Советского Союза,— руководящие политики буржуазных демократий так же, как и мы, своевременно поняли, что против военной угрозы фашистских государств успех может иметь только одна-единственная политика — политика контрвооружения. Но, считаясь с такими факторами, как выборы, парламент и искусственно создаваемое общественное мнение, они должны были скрывать свои взгляды или, в лучшем случае, выражать их осторожно, в завуалированном виде. Они были вынуждены прибегать к различным уловкам — к лести или угрозам, для того чтобы добиться от своих парламентов и общественного мнения согласия на необходимые мероприятия. Если бы не было нас и если бы мы не вооружались, то фашисты давно развязали бы войну. Деятельность демократических парламентов в основном сводится к тому, чтобы портить жизнь ответственным деятелям, препятствовать им в проведении необходимых мероприятий или по крайней мере затруднять это проведение. Все достижения так называемого демократического парламентаризма и так называемой демократической свободы печати заключаются в том, что всякий, принимающий участие в общественной жизни, должен либо позволить постоянно обливать себя грязью, либо посвятить свою жизнь опровержению необоснованных оскорблений. Вместо продуктивной работы министры парламентарных государств тратят большую часть своего времени на то, чтобы отвечать на не нужные никому вопросы и доказывать абсурдность вздорных возражений».

Мнение автора Должен признаться, что эту картину я считаю большим, нежели простой карикатурой. В продолжение большей части моей жизни мне самому эти демократические свободы были чрезвычайно дороги, и свобода слова и печати была очень близка моему сердцу писателя. Известное изречение Анатоля Франса — демократия заключается в том, что и богатый и бедный одинаково имеют право ночевать под мостами Сены — казалось мне красивым, но до смешного преувеличенным афоризмом. Первый удар эти мои демократические убеждения получили во время войны, когда я должен был признать, что, несмотря на всю демократию, война продолжается против воли большинства населения. В послевоенные годы я стал все отчетливее замечать пробелы и неувязки обычных демократических конституций, и ныне я склоняюсь к мнению, что буржуазные свободы в большей или меньшей мере являются приманкой, при помощи которой меньшинство проводит свою волю.

На пути к социалистической демократии

Что же касается Советского Союза, то я убежден, что большая часть пути к социалистической демократии им уже пройдена. Ведь это факт, что там средства производства принадлежат народу, а не единицам, и факт также и то, что, в то время как демократические страны своей болтовней о разоружении и своими постоянными уступками давали фашистским государствам стимул к новым проявлениям насилия, один лишь Советский Союз своим планомерным вооружением препятствовал фашизму начать войну против плохо вооруженного мира. Следовательно, руководители Советского Союза не только вправе заявлять с некоторой иронией, что только их «недемократические мероприятия» сделали возможным дальнейшее существование западноевропейских демократий: ведь они фактически создали «демократию», так как они сделали средства производства всенародным достоянием и выковали действенное оружие для защиты этого достояния.

«Свобода есть буржуазный предрассудок»

Противники Советского Союза с большой охотой приводят слова Ленина: «Свобода есть буржуазный предрассудок». Они цитируют неправильно. Ленин утверждает как раз обратное тому, что они пытаются вложить в эту фразу, заим-

ствованную из статьи «Фальшивые речи о свободе», в которой Ленин говорит о «...беспощадном разоблачении мелкобуржуазных демократических предрассудков насчет свободы и равенства...». «Пока не уничтожены классы,— говорит Ленин,— всякие разговоры о свободе и равенстве вообще являются самообманом... Пока остается частная собственность на средства производства... о действительной свободе для человеческой личности — *а не для собственника* — о действительном равенстве... человека и человека — *а не лицемерном равенстве собственника и неимущего,* сытого и голодного, эксплуататора и эксплуатируемого — не может быть и речи».

Хорошая и очень хорошая свобода

Это понимание свободы является для советского гражданина аксиомой. Свобода, дозволяющая публично ругать правительство, может быть, хороша, но еще лучшей он считает ту свободу, которая освобождает его от угрозы безработицы, от нищеты в старости и от заботы о судьбе своих детей.

Сталин и свобода

Эти мысли очень популярно изложены Сталиным в речи на совещании стахановцев. «...К сожалению,— сказал он,— одной лишь свободы далеко еще не достаточно. Если не хватает хлеба, не хватает масла и жиров, не хватает мануфактуры, жилища плохие, то на одной лишь свободе далеко не уедешь. Очень трудно, товарищи, жить одной лишь свободой. Чтобы можно было жить хорошо и весело, необходимо, чтобы блага политической свободы дополнялись благами материальными».

Фриц Маутнер и свобода

Я не могу не процитировать здесь слова не получившего достаточной известности философа, Фрица Маутнера, который следующим образом разъясняет понятие демократической свободы. «Демократическое государство,— говорит он,— это такое государство, граждане которого политически свободны и где на основе старинных, а иногда и более новых суеверий установлен порядок создания законов: постановлениями самых богатых, либо самых старых, либо дольше всех живущих на одном месте, или просто решением большинства. Однако нигде не встречается ясного указания на то, что политическая свобода состоит в том, что глупцы создают законы, которым

все должны подчиняться. Политическая свобода достигается каждый раз путем революции, то есть путем отрицания правовых ограничений, которые также называются свободой».

Свобода слова и печати в Советском Союзе

Вернемся к Советскому Союзу. Статья 125 Конституции Советского Союза гласит: «В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом:

а) свобода слова,

б) свобода печати,

в) свобода собраний и митингов,

г) свобода уличных шествий и демонстраций.

Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления». Эта статья производит отрадное впечатление: она не довольствуется, подобно соответствующим статьям других конституций, предоставлением гарантий свободы слова и печати, но и указывает средства, обеспечивающие эту свободу. Однако практика показывает, что, несмотря на эти гарантии, со свободой слова и печати в Советском Союзе дело обстоит еще далеко не идеально. Как я указывал выше, некоторым писателям приходится часто вздыхать по поводу того, что политические власти водят их на поводу, и мысль, что Платон намеревался вообще изгнать из своего государства всех писателей, является для них слабым утешением.

Построение социалистического государства или свобода ругани?

Хотя я и сожалею, что статья 125 Советской Конституции пока еще не вполне проведена в жизнь, все же, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что Советский Союз не хочет слишком поспешно пройти остаток пути, отделяющий его от полного осуществления построения социалистического государства. Никогда Советскому Союзу не удалось бы достичь того, чего он достиг, если бы он допустил у себя парламентскую демократию западноевропейского толка. Никогда при неограниченной свободе ругани не было бы возможно построить социализм. Никогда правительство, постоянно подвергающееся нападкам со стороны

парламента и печати и зависящее от исхода выборов, не смогло бы заставить население взять на себя тяготы, благодаря которым только и было возможно проведение этого строительства. Руководители Советского Союза, оказавшись перед альтернативой, предлагавшей им либо тратить весьма значительную часть своих сил на отражение бессмысленных и злобных нападок, либо бросить все свои силы на завершение строительства, высказались за ограничение свободы ругани.

«И это называется демократией»

Однако насмешки, ворчание и злопыхательство являются для многих столь излюбленным занятием, что они считают жизнь без них невозможной. На всех языках для этого занятия имеется множество различных слов, и я себе представляю, что некоторым ограничение свободы ругаться кажется чистым деспотизмом. Поэтому-то многие и называют Советский Союз противоположностью демократии и даже доходят до того, что утверждают, будто между Союзом и фашистской диктатурой не существует разницы. Жалкие слепцы! В основном диктатура Советов ограничивается запрещением распространять словесно, письменно и действием два взгляда: во-первых, что построение социализма в Союзе невозможно без мировой революции и, во-вторых, что Советский Союз должен проиграть грядущую войну. Тот же, кто, исходя из этих двух запретов, выводит заключение о полной однородности Советского Союза с фашистскими диктатурами, упускает, как мне кажется, из виду одно существенное различие, а именно: что Советский Союз запрещает агитировать за утверждение, что дважды два — пять, в то время как фашистские диктатуры запрещают доказывать, что дважды два — четыре.

Сначала победа, а потом вопрос о пуговицах на форме

Конечно, советские люди стремятся исправить те недостатки, которые пока еще заметны в их общественной жизни. Что они этого хотят, они доказали принятием Конституции и ликованием, с которым они ее встретили. Но они люди осторожные, умные и последовательные, и, как в свое время, прежде чем приступить к производству предметов потребления в более широких масштабах, они обеспечили государство сырьем и машинами,

так и теперь, прежде чем предоставить отдельным гражданам все права социалистической демократии, они хотят обеспечить существование этой демократии, победив в войне или устранив ее угрозу. «Ничего, товарищ, мы войско, находящееся в походе,— сказал мне один из руководителей Союза, когда мы говорили о недостатках, которые еще уродуют социалистическую демократию.— Прежде всего мы должны победить. А потом мы сможем заняться вопросом, как лучше пришивать пуговицы к форме — немного выше или немного ниже».

Демократический диктатор

«Чего вы, собственно, хотите? — спросил меня шутливо один советский филолог, когда мы говорили с ним на эту же тему.— Демократия — это господство народа, диктатура — господство одного человека. Но если этот человек является таким идеальным выразителем народа, как у нас, разве тогда демократия и диктатура не одно и то же?»

Культ Сталина

Эта шутка имеет очень серьезную почву. Поклонение и безмерный культ, которыми население окружает Сталина,— это первое, что бросается в глаза иностранцу, путешествующему по Советскому Союзу. На всех углах и перекрестках, в подходящих и неподходящих местах видны гигантские бюсты и портреты Сталина. Речи, которые приходится слышать, не только политические речи, но даже и доклады на любые научные и художественные темы, пересыпаны прославлениями Сталина, и часто это обожествление принимает безвкусные формы.

Примеры

Вот несколько примеров. Если на строительной выставке, которой я восхищался выше, в различных залах установлены бюсты Сталина, то это имеет свой смысл, так как Сталин является одним из инициаторов проекта полной реконструкции Москвы. Но по меньшей мере непонятно, какое отношение имеет колоссальный некрасивый бюст Сталина к выставке картин Рембрандта, в остальном оформленной со вкусом. Я был также весьма озадачен, когда на одном докладе о технике советской драмы я услышал, как докладчик, проявлявший до сих пор чувство меры, внезапно разразился восторженным гимном в честь заслуг Сталина.

● Культ личности... Так позже назовут эпоху Сталина, что, в сущности, не даст и приблизительного представления о ее самых страшных чертах — большом терроре и всеохватной, всепроникающей фальсификации жизни. Ну а культ Сталина — лишь фасад того времени, когда даже похороны революционерки Клары Цеткин интересовали очень и очень многих лишь с одной точки зрения — на них присутствовал Сталин.

● ● Лениниана в ее нынешнем виде во многом создавалась по замыслу Сталина, которому гораздо больше, чем живой образ вождя, требовался образ канонизированный, иконописный. Такой Ленин не мог помешать «гениальному продолжателю гениального дела» стать «Лениным сегодня».

По образу и подобию Ленинианы создавалась Сталиниана...

● ● ● Песни о Сталине. Поэмы о Сталине. Фильмы о Сталине. Оратории, картины, спектакли, герой которых он, Сталин. Он поистине всегда был с нами. Открывали книгу, включали радио, выходили на улицу. Всюду — он. Чтобы мы, не дай бог, не остались наедине с собой.

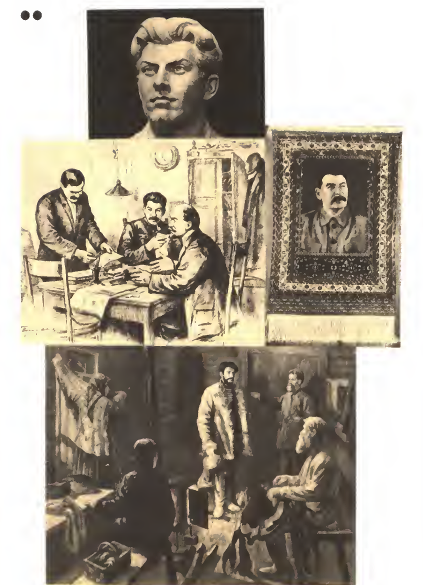
Наверное, никому другому в истории человечества, за все века его существования, при жизни не воздавались такие почести. Сталин, увековеченный в слове и камне, в нотах и красках. Всезнающий. Всевидящий. Всемогущий.

И это было не в мрачное средневековье, когда верили в колдунов и ведьм,— это было в XX веке. На нашей памяти.

РОЖЕКТОР

ОГОНЕК













● «На мое замечание о безвкусном, преувеличенном преклонении перед его личностью,— написал Л. Фейхтвангер,— он пожал плечами. Он извинил своих крестьян и рабочих тем, что они были слишком заняты другими делами и не могли развить в себе хороший вкус, и слегка пошутил по поводу сотен тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с усами,— портретов, которые мелькают у него перед глазами во время демонстраций».

● ● Соратники. Уже не все помнят, кто состоял в ближайшем окружении Хрущева, хотя по времени эти годы гораздо ближе к нашим. Но соратники Сталина у всех на памяти. Берия, Жданов, Маленков, Каганович, Молотов, Ворошилов... Их долго называли верными ленинцами, а сегодня они предстают как соучастники преступлений против человека и человечности.

Но при чем же здесь М. Горький, великий пролетарский писатель? — спросит удивленный читатель. Его-то никак не причислишь к соратникам. Он не написал даже очерк о Сталине. Неужели уже тем, что, при его огромном таланте и авторитете, он не восстал против тирана, Горький провинился перед народом, перед потомками? Неужели, сказав: если враг не сдается, его уничтожают, он как бы независимо от своей воли сделал нечто достойное звания верного соратника Сталина? Не слишком ли мы строги, когда речь идет о выдающемся человеке, попавшем в сети бесчеловечного режима?..

● ● ● У Фейхтвангера о нем сказано:

«Троцкий представляется мне типичным только-революционером, очень полезный во времена патетической борьбы, он ни к чему не пригоден там, где требуется спокойная, упорная, планомерная работа вместо патетических вспышек».

Андре Жид написал:

«Другая опасность — «троцкизм» и то, что там называют «контрреволюцией». Есть люди, которые отказываются считать, что нарушение принципов вызвано необходимостью. Эти уступки кажутся им поражением. Им не важно, что отступление от первых декретов находит свое объяснение и оправдание, им важен сам факт этого отступления. Но сейчас требуются только приспособленчество и покорность. Всех недовольных будут считать «троцкистами».








МУСОРНЫЙ ЯЩИК

● Традиция, которая тянется оттуда, из тех лет. Трактор — трудовой подарок к торжественной дате. Победа физкультурииков — в честь партийного форума илн комсомольской коиференцни. Агнтациоиные рейсы газет, прнзваиные популярнзировать идеи великого вождя. И Беломоркаиал, построеииый иа костях безвиииo осуждеииых, тоже будет представлеи как одио из велнких свершеиий советского иарода, вдохиовлеииого велнкими идеями. Идеологизация жизии, всех ее сфер, постепеиио станет у нас иормой. А истоки этого явления — там, в 20-х и 30-х...

● ● Суд да дело... Пока одии судили, приговаривали к смерти нли каторге, другие, дружио заклеймив «предателей и отступников», с эитузиазмом сооружали железные дороги, вытачнвали иа стаиках различные деталн,— в иих нуждалась страиа. «На прониски врагов ответим ударным трудом! Еще тесиее сплотнмся вокруг товарища Сталииа!» — звали газеты. И страна в святой своей простоте верила вершителям правосудия, верила каждому слову велнкого Сталииа. Да и был лн у иее другой выход?..

● ● ● Вечиые цениостн... И тогда цвелн цветы, вспыхивали иа иебе звезды, волшебиым блеском светились в темноте фоитаиы Петергофа, звучали песии, грела души любовь. И лишь одна вечиая цениость — человеческая жизнь — вдруг резко упала в цеие.


ИЗВЕ





ТРУДЯЩИМСЯ СТРАНЫ СОВЕТОВ—КРАСИВЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ

ФОНТАНЫ ПЕТЕРГОФА.

[illegible]

Фот [illegible]

● Время в лицах. Рабочие завода «Серп и молот» голосуют за расстрел врагов народа. Единогласно. На скамье подсудимых — участники «шахтинского дела». Железного наркома Ежова славит в своих стихах народный акын... Мистификация воли народа — подлог, преступление, равнозначное осквернению святынь.

● ● Раскулачивание, судебные процессы 30-х годов, их жертвы — Бухарин, Рыков, Радек...

«Диктатура пролетариата» — обещали нам. Далеко до этого,— пишет Андре Жид.— Да, конечно: диктатура. Но диктатура одного человека, а не диктатура объединившегося пролетариата, Советов. Важно не обольщаться и признать без обиняков: это вовсе не то, чего хотели. Еще один шаг, и можно будет даже сказать: это как раз то, чего не хотели».

Добавим от себя: этот шаг был сделан.

● ● ● Вот они, вершители правосудия: Вышинский, Ежов... А первым среди них был, конечно, тот, с множеством имен — «друг детей», «друг физкультурников», если угодно, «друг народа», вместе с «верными соратниками» определявший (втайне от народа), кого народу считать другом, а кого врагом.



Подсудимые на пороге суда

Песня о батыре Ежове

[illegible]













2

ПРИГОВОР

Военной Коллегии Верховного Суда СССР

(ОКОНЧАНИЕ)

Предварительным и судебным следствием установлено, что подсудимые по данному делу — **Зеленский, Иванов и Зубарев** вступили на путь борьбы с революционным движением рабочего класса еще в годы царизма.

Зеленский состоял агентом-провокатором Самарского жандармского управления с 1911 по 1912 год.

Иванов состоял агентом-провокатором охранного отделения и жандармского управления в Москве и других городах с 1911 по 1916 год.

Зубарев, будучи завербован в число агентов-провокаторов в гор. Котельниче в 1908 году, занимался провокаторской деятельностью до 1917 года.

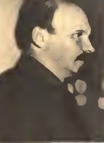
Таким образом **Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР** установила виновность 1. **Бухарина** Н. И., 2. **Рыкова** А. И., 3. **Ягоды** Г. Г., 4. **Крестинского** Н. Н., 5. **Раковского** Х. Г., 6. **Розенгольца** А. П., 7. **Иванова** В. И., 8. **Чернова** М. А., 9. **Гринько** Г. Ф., 10. **Зеленского** И. А., 11. **Бессонова** С. А., 12. **Икрамова** А., 13. **Ходжаева** Ф., 14. **Шаранговича** В. Ф., 15. **Зубарева** П. Т., 16. **Буланова** П. П., 17. **Левина** Л. Г., 18. **Плетнева** Д. Д., 19. **Казакова** И. Н., 20. **Максимова-Диковского** В. А. и 21. **Крючкова** П. П. — в том, кроме того, в совершении преступлений предусмотренных ст. 58-13 УК РСФСР.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 319 и 320 УПК РСФСР, **Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР**

ПРИГОВОРИЛА:

1. **Бухарина** Николая Ивановича,
2. **Рыкова** Алексея Ивановича,
3. **Ягоду** Генриха Григорьевича,
4. **Крестинского** Николая Николаевича,
5. **Розенгольца** Аркадия Павловича,
6. **Иванова** Владимира Ивановича,
7. **Чернова** Михаила Александровича,
8. **Гринько** Григория Федоровича,
9. **Зеленского** Исаака Абрамовича,
10. **Икрамова** Акмаля,
11. **Ходжаева** Файзуллу,
12. **Шаранговича** Василия Фомича,
13. **Зубарева** Прокопия Тимофеевича,
14. **Буланова** Павла Петровича,
15. **Левина** Льва Григорьевича,
16. **Казакова** Игнатия Николаевича,
17. **Максимова-Диковского** Вениамина Адамовича (Абрамовича) и
18. **Крючкова** Петра Петровича —

— **к высшей мере уголовного наказания — расстрелу,** с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества.






ТРЕБУЕМ
РАССТРЕЛА!
ДРУГ
ДЕТЕЙ
СТАЛЬНЫЕ ЕЖОВЫ РУКАВИЦЫ

Основания Не подлежит никакому сомнению, что это чрезмерное поклонение в огромном большинстве случаев искренне. Люди чувствуют потребность выразить свою благодарность, свое беспредельное восхищение. Они действительно думают, что всем, что они имеют и чем они являются, они обязаны Сталину. И хотя это обожествление Сталина может показаться прибывшему с Запада странным, а порой и отталкивающим, все же я нигде не находил признаков, указывающих на искусственность этого чувства. Оно выросло органически, вместе с успехами экономического строительства. Народ благодарен Сталину за хлеб, мясо, порядок, образование и за создание армии, обеспечивающей это новое благополучие. Народ должен иметь кого-нибудь, кому он мог бы выражать благодарность за несомненное улучшение своих жизненных условий, и для этой цели он избирает не отвлеченное понятие, не абстрактный «коммунизм», а конкретного человека — Сталина. Русский склонен к преувеличениям, его речь и жесты выражают в некоторой мере превосходную степень, и он радуется, когда он может излить обуревающие его чувства. Безмерное почитание, следовательно, относится не к человеку Сталину — оно относится к представителю явно успешного хозяйственного строительства. Народ говорит: Сталин, разумея под этим именем растущее процветание, растущее образование. Народ говорит: мы любим Сталина, и это является самым непосредственным, самым естественным выражением его доверия к экономическому положению, к социализму, к режиму.

Народность Сталина К тому же Сталин действительно является плотью от плоти народа. Он сын деревенского сапожника и до сих пор сохранил связь с рабочими и крестьянами. Он больше, чем любой из известных мне государственных деятелей, говорит языком народа. Сталин определенно не является великим оратором. Он говорит медлительно, без всякого блеска, слегка глуховатым голосом, затруднительно. Он медленно развивает свои аргументы, апеллирующие к здравому смыслу людей, постигающих не быстро, но основательно. Но главное у Сталина — это юмор, обстоятельный, хитрый, спокойный, порой беспощадный крестьянский юмор. Он охотно приводит в своих речах юмористические

строки из популярных русских писателей, он выбирает смешное и дает ему практическое применение, некоторые места его речей напоминают рассказы из старинных календарей. Когда Сталин говорит со своей лукавой приятной усмешкой, со своим характерным жестом указательного пальца, он не создает, как другие ораторы, разрыва между собой и аудиторией, он не возвышается весьма эффектно на подмостках, в то время как остальные сидят внизу,— нет, он очень быстро устанавливает связь, интимность между собой и своими слушателями. Они сделаны из того же материала, что и он; им понятны его доводы; они вместе с ним весело смеются над простыми историями.

Техника его речи

Я не могу не привести примера, подтверждающего народный характер сталинского красноречия. Он говорит, например, о конституции и насмехается над официозом «Дейтше Корреспонденц», который заявляет, что Конституция Советского Союза не может быть признана действительной конституцией, так как Советский Союз представляет не что иное, как географическое понятие.

Бюрократ и Америка

«Что можно сказать,— спрашивает Сталин,— о таких, с позволения сказать, «критиках»? И он рассказывает весело настроенному собранию: «В одном из своих сказок-рассказов великий русский писатель Щедрин дает тип бюрократа-самодура, очень ограниченного и тупого, но до крайности самоуверенного и ретивого. После того как этот бюрократ навел во «вверенной» ему области «порядок и тишину», истребив тысячи жителей и спалив десятки городов, он оглянулся кругом и заметил на горизонте Америку, страну, конечно, малоизвестную, где имеются, оказывается, какие-то свободы, смущающие народ, и где государством управляют иными методами. Бюрократ заметил Америку и возмутился: что это за страна, откуда она взялась, на каком таком основании она существует? Конечно, ее случайно открыли несколько веков тому назад, но разве нельзя ее снова закрыть, чтоб духу ее не было вовсе? И, сказав это, наложил резолюцию: «Закрыть снова Америку!»

Сталин и его национал-социалистический критик

«Мне кажется,— объясняет Сталин собранию,— что господа из «Дейтше Дипломатиш-Политише Корреспонденц» как две капли воды похожи на щедринского бюрократа. Этим господам СССР давно уже намозолил глаза. Девятнадцать лет стоит СССР как маяк, заражая духом освобождения рабочий класс всего мира и вызывая бешенство у врагов рабочего класса. И он, этот СССР, оказывается, не только просто существует, но даже растет, и не только растет, но даже преуспевает, и не только преуспевает, но даже сочиняет проект новой Конституции, проект, возбуждающий умы, вселяющий новые надежды угнетенным классам. Как же после этого не возмущаться господам из германского официоза? Что это за страна, вопят они, на каком таком основании она существует, и если ее открыли в октябре 1917 года, то почему нельзя ее снова закрыть, чтобы духу ее не было вовсе? И, сказав это, постановили: закрыть снова СССР, объявить во всеуслышание, что СССР, как государство, не существует, что СССР есть не что иное, как простое географическое понятие!

Непослушная действительность

Кладя резолюцию о том, чтобы закрыть снова Америку, щедринский бюрократ, несмотря на всю свою тупость, все же нашел в себе элементы понимания реального, сказав тут же про себя: «Но, кажется, сие от меня не зависит». Я не знаю, хватит ли ума у господ из германского официоза догадаться, что «закрыть» на бумаге то или иное государство они, конечно, могут, но если говорить серьезно, то «сие от них не зависит»...

Москва должна говорить громко, если она хочет, чтобы ее услышал Владивосток

Так говорит Сталин со своим народом. Как видите, его речи очень обстоятельны и несколько примитивны; но в Москве нужно говорить очень громко и отчетливо, если хотят, чтобы это было понятно даже во Владивостоке. Поэтому Сталин говорит громко и отчетливо, и каждый понимает его слова, каждый радуется им, и его речи создают чувство близости между народом, который их слушает, и человеком, который их произносит.

Политический деятель, а не частное лицо

Впрочем, Сталин, в противоположность другим стоящим у власти лицам, исключительно скромен. Он не присвоил себе никакого громкого титула и называет себя просто Секретарем Центрального Комитета. В общественных местах он показывается только тогда, когда это крайне необходимо; так, например, он не присутствовал на большой демонстрации, которую проводила Москва на Красной площади, празднуя принятие Конституции, которую народ назвал его именем. Очень немногое из его личной жизни становится известным общественности. О нем рассказывают сотни анекдотов, рисующих, как близко он принимает к сердцу судьбу каждого отдельного человека, например он послал в Центральную Азию аэроплан с лекарствами, чтобы спасти умирающего ребенка, которого иначе не удалось бы спасти, или как он буквально насильно заставил одного чересчур скромного писателя, не заботящегося о себе, переехать в приличную, просторную квартиру. Но подобные анекдоты передаются только из уст в уста и лишь в исключительных случаях появляются в печати. О частной жизни Сталина, о его семье, привычках почти ничего точно не известно. Он не позволяет публично праздновать день своего рождения. Когда его приветствуют в публичных местах, он всегда стремится подчеркнуть, что эти приветствия относятся исключительно к проводимой им политике, а не лично к нему. Когда, например, съезд постановил принять предложенную и окончательно отредактированную Сталиным Конституцию и устроил ему бурную овацию, он аплодировал вместе со всеми, чтобы показать, что он принимает эту овацию не как признательность ему, а как признательность его политике.

Один тост в кругу друзей

Сталину, очевидно, докучает такая степень обожания, и он иногда сам над этим смеется. Рассказывают, что на обеде в интимном дружеском кругу в первый день нового года Сталин поднял свой стакан и сказал: «Я пью за здоровье несравненного вождя народов великого, гениального товарища Сталина. Вот, друзья мои, это последний тост, который в этом году будет предложен здесь за меня».

Откровенность и простота

Сталин выделяется из всех мне известных людей, стоящих у власти, своей простотой. Я говорил с ним откровенно о безвкусном и не знающем меры культе его личности, и он мне также откровенно отвечал. Ему жаль, сказал он, времени, которое он должен тратить на представительство. Это вполне вероятно; Сталин — мне много об этом рассказывали и даже документально это подтверждали — обладает огромной работоспособностью и вникает сам в каждую мелочь, так что у него действительно не остается времени на излишние церемонии. Из сотен приветственных телеграмм, приходящих на его имя, он отвечает не больше чем на одну. Он чрезвычайно прямолинеен, почти до невежливости, и не возражает против такой же прямолинейности своего собеседника.

Сто тысяч портретов человека с усами

На мое замечание о безвкусном, преувеличенном преклонении перед его личностью он пожал плечами. Он извинил своих крестьян и рабочих тем, что они были слишком заняты другими делами и не могли развить в себе хороший вкус, и слегка пошутил по поводу сотен тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с усами,— портретов, которые мелькают у него перед глазами во время демонстраций. Я указываю ему на то, что даже люди, несомненно обладающие вкусом, выставляют его бюсты и портреты — да еще какие! — в местах, к которым они не имеют никакого отношения, как, например, на выставке Рембрандта. Тут он становится серьезен. Он высказывает предположение, что это люди, которые довольно поздно признали существующий режим и теперь стараются доказать свою преданность с удвоенным усердием. Да, он считает возможным, что тут действует умысел вредителей, пытающихся таким образом дискредитировать его. «Подхалимствующий дурак,— сердито сказал Сталин,— приносит больше вреда, чем сотня врагов». Всю эту шумиху он терпит, заявил он, только потому, что он знает, какую наивную радость доставляет праздничная суматоха ее устроителям, и знает, что все это относится к нему не как к отдельному лицу, а как к представителю течения, утверждающего, что построение социалистического хозяйства в Советском Союзе важнее, чем перманентная революция.

Партийное постановление

Впрочем, партийные комитеты Москвы и Ленинграда уже вынесли постановления, строго осуждающие «фальшивую практику ненужных и бессмысленных восхвалений партийных руководителей», и со страниц газет исчезли чересчур восторженные приветственные телеграммы.

Великая цель

В общем и целом новая демократическая Конституция, которую Сталин дал Советскому Союзу,— это не просто декорация, на которую можно посматривать, высокомерно пожимая плечами. Пусть средства, которые он и его соратники применяли, зачастую и были не совсем ясны — хитрость в их великой борьбе была столь же необходима, как и отвага,— Сталин искренен, когда он называет своей конечной целью осуществление социалистической демократии.

Глава IV

НАЦИОНАЛИЗМ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ

Статья Конституции

«...Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения — караются законом»,— гласит 123-я статья Советской Конституции.

Национальная проблема

Глава 2 Конституции — Государственное устройство — перечисляет множество национальностей, и, когда на московском съезде видишь перед собой всю эту разнообразную массу голов — грузинских, туркменских, узбекских, киргизских, таджикских, калмыцких, якутских,— только тогда становится ясно, какую непомерно трудную задачу представляла проблема объединения этих национальностей под знаком серпа и молота. На разрешение национальной проблемы Союзу понадобилось некоторое время. Но теперь он ее окончательно урегулировал; он доказал, что национализм с интернационализмом сочетать возможно.

Разрешение этой проблемы

Когда в 1924 году Сталин заявил о том, что русский крестьянин несет в себе возможность социализма, то есть, другими словами, мог бы, сохраняя свою национальность, стать интернациональным, он был высмеян своими противниками, объявившими его утопистом. В настоящее время практика доказала правильность сталинской теории: крестьяне — от Белоруссии до Дальнего Востока — приобщены к социализму. Любовь советских людей к своей родине не уступает любви фашистов к их родине; но тут любовь к *советской* родине, а это означает, что любовь эта зиждется

не только на мистическом подсознании, но что она скреплена прочным цементом разума. Великий практический психолог Сталин совершил чудо, заставив служить целям интернационального социализма патриотизм множества народов. Ныне это стало действительностью: жители отдаленных сибирских поселений воспринимают нападение Германии и Италии на Испанскую республику с таким возмущением, как будто это касается их непосредственно. В каждом доме Советского Союза висит карта Испании, и я сам видел, как в районах вокруг Москвы крестьяне оставляли работу и отказывались от еды, чтобы успеть на радиопередачу о событиях в Испании. Советскому Союзу удалось пробудить даже у сельского населения, при всем его национализме, чувство международной солидарности.

Национальное по форме, интернациональное по содержанию

Сталинская формула — культура, «национальная по форме, интернациональная * по содержанию» — в настоящее время проведена в жизнь. Социализм проявляется в Союзе на многих языках и в разнообразных формах, национальных по выражению и интернациональных по существу. Национальные особенности автономных республик — язык, искусство, фольклор всякого вида бережно и с любовью охраняются; народам, понимавшим до сих пор устное слово, дали письменность. Везде созданы национальные музеи, научные институты для изучения национальных традиций, национальные оперные и драматические театры, стоящие на высоком уровне. Я видел восторг, с которым москвичи — люди, искушенные в театральных зрелищах, принимали грузинскую оперу, которая шла в их Большом театре.

Разрешение еврейского вопроса

В том, насколько здорова и действенна национальная политика Советского Союза, меня лучше всего убедил примененный Союзом метод разрешения трудного, казавшегося неразрешимым, еврейского вопроса. Царский министр Плеве, по его собственным словам, не мог придумать иного выхода, как только принудить одну треть евреев к обращению в христианство, другую треть — к эмиграции, а третью — к вымиранию. Советский Союз нашел

* У Сталина — «социалистическая». *Ред.*

другой выход. Он ассимилировал большую часть своего пятимиллионного еврейского населения и, предоставив другой части обширную автономную область и средства для ее заселения, создал себе миллионы трудолюбивых, способных граждан, фанатически преданных режиму.

Удовлетворенность евреев

Я сталкивался в Советском Союзе со многими евреями из различных кругов и, интересуясь положением еврейского вопроса, подробно беседовал с ними. Исключительные темпы производственного процесса требуют людей, рук, ума; евреи охотно включились в этот процесс, и это благоприятствовало их ассимилированию, которое в Советском Союзе шагнуло гораздо дальше, чем где бы то ни было. Случалось, что евреи говорили мне: «Я уже многие годы не думал о том, что я еврей; только ваши вопросы снова напоминают мне об этом». Единодушие, с которым евреи, встречавшиеся мне, подчеркивали свое полное согласие с новым государственным строем, было трогательно. Раньше их бойкотировали, преследовали; они не имели профессии, жизнь их не имела смысла,— теперь они крестьяне, рабочие, интеллигенты, солдаты, полные благодарности новому порядку.

Еврейские крестьяне

Необыкновенна жадность, с которой евреи, долгие годы оторванные от земледелия, бросаются на этот открывшийся им новый род занятий. Ко мне много раз являлись представители от еврейских колхозов с приглашением посетить их. Но меня интересовали больше рассказы советских крестьян не евреев об этих колхозах: я полагал, что антисемитизм, если он существует, должен проявиться здесь больше, чем где-либо. Тут выяснилось, что эти крестьяне не евреи первоначально действительно были полны суеверных представлений о евреях и считали евреев абсолютно непригодными к земледелию. Теперь они только добродушно посмеивались над своими прежними предрассудками. Мне рассказывали о большом дружеском соревновании между евреями-поселенцами и не евреями на Украине, в Крыму и в Донской области. Донские казаки говорили мне: не победа евреев в сельскохозяйственном соревновании рассеяла их старое недоверие к ним, а то, что евреи оказались лучшими наездниками.

Молодая еврейская интеллигенция

Страсть, с которой евреи, отрезанные в продолжение сотен лет от образования и науки, устремились теперь в эти новые области, тоже очень велика. Мне говорили, что в еврейских селах ощущается заметный недостаток в людях в возрасте приблизительно от пятнадцати до тридцати лет: вся еврейская молодежь уходит в город учиться.

«Вредная иллюзия еврейской народности»

Таким образом, если хозяйственное развитие Советского Союза, с одной стороны, благоприятствовало ассимиляции евреев, то, с другой — Советский Союз, окончательно ликвидировав тезис о «вредной иллюзии еврейской народности», дал возможность своим евреям сохранить их национальность.

Еврейский национализм в Советском Союзе

Национализм советских евреев отличается некоторого рода трезвым воодушевлением. Как неромантично, практично и вместе с тем отважно это воодушевление, рисуют следующие два факта. Первый — это то, что своим языком советский еврей признает не насыщенный традициями, благородный, но и не очень целесообразный древнеиудейский язык, а выросший из обыденной жизни, составленный из разнородных элементов еврейский, который по меньшей мере пятью миллионами людей признан разговорным языком. А второй факт — тот, что страна, предоставленная евреям для устройства их национального государства, страна, в которой они поселились, отдаленна и жизнь в ней трудна, но она таит в себе неограниченные возможности.

Еврейский язык

К еврейскому языку, как и ко всем национальным языкам в Советском Союзе, относятся с любовью. Существуют еврейские школы, еврейские газеты, первоклассная еврейская поэзия, для развития языка созываются съезды; еврейские театры пользуются большим успехом. Я видел в Московском государственном еврейском театре превосходную постановку «Король Лир», с крупным артистом Михоэлсом в главной роли и с замечательным шутом Зускиным,— постановку, блестяще инсценированную, с чудесными декорациями.

Еврейское государство Биробиджан — это утопия

Устройство иациоиальиого еврейского государства натолкнулось виачале иа неимоверные трудности, и противники Союза, да и не только они одии, считали, что этот проект является столь же дерзким и безнадежиым предприятием, как и построение социалистического хозяйства в одной стране. Недостаток финаисовых средств затрудиял осуществление проекта; многие из переселеицев уезжали обратно, и противники, уже торжествуя, объявили, что этот утопический плаи, как оии предсказывали с самого начала, потерпел крушение из-за отдалениости области, из-за иеблагоприятиых геологических условий почвы, малярии, местного бича — комаров, а больше всего из-за непригодности вырождающихся русских провииципальных евреев к пиоиерской деятельиости.

Еврейское государство Биробиджан — это действительность

Однако теперь в Биробиджаие стоит иастоящий город — со школами, больницами, правительствеииыми зданиями, театром, и прямого сообщения экспресс привозит вас туда прямо из Москвы. Хотя план иммиграции иа ближайшие три года предусматривает переселеиие ста тысяч евреев, все же властям приходится проводить весьма строгий отсев, так как желающих переселиться слишком много. Я получил из Биробиджана миого писем и говорил с довольно большим количеством людей, приехавших оттуда. Жизиь там — этого никто ие отрицает — пока еще тяжела, ио никто ие отрицает и того, что самое трудиое уже сделаио и что мнимая утопия превратилась в действительиость. Еврейская социалистическая республика Биробиджан существует. Оиа крепко стоит иа месте, хотя геологические условия почвы так же не допускают этого, как вечиые закоиы иациоиальиой экономии ие допускают построения социалистического хозяйства в одиой, отдельио взятой страие.

Глава V
МИР И ВОЙНА

Начнется ли завтра война?

Повсюду на земле много говорят о приближающейся войне, и вопрос: «Когда, думаете вы, начнется война?» — является излюбленной темой разговора. Но, несмотря на то что каждый заигрывает с мыслью о войне, на Западе никто, за исключением жителей фашистских стран, не принимает ее по-настоящему, всерьез, подобно тому как люди живут и строят планы, не принимая серьезно в расчет собственную смерть, хотя и не сомневаются в ее неизбежности. Однако в Советском Союзе каждый на все сто процентов уверен в предстоящей в ближайшем будущем войне. Уже одно растущее с каждым днем процветание нашей страны, говорят советские люди, является таким очевидным опровержением всех фашистских теорий, что фашистские государства должны, если они хотят сами жить, нас уничтожить. Как ремесленники, жившие продуктами труда своих рук и примитивных инструментов, почувствовав себя под угрозой машин, объединились и напали на эти машины, так и фашистские государства в конце концов нападут на нас. Правда, вожди их прекрасно понимают, что война против нас неизбежно повлечет за собой их собственную гибель. Все же эту войну вести им придется. Хозяйственные затруднения, которые они себе сами создали, в конце концов принудят их к этому. Правительство не может, подобно тому как это делает, например, германское, отнимать у своего народа масло и жиры, отнимать у него все больше продуктов питания и предметов первой необходимости, обещая взамен отлить пушки, которые вернут им все сторицей, и при этом оставлять эти пушки вечно только в качестве декорации.

«Человек германского духа никогда не будет интеллигентом»

Нелегкая задача — рассказать, как рисует себе фашистов средний советский гражданин. Приверженцы Гитлера, Муссолини, Франко кажутся ему своего рода первобытными людьми, дикарями, которые, несмотря на свое современное техническое вооружение, не имеют элементарнейших понятий о цивилизации. Фашисты, думает советский гражданин, считают цивилизацию своим злейшим врагом и поэтому посягают на жизнь его, советского гражданина, как представителя этой враждебной им цивилизации. Из всех изречений немецких фашистов советские люди запомнили особенно крепко одно. Оно помещено в официальном Календаре германцев, распространилось не только в Германской империи, но и на всем Востоке и гласит: «Человек германского духа никогда не будет интеллигентом». А так как все советские люди — каждый крестьянин, рабочий и солдат — стремятся именно к тому, чтобы стать интеллигентами, то германский фашист является для них олицетворением враждебного принципа. Они питают к нему, собственно, не ненависть, а скорее отвращение, как к неприятному, ядовитому насекомому.

В одной руке лопатка каменщика, в другой — меч

Каждый шестой рубль общих поступлений в Союзе отчисляется на мероприятия по обороне против фашистов. Это тяжелая жертва. Советский гражданин знает, что все неудобства, которые еще по сей день делают жизнь в Союзе труднее, чем на Западе, были бы давно устранены, если бы только можно было распоряжаться этим шестым рублем. Всякий мог бы лучше одеться, лучше жить. Но советские люди знают также, что у границ их злобные глупцы с нетерпением выжидают момента для нападения на них и что эти границы они должны действенно охранять. Поэтому над строительством своего социалистического хозяйства они трудятся так, как трудились евреи над постройкой своего второго храма — с лопаткой каменщика в одной руке и с мечом — в другой. О войне говорят не как о событии далекого будущего, а как о факте, предстоящем в ближайшем будущем. Войну рассматривают как жестокую необходимость, ждут ее с досадой, но с уверенностью в себе, как болезненную операцию, которую

нужно перетерпеть и благоприятный исход которой не подлежит сомнению.

Потребность в мире

Вместе с тем, разумеется, делается все, чтобы как можно дольше задержать взрыв войны или даже, вопреки всякой вероятности, избежать ее. Союз кровно заинтересован в возможно более длительном сохранении мира. Он как раз начал обставлять свой дом, комнаты становятся уютнее, он сам становится с каждым днем богаче и сильнее. Таким образом, он испытывает потребность полюбоваться своим домом, когда он будет окончательно закончен, не вступая в драку с злым соседом; он знает также, что, чем дольше ему удастся оттянуть войну, тем сильнее он будет сам и тем меньше жертв будет ему стоить его конечная победа.

Готовность к войне

Но так как считают, что эту войну остановить ничто не может и что она завтра уже будет действительностью, то к ней готовятся. Именно этой готовностью к войне объясняется, как было сказано, многое из того, что иначе осталось бы непонятным. Я уже говорил о военных пьесах и военных фильмах, которые господствуют в репертуаре, о бесчисленных книгах и произведениях, воспевающих героизм партизан в гражданской войне и во время интервенции. Едва ли на фронте за четыре года мировой войны можно было увидеть столько убитых, сражений и боев, сколько я видел на сценах и экранах за десять недель моего пребывания в Москве.

«Наша Армия»

Отчетливее всего эта готовность к войне проявляется в положении, которое занимает Красная Армия. Она является народным войском в особо глубоком смысле этого слова; если вообще какое-нибудь войско в мире может называться «Наша Армия», то это именно она. Нужно слышать собственными ушами, с какой любовью советские люди говорят об этой «Нашей Армии». Между армией и населением существует тесный контакт. Не только командиры в огромном большинстве вышли из крестьянских и пролетарских слоев, так что мышление вождей, солдат и населения совершенно одинаково, но и вообще гражданское население во всех отношениях тесно связано с армией. Солдаты чувствуют себя в рабочих клубах как дома, отдельные

воинские части шефствуют над организациями культурного и спортивного типа, каждое звено армии в свою очередь дружески связано с отдельной областью, с отдельным городским районом, с отдельной рабочей или крестьянской организацией. Во время больших демонстраций армия демонстрирует не отдельно, она идет вместе с гражданским населением.

Ее культурные задачи

Подобно римской армии, Красная Армия считает одной из серьезнейших своих функций колонизаторскую деятельность, продолжение обучения населения. Красная Армия построила прекрасные театры, монументальные библиотеки и в высшей степени щедро поддерживает кино. Она издает ряд газет и журналов общекультурного значения. На одном чае, который дал в честь меня виднейший московский литературный журнал «Знамя», я удивился, увидев среди присутствующих чрезвычайно много командиров. Мне объяснили, что этот журнал издается и поддерживается армией.

Писатели и солдаты

Бросается в глаза разносторонность интересов военных, особенно их повышенный интерес к литературе. Писатель Лев Троцкий был одним из организаторов Красной Армии, и писатели еще поныне играют в ней большую роль. Я знаю нескольких генералов, которые занимают высокие посты одновременно и в Красной Армии, и в журналистике. Многие писатели принимали участие в империалистической и гражданской войнах, некоторые и теперь еще занимают командные посты в армии, и почти все советские писатели интересуются военными вопросами. Один из руководителей армии, напоминающий, между прочим, прусского офицера лучшей старой школы, завоевал известность как лирический поэт; его стихи очень хорошо читаются и в немецком переводе, отредактированном им самим. С другой стороны, один русский писатель немало способствовал благоприятному ходу борьбы в Испании. Я не знаю другой страны, в которой так часто сочеталась бы писательская одаренность с военными способностями; громадное количество авторов и редакторов считают, что, возможно, уже завтра, вместо того чтобы продолжать диктовать рукопись, они будут командовать военными частями.

Ответственность Узкий профессионализм редко встречается в Красной Армии как среди офицеров, так и среди солдат. Может быть, это происходит оттого, что все эти люди знают, что им предстоит война, которая потребует от каждого из них большего, чем только военных знаний.

Разумный энтузиазм Психологическое преимущество, которое в случае войны будет иметь Красная Армия перед своими противниками, заключается в том, что ее солдаты будут бороться за дело, дорогое им не только в силу неясного чувства патриотизма, но и потому, что это дело они считают своим.

Глава VI
СТАЛИН И ТРОЦКИЙ

Борец и работник

В Советском Союзе, как было сказано выше, имеются люди, проявившие себя не только как борцы, но и как организаторы промышленности и сельского хозяйства. Иосиф Сталин представляется мне именно таким человеком. У него боевое, революционное прошлое; он победоносно провел оборону города Царицына, ныне носящего его имя; по его докладу Ленину осенью 1918 года — доклад в семьдесят строк — в общий военный план были внесены коренные изменения. Однако творчество Сталина, организатора социалистического хозяйства, превосходит даже его заслуги борца.

Автопортрет Троцкого

Рисуя свой собственный портрет — прекрасно написанную автобиографию,— Лев Троцкий стремится доказать, что и он, Троцкий, является тоже талантливым человеком, великим борцом и великим вождем строительства. Но мне кажется, что как раз эта попытка, предпринятая лучшим адвокатом Троцкого — им самим, только подтверждает, что его заслуги, в лучшем случае, ограничиваются его деятельностью в период войны.

Великий политик?

Автобиография Троцкого, несомненно, является произведением превосходного писателя и, возможно, даже человека с трагической судьбой. Но образа крупного государственного деятеля она не отражает. Для этого, как мне кажется, оригиналу недостает личного превосходства, чувства меры и правильного взгляда на действительность. Беспримерное высокомерие заставляет его постоянно пренебрегать границами

возможного, и эта безмерность, столь положительная для писателя, необычайно вредит концепции государственного деятеля. Логика Троцкого парит, мне кажется, в воздухе; она не основывается на знании человеческой сущности и человеческих возможностей, которое единственно обеспечивает прочный политический успех. Книга Троцкого полна ненависти, субъективна от первой до последней строки, страстно несправедлива: в ней неизменно мешается правда с вымыслом. Это придает книге много прелести, однако такого рода умонастроение вряд ли может подсказать политику правильного решения.

Характерная деталь

Мне кажется, что даже одной мелкой детали достаточно, чтобы ярко осветить превосходство Сталина над Троцким. Сталин дал указание поместить в большом официальном издании «Истории гражданской войны», редактируемом Горьким, портрет Троцкого. Между тем Троцкий в своей книге злобно отвергает все заслуги Сталина, оборачивая его качества в их противоположность, и книга его полна ненависти и язвительной насмешки по отношению к Сталину.

Верные слова

Конечно, побежденному человеку трудно оставаться объективным. Это понимает и сам Троцкий, выразивший это в прекрасных словах. «Я не привык,— заключает он в предисловии к своей книге,— рассматривать исторические перспективы под углом зрения личной судьбы. Познать закономерность событий и найти в этой закономерности свое место — вот первейшая обязанность революционера. И она доставляет высшее личное удовлетворение человеку, который не связывает своей задачи сегодняшним днем».

Видел лучшее, но выбрал худшее

Никто, я думаю, не смог бы более определенно указать на опасность, перед которой оказался Троцкий после своего падения и которой подвергается каждый побежденный, а именно опасность «рассматривать исторические перспективы под углом зрения личной судьбы». Троцкий сознавал эту опасность. Он понимал, перед свершением какой ошибки он стоит. Он видел эту ошибку, которой суждено было его заманить. Видел, решил ее не делать — и сделал. Зная, что́ лучше, он выбрал худшее.

Пафос и истерия

Троцкий представляется мне типичным только-революционером, очень полезный во времена патетической борьбы, он ни к чему не пригоден там, где требуется спокойная, упорная, планомерная работа вместо патетических вспышек. Мир и люди после окончания героической эпохи революции стали представляться Троцкому в искаженном виде. Он стал неправильно воспринимать вещи. В то время как Ленин давно приспособил свои взгляды к действительности, упрямый Троцкий продолжал крепко держаться принципов, оправдавших себя в героическо-патетическую эпоху, но неприменимых при выполнении задач, выдвинутых потребностями текущего дня. Троцкий умеет — и это видно из его книги — в момент большого напряжения увлечь за собой массы. Он, вероятно, был способен в патетическую минуту зажечь массы порывом энтузиазма. Но он был неспособен ввести этот порыв в русло, «канализировать» его, обратив на пользу строительства великого государства.

Это умеет Сталин.

Прирожденный писатель

Троцкий прирожденный писатель. Он с любовью рассказывает о своей литературной деятельности, и я ему верю на слово, когда он говорит, что «хорошо написанная книга, в которой встречаешь новые мысли, и хорошее перо, при помощи которого можно поделиться собственными мыслями с другими, были и являются для меня наиболее ценными и близкими благами культуры». Трагедия Троцкого заключается в том, что его не удовлетворяла перспектива стать большим писателем. Повышенная требовательность сделала из него сварливого доктринера, стремившегося принести и принесшего несчастья, и это заставило огромные массы забыть его заслуги.

Писатель, но не политик

Я хорошо знаю этот тип писателей и революционеров, хотя и в несколько уменьшенном масштабе. Некоторые руководители германской революции, как Курт Эйснер и Густав Ландауер, имели, правда в миниатюре, немало общего с Троцким. Упорная приверженность к догме, неумение приспособиться к изменившимся условиям, короче говоря, отсутствие практически-политической психологии сделало этих теоретиков и доктринеров только на очень короткое

время пригодными к политическим действиям. Большую часть своей жизни они были хорошими писателями, а не политиками. Они не сумели найти пути к народу. Они слишком слабо разбирались в психологии народа и массы. Они соприкасались с массами, но массы не шли к ним.

Расхождения в характере и во взглядах

Не подлежит сомнению, что расхождения во взглядах по решающим вопросам являются причиной большого конфликта между Троцким и Сталиным, и эти расхождения вытекают из глубоких противоречий. Различие характеров этих людей являлось причиной тому, что они приходили к противоположным выводам в важнейших вопросах русской революции — в национальном вопросе, в вопросе о роли крестьянства и возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталин утверждал, что полное осуществление социализма возможно и без мировой революции и что при соблюдении национальных интересов отдельных советских народов социализм может быть построен в одной, отдельно взятой стране; он считал, что русский крестьянин способен построить социализм. Троцкий это оспаривал. Он утверждал, что мировая революция является необходимой предпосылкой для построения социализма. Он упорно держался марксистского учения об абсолютном интернационализме, защищал тактику перманентной революции и, приводя множество логических доводов, настаивал на правильности марксистского положения о невозможности построения социализма в одной стране.

Прав оказался Сталин

Не позднее 1935 года весь мир признал, что социализм в одной стране построен и что, более того, эта страна вооружена и готова к защите от любого нападения.

Что мог сделать Троцкий?

Что же мог сделать Троцкий? Он мог молчать. Он мог признать себя побежденным и заявить о своей ошибке. Он мог примириться со Сталиным. Но он этого не сделал. Он не мог решиться на это. Человек, который раньше видел то, чего не видели другие, теперь не видел того, что было видно каждому ребенку. Питание было налажено, машины работали, сырье добывалось в невиданных ранее размерах, страна была

электрифицирована, механизирована. Троцкий не хотел этого признать. Он заявил, что именно быстрый подъем и лихорадочные темпы строительства обусловливают непрочность этого строительства. Советский Союз — «государство Сталина», как он его называл,— должен рано или поздно потерпеть крах и без постороннего вмешательства, и он, несомненно, потерпит крах в случае нападения на него фашистских держав. И Троцкий разражался вспышками беспредельной ненависти к человеку, под знаменем которого осуществлялось строительство.

Попробуем теперь представить себе Сталина.

Первые шаги Сталина

Еще в ранние годы Сталин занимался проблемами, требовавшими своего разрешения немедленно после окончания войны. Уже в 1913 году Ленин писал Горькому: «У нас здесь есть один чудесный грузин, который работает над большой статьей по национальному вопросу, вопросу, которым надлежит серьезно заняться» *.

Трудности восхождения

И Сталин занялся этим вопросом. У него были идеи. Он проявил себя организатором. Но Сталин не ослеплял; он оставался в тени рядом со сверкающим, суетливым Троцким. Троцкий хороший оратор, пожалуй, лучший из существующих. Он очаровывает. Сталин говорит, как я уже указывал, не без юмора, но пространно, рассудительно. Он упорным трудом завоевывал себе популярность, которая другому легко давалась. Своим успехом он обязан только себе.

Он выступает вперед

Блеск Троцкого, не всегда неподдельный, в продолжение многих лет мешал заметить действительные заслуги Сталина. Но наступило время, когда идеи только-борца Троцкого начали становиться ошибочными и подгнивать; первым это заметил и высказал Сталин. Уже в декабре 1924 года Сталину стало окончательно ясно, что, в противоположность прежней теории, построение полного социалистического общества в одной, отдельно взятой стране возможно. Уже тогда он последовательно, более отчетливо и в более острых формулировках, чем Ленин, указал путь к этому построению — усиленная индустриализация

* Цитата неточная. См. Полн. собр. соч. Т. 48. С. 162. *Ред.*

страны и объединение крестьян в артели. Он в ясных словах провозгласил то, что до сих пор оспаривалось, а именно: при правильной политике партии решающая часть русского крестьянства может быть втянута в социалистическое общество, и он обосновал это утверждение простыми, убедительными и неопровержимыми аргументами.

Неопровержимые аргументы

Троцкий своей блестящей риторикой опроверг так же неопровержимо неопровержимые аргументы Сталина. Сталин знал, что выдвинутые им аргументы действительно неопровержимы, но он видел, что многие верили в блестящие по форме и фальшивые по содержанию возражения Троцкого.

Неопровержимые дела

Сталин не ограничивался одними правильными высказываниями. Он работал, он шел по правильному пути. Он объединил крестьян в артели, развивал промышленность, возделывал почву для социализма в Советском Союзе и строил социализм. Действительность, создаваемая им, опровергала неопровержимые теории Троцкого.

«Катон на стороне побежденных»

«Боги на стороне победителей, Катон на стороне побежденных». Троцкий не хотел признать себя побежденным. Он выступал с пламенными речами, писал блестящие статьи, брошюры, книги, называя в них сталинскую действительность иллюзией, потому что она не укладывалась в его теории. Троцкий мешал. Съезд партии высказался против него — он был сослан, а затем изгнан из страны.

Магия тезисов

Дело Сталина процветало, добыча угля росла, росла добыча железа и руды; сооружались электростанции; тяжелая промышленность догоняла промышленность других стран; строились города; реальная заработная плата повышалась, мелкобуржуазные настроения крестьян были преодолены, их артели давали доходы,— все более возрастающей массой они устремлялись в колхозы. Если Ленин был Цезарем Советского Союза, то Сталин стал его Августом, его «умножателем» во всех отношениях. Сталинское строительство росло и крепло. Но Сталин должен был заметить, что все еще имелись люди, которые не хотели верить в это реальное, осязаемое дело,

которые верили тезисам Троцкого больше, чем очевидным фактам.

Опасные друзья

Да, именно среди людей, другом которых был Сталин, которым он поручил ответственные посты, нашлись некоторые, поверившие больше в слово Троцкого, чем в дело Сталина. Они мешали этому делу, чинили ему препятствия, саботировали его. Они были привлечены к ответственности, их вина была установлена. Сталин простил их, назначил их снова на высокие посты.

Чрезмерно приверженные

Что должен был продумать и прочувствовать Сталин, узнав о том, что эти его товарищи и друзья, невзирая на явный успех его начинаний, все еще продолжали тянуться к его врагу Троцкому, тайно переписывались с ним и, стремясь вернуть своего старого вождя в СССР, старались нанести вред его — Сталина — делу.

В период между двумя процессами

Когда я увидел Сталина, процесс против первой группы троцкистов — против Зиновьева и Каменева — был закончен, обвиняемые были осуждены и расстреляны и против второй группы троцкистов — Пятакова, Радека, Бухарина и Рыкова — было возбуждено дело; но никому еще не было известно в точности, какое обвинение им предъявляется и когда и против кого из них будет начат процесс. Вот в этот промежуток времени, между двумя процессами, я и увидел Сталина.

Сталин

На портретах Сталин производил впечатление высокого, широкоплечего, представительного человека. В жизни он скорее небольшого роста, худощав; в просторной комнате Кремля, где я с ним встретился, он был как-то незаметен.

Манера говорить

Сталин говорит медленно, тихим, немного глухим голосом. Он не любит диалогов с короткими, взволнованными вопросами, ответами, отступлениями. Он предпочитает им медленные обдуманные фразы. Говорит он очень отчетливо, иногда так, как если бы он диктовал. Во время разговора расхаживает взад и вперед по комнате, затем внезапно подходит к собеседнику и, вытянув по направлению к нему указательный

палец своей красивой руки, объясняет, растолковывает или, формулируя свои обдуманные фразы, рисует цветным карандашом узоры на листе бумаги.

Скрытно и откровенно

Тема моего разговора со Сталиным не была заранее согласована. Никакой темы я и не подготовлял, я ждал, что она возникнет сама собой под впечатлением человека и момента. Втайне я боялся, что наш разговор превратится в более или менее официальную, приглаженную беседу, подобную тем, которые Сталин вел два-три раза с западными писателями. Вначале действительно беседа направилась по такому руслу. Мы говорили о функции писателя в социалистическом обществе, о революционном воздействии, которое иногда оказывают даже реакционные писатели, как, например, Гоголь, о классовой принадлежности или бесклассовости интеллигенции, о свободе слова и литературы в Советском Союзе. Вначале Сталин говорил осторожно, общими фразами. Однако постепенно он изменил свое отношение, и вскоре я почувствовал, что с этим человеком я могу говорить откровенно. Я говорил откровенно, и он отвечал мне тем же.

Стиль речи

Сталин говорит неприкрашенно и умеет даже сложные мысли выражать просто. Порой он говорит слишком просто, как человек, который привык так формулировать свои мысли, чтобы они стали понятны от Москвы до Владивостока. Возможно, он не обладает остроумием, но ему, несомненно, свойствен юмор; иногда его юмор становится опасным. Он посмеивается время от времени глуховатым, лукавым смешком. Он чувствует себя весьма свободно во многих областях и цитирует, по памяти, не подготовившись, имена, даты, факты всегда точно.

Своеобразие

Мы говорили со Сталиным о свободе печати, о демократии и, как я писал выше, об обожествлении его личности. В начале беседы он говорил общими фразами и прибегал к известным шаблонным оборотам партийного лексикона. Позднее я перестал чувствовать в нем партийного руководителя. Он предстал передо мной как индивидуальность. Не всегда соглашаясь со мной, он все время оставался глубоким, умным, вдумчивым.

Сталин и «Иуда»

Он взволновался, когда мы заговорили о процессах троцкистов. Рассказал подробно об обвинении, предъявленном Пятакову и Радеку, материал которого в то время был еще неизвестен. Он говорил о панике, в которую приводит фашистская опасность людей, не умеющих смотреть вперед. Я еще раз упомянул о дурном впечатлении, которое произвели за границей даже на людей, расположенных к СССР, слишком простые приемы в процессе Зиновьева. Сталин немного посмеялся над теми, кто, прежде чем согласиться поверить в заговор, требует предъявления большого количества письменных документов; опытные заговорщики, заметил он, редко имеют привычку держать свои документы в открытом месте. Потом он заговорил о Радеке — писателе, наиболее популярной личности среди участников второго троцкистского процесса,— говорил он с горечью и взволнованно; рассказывал о своем дружеском отношении к этому человеку. «Вы, евреи,— обратился он ко мне,— создали бессмертную легенду — легенду о Иуде». Как странно мне было слышать от этого обычно такого спокойного, логически мыслящего человека эти простые патетические слова. Он рассказал о длинном письме, которое написал ему Радек и в котором тот заверял в своей невиновности, приводя множество лживых доводов; однако на другой день, под давлением свидетельских показаний и улик, Радек сознался.

Противоположное в характерах Сталина и Троцкого

Ненавидит ли Иосиф Сталин Льва Троцкого как человека? Он, вероятно, должен его ненавидеть. Я уже указывал на то, что противоположность их характера в такой же мере разделяет их, как и противоположность во взглядах. Едва ли можно представить себе более резкие противоположности, чем красноречивый Троцкий с быстрыми, внезапными идеями, с одной стороны, и простой, всегда скрытный, серьезный Сталин, медленно и упорно работающий над своими идеями,— с другой. «Внезапная идея — это не мысль,— сказано у австрийского писателя Грильпарцера.— Мысль знает свои границы. Внезапные идеи пренебрегают ими и, осуществляясь, не сходят с места». У Льва Троцкого, писателя,— молниеносные, часто неверные внезапные

идеи; у Иосифа Сталина — медленные, тщательно продуманные, до основания верные мысли. Троцкий — ослепительное единичное явление. Сталин — поднявшийся до гениальности тип русского крестьянина и рабочего, которому победа обеспечена, так как в нем сочетается сила обоих классов. Троцкий — быстро гаснущая ракета, Сталин — огонь, долго пылающий и согревающий.

Еще о противоположностях

Драматурга, который пожелал бы изобразить в своем произведении две столь противоположные индивидуальности, обвинили бы в надуманности и погоне за эффектами. Троцкий ловок в речи и жестах, он без труда изъясняется на многих языках, он высокомерен, красочен, остроумен. Сталин скорее монументален; упорной работой в духовной семинарии он завоевывал свое образование. Он не ловок, но он близко знает нужды своих крестьян и рабочих, он сам принадлежит к ним, и он никогда не был вынужден, как Троцкий, искать дорогу к ним, находясь на чужом участке. Разве эта красочность, подвижность, двуличие, надменность, ловкость в Троцком не должны быть Сталину столь же противны, как Троцкому твердость и угловатость Сталина?

Ненависть

Сталин видит перед собой грандиознейшую задачу, которая требует отдачи всех сил даже исключительно сильного человека; а он вынужден отдавать очень значительную часть своих сил на ликвидацию вредных последствий блестящих и опасных причуд Троцкого. «Небольшевистское прошлое Троцкого это не случайность»,— говорится в завещании Ленина *. Сталин, несомненно, постоянно помнит об этом, и он видит в Троцком человека, который благодаря своей большой гибкости может в любой момент, уверенный в правильности своих убеждений, повернуть обратно к своему небольшевистскому прошлому. Да, Сталин должен ненавидеть Троцкого, во-первых, потому, что всем своим существом тот не подходит к Сталину, а во-вторых, потому, что Троцкий всеми своими речами, писаниями, действиями, даже просто своим существованием подвергает опасности его — Сталина — дело.

---

* Цитата неточная. См. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 345. *Ред.*

Ненависть-любовь

Но отношения Сталина и Троцкого друг к другу не исчерпываются вопросами их соперничества, ненависти, различия характеров и взглядов. Великий организатор Сталин, понявший, что даже русского крестьянина можно привести к социализму, он, этот великий математик и психолог, пытается использовать для своих целей своих противников, способностей которых он никоим образом не недооценивает. Он заведомо окружил себя многими людьми, близкими по духу Троцкому. Его считают беспощадным, а он в продолжение многих лет борется за то, чтобы привлечь на свою сторону способных троцкистов, вместо того чтобы их уничтожить, и в упорных стараниях, с которыми он пытается использовать их в интересах своего дела, есть что-то трогательное.

Глава VII

ЯСНОЕ И ТАЙНОЕ В ПРОЦЕССАХ ТРОЦКИСТОВ

Процессы против троцкистов

С другой стороны, тот же Сталин решил в конце концов вторично привлечь своих противников — троцкистов к суду, обвинив их в государственной измене, шпионаже, вредительстве и другой подрывной деятельности, а также в подготовке террористических актов. В процессах, которые своей «жестокостью и произволом» возбудили против Советского Союза мир, противники Сталина, троцкисты, были окончательно разбиты. Они были осуждены и расстреляны.

Личные ли это мотивы Сталина?

Объяснять эти процессы — Зиновьева и Радека — стремлением Сталина к господству и жаждой мести было бы просто нелепо. Иосиф Сталин, осуществивший, несмотря на сопротивление всего мира, такую грандиозную задачу, как экономическое строительство Советского Союза, марксист Сталин не станет, руководствуясь личными мотивами, как какой-то герой из классных сочинений гимназистов, вредить внешней политике своей страны и тем самым серьезному участку своей работы.

Участие автора в процессах

С процессом Зиновьева и Каменева я ознакомился по печати и рассказам очевидцев. На процессе Пятакова и Радека я присутствовал лично. Во время первого процесса я находился в атмосфере Западной Европы, во время второго — в атмосфере Москвы. В первом случае на меня действовал воздух Европы, во втором — Москвы, и это дало мне возможность особенно остро ощутить ту грандиозную разницу, которая существует между Советским Союзом и Западом.

Впечатления от процессов за границей

Некоторые из моих друзей, люди вообще довольно разумные, называют эти процессы от начала до конца трагикомичными, варварскими, не заслуживающими доверия, чудовищными как по содержанию, так и по форме. Целый ряд людей, принадлежавших ранее к друзьям Советского Союза, стали после этих процессов его противниками. Многих, видевших в общественном строе Союза идеал социалистической гуманности, этот процесс просто поставил в тупик; им казалось, что пули, поразившие Зиновьева и Каменева, убили вместе с ними и новый мир.

В Западной Европе — одно

И мне тоже, до тех пор, пока я находился в Европе, обвинения, предъявленные на процессе Зиновьева, казались не заслуживающими доверия. Мне казалось, что истерические признания обвиняемых добываются какими-то таинственными путями. Весь процесс представлялся мне какой-то театральной инсценировкой, поставленной с необычайно жутким, предельным искусством.

В Москве — другое

Но когда я присутствовал в Москве на втором процессе, когда я увидел и услышал Пятакова, Радека и их друзей, я почувствовал, что мои сомнения растворились, как соль в воде, под влиянием непосредственных впечатлений от того, что говорили подсудимые и как они это говорили. Если все это было вымышлено или подстроено, то я не знаю, что тогда значит правда.

Проверка

Я взял протоколы процесса, вспомнил все, что я видел собственными глазами и слышал собственными ушами, и еще раз взвесил все обстоятельства, говорившие за и против достоверности обвинения.

Маловероятность обвинений против Троцкого

В основном процессы были направлены прежде всего против самой крупной фигуры — отсутствовавшего обвиняемого Троцкого. Главным возражением против процесса являлась мнимая недостоверность предъявленного Троцкому обвинения. «Троцкий,— возмущались противники,— один из основателей Советского государства, друг Ленина, сам давал директивы препятствовать строительству государства, одним из основателей которого он был, стремился разжечь войну против Союза и подготовить

его поражение в этой войне? Разве это вероятно? Разве это мыслимо?»

Вероятность обвинений против Троцкого

После тщательной проверки оказалось, что поведение, приписываемое Троцкому обвинением, не только не невероятно, но даже является единственно возможным для него поведением, соответствующим его внутреннему состоянию.

Причины

Нужно хорошо себе представить этого человека, приговоренного к бездействию, вынужденного праздно наблюдать за тем, как грандиозный эксперимент, начатый им вместе с Лениным, превращается в некоторого рода гигантский мелкобуржуазный шреберовский сад *. Ведь ему, который хотел пропитать социализмом весь земной шар, «государство Сталина» казалось — так он говорил, так писал — пошлой карикатурой на то, что первоначально ему представлялось. К этому присоединялась глубокая личная неприязнь к Сталину, соглашателю, который ему, творцу плана, постоянно мешал и в конце концов изгнал его. Троцкий бесчисленное множество раз давал волю своей безграничной ненависти и презрению к Сталину. Почему, выражая это устно и в печати, он не мог выразить этого в действии? Действительно ли это так «невероятно», чтобы он, человек, считавший себя единственно настоящим вождем революции, не нашел все средства достаточно хорошими для свержения «ложного мессии», занявшего с помощью хитрости его место? Мне это кажется вполне вероятным.

Алкивиад у персов

Мне кажется, далее, также вероятным, что если человек, ослепленный ненавистью, отказывался видеть признанное всеми успешное хозяйственное строительство Союза и мощь его армии, то такой человек перестал также замечать непригодность имеющихся у него средств и начал выбирать явно неверные пути. Троцкий отважен и безрассуден; он великий игрок. Вся жизнь его — это цепь авантюр; рискованные предприятия очень часто удавались ему. Будучи всю свою жизнь оптимистом, Троцкий считал себя достаточно сильным, чтобы быть в состоянии использовать для

---

* Шребер (1808—1861) — врач, основатель «Шреберовских обществ», имевших целью воспитание юношества. *Ред.*

осуществления своих планов дурное, а затем в нужный момент отбросить это дурное и обезвредить его. Если Алкивиад пошел к персам, то почему Троцкий не мог пойти к фашистам?

Ненависть изгнанного к изгнавшему

Русским патриотом Троцкий не был никогда. «Государство Сталина» было ему глубоко антипатично. Он хотел мировой революции. Если собрать все отзывы изгнанного Троцкого о Сталине и о его государстве воедино, то получится объемистый том, насыщенный ненавистью, яростью, иронией, презрением. Что же являлось за все эти годы изгнания и является и ныне главной целью Троцкого? Возвращение в страну любой ценой, возвращение к власти.

Шекспир о Троцком

Кориолан Шекспира, придя к врагам Рима — вольскам, рассказывает о неверных друзьях, предавших его. «И пред лицом патрициев трусливых,— говорит он заклятому врагу Рима,— бессмысленными криками рабов из Рима изгнан я. Вот почему я здесь теперь — пред очагом твоим. Я здесь для мщенья. С врагом моим я за изгнанье должен расплатиться».

Так отвечает Шекспир на вопрос о том, возможен ли договор между Троцким и фашистами.

Ленин о Троцком

Небольшевистское прошлое Троцкого — это не случайность. Так отвечает Ленин в своем завещании на вопрос о том, возможен ли договор между Троцким и фашистами.

Троцкий о Троцком

Эмиль Людвиг сообщает о своей беседе с Троцким, состоявшейся вскоре после высылки Троцкого на Принцевы Острова, около Стамбула. Эту беседу Эмиль Людвиг опубликовал в 1931 году в своей книге «Дары жизни». То, что было высказано уже тогда, в 1931 году, Троцким, должно заставить призадуматься всех, кто находит обвинения, предъявленные ему, нелепыми и абсурдными. «Его собственная партия,— сообщает Людвиг (я цитирую дословно.— *Л. Ф.*),— по словам Троцкого, рассеяна повсюду и поэтому трудно поддается учету. «Когда же она сможет собраться?» — Когда для этого представится какой-либо новый случай, например война или новое вмешательство Европы, которая смогла бы почерпнуть смелость из слабости правительства. «Но в этом случае вас-то

именно и не выпустят, даже если бы те захотели вас впустить». Пауза — в ней чувствуется презрение.— О, тогда, по всей вероятности, пути найдутся.— Теперь улыбается даже госпожа Троцкая». Так отвечает Троцкий на вопрос о том, возможен ли договор между Троцким и фашистами.

Правдоподобны ли обвинения, предъявленные Радеку и Пятакову?

Что же касается Пятакова, Сокольникова, Радека, представших перед судом во втором процессе, то по поводу их возражения были следующего порядка: невероятно, чтобы люди с их рангом и влиянием вели работу против государства, которому они были обязаны своим положением и постами, чтобы они пустились в то авантюрное предприятие, которое им ставит в вину обвинение.

Идеологические мотивы обвиняемых

Мне кажется неверным рассматривать этих людей только под углом зрения занимаемого ими положения и их влияния. Пятаков и Сокольников были не только крупными чиновниками, Радек был не только главным редактором «Известий» и одним из близких советников Сталина. Большинство этих обвиняемых были в первую очередь конспираторами, революционерами; всю свою жизнь они были страстными бунтовщиками и сторонниками переворота — в этом было их призвание. Все, чего они достигли, они достигли вопреки предсказаниям «разумных», благодаря своему мужеству, оптимизму, любви к рискованным предприятиям. К тому же они верили в Троцкого, обладающего огромной силой внушения. Вместе со своим учителем они видели в «государстве Сталина» искаженный образ того, к чему они сами стремились, и свою высшую цель усматривали в том, чтобы внести в это искажение свои коррективы.

Материальный вопрос

Не следует также забывать о личной заинтересованности обвиняемых в перевороте. Ни честолюбие, ни жажда власти у этих людей не были удовлетворены. Они занимали высокие должности, но никто из них не занимал ни одного из тех высших постов, на которые, по их мнению, они имели право; никто из них, например, не входил в состав «Политического Бюро». Правда, они опять вошли в милость, но в свое время их судили как троцкистов, и у них не было больше никаких шансов выдвинуться в

первые ряды. Они были в некотором смысле разжалованы, и «никто не может быть опаснее офицера, с которого сорвали погоны», говорит Радек, которому это должно быть хорошо известно.

Возражения против порядка ведения процесса

Кроме нападок на обвинение слышатся не менее резкие нападки на самый порядок ведения процесса. Если имелись документы и свидетели, спрашивают сомневающиеся, то почему же держали эти документы в ящике, свидетелей — за кулисами и довольствовались не заслуживающими доверия признаниями?

Ответ советских граждан

Это правильно, отвечают советские люди, на процессе мы показали некоторым образом только квинтэссенцию, препарированный результат предварительного следствия. Уличающий материал был проверен нами раньше и предъявлен обвиняемым. На процессе нам было достаточно подтверждения их признания. Пусть тот, кого это смущает, вспомнит, что это дело разбирал военный суд и что процесс этот был в первую очередь процессом политическим. Нас интересовала чистка внутриполитической атмосферы. Мы хотели, чтобы весь народ, от Минска до Владивостока, понял происходящее. Поэтому мы постарались обставить процесс с максимальной простотой и ясностью. Подобное изложение документов, свидетельских показаний, разного рода следственного материала может интересовать юристов, криминалистов, историков, а наших советских граждан мы бы только запутали таким чрезмерным нагромождением деталей. Безусловное признание говорит им больше, чем множество остроумно сопоставленных доказательств. Мы вели этот процесс не для иностранных криминалистов, мы вели его для нашего народа.

Гипотезы с авантюрным оттенком

Так как такой весьма внушительный факт, как признание, его точность и определенность, опровергнут быть не может, сомневающиеся стали выдвигать самые авантюристические предположения о методах получения этих признаний.

Яд и гипноз

В первую очередь, конечно, было выдвинуто наиболее примитивное предположение, что обвиняемые под пытками и под угрозой новых, еще худших пыток были вынуждены

к признанию. Однако эта выдумка была опровергнута несомненно свежим видом обвиняемых и их общим физическим и умственным состоянием. Таким образом, скептики были вынуждены для объяснения «невероятного» признания прибегнуть к другим источникам. Обвиняемым, заявили они, давали всякого рода яды, их гипнотизировали и подвергали действию наркотических средств. Однако еще никому на свете не удавалось держать другое существо под столь сильным и длительным влиянием, и тот ученый, которому бы это удалось, едва ли удовольствовался бы положением таинственного подручного полицейских органов; он, несомненно, в целях увеличения своего удельного веса ученого, предал бы гласности найденные им методы. Тем не менее противники процесса предпочитают хвататься за самые абсурдные гипотезы бульварного характера, вместо того чтобы поверить в самое простое, а именно что обвиняемые были изобличены и их признания соответствуют истине.

Советские люди смеются

Советские люди только пожимают плечами и смеются, когда им рассказывают об этих гипотезах. Зачем нужно было нам, если мы хотели подтасовать факты, говорят они, прибегать к столь трудному и опасному способу, как вымогание ложного признания? Разве не было бы проще подделать документы? Не думаете ли вы, что нам было бы гораздо легче, вместо того чтобы заставить Троцкого устами Пятакова и Радека вести изменнические речи, представить миру его изменнические письма, документы, которые гораздо непосредственнее доказывают его связь с фашистами? Вы видели и слышали обвиняемых: создалось ли у вас впечатление, что их признания вынуждены?

Обстановка процесса

Этого впечатления у меня действительно не создалось. Людей, стоявших перед судом, никоим образом нельзя было назвать замученными, отчаявшимися существами, представшими перед своим палачом. Вообще не следует думать, что это судебное разбирательство носило какой-либо искусственный или даже хотя бы торжественный, патетический характер.

Портреты обвиняемых

Помещение, в котором шел процесс, невелико, оно вмещает примерно триста пятьдесят человек. Судьи, прокурор, обвиняемые, защитники, эксперты сидели

на невысокой эстраде, к которой вели ступеньки. Ничто не разделяло суд от сидящих в зале. Не было также ничего, что походило бы на скамью подсудимых; барьер, отделявший подсудимых, напоминал скорее обрамление ложи. Сами обвиняемые представляли собой холеных, хорошо одетых мужчин с медленными, непринужденными манерами. Они пили чай, из карманов у них торчали газеты, и они часто посматривали в публику. По общему виду это походило больше на дискуссию, чем на уголовный процесс, дискуссию, которую ведут в тоне беседы образованные люди, старающиеся выяснить правду и установить, что именно произошло и почему это произошло. Создавалось впечатление, будто обвиняемые, прокурор и судьи увлечены одинаковым, я чуть было не сказал спортивным, интересом выяснить с максимальной точностью все происшедшее. Если бы этот суд поручили инсценировать режиссеру, то ему, вероятно, понадобилось бы немало лет и немало репетиций, чтобы добиться от обвиняемых такой сыгранности: так добросовестно и старательно не пропускали они ни малейшей неточности друг у друга, и их взволнованность проявлялась с такой сдержанностью. Короче говоря, гипнотизеры, отравители и судебные чиновники, подготовившие обвиняемых, помимо всех своих ошеломляющих качеств должны были быть выдающимися режиссерами и психологами.

Деловитость

Невероятной, жуткой казалась деловитость, обнаженность, с которой эти люди непосредственно перед своей почти верной смертью рассказывали о своих действиях и давали объяснения своим преступлениям. Очень жаль, что в Советском Союзе воспрещается производить в залах фотографирование и записи на граммофонные пластинки. Если бы мировому общественному мнению представить не только то, что говорили обвиняемые, но и как они это говорили, их интонации, их лица, то, я думаю, неверящих стало бы гораздо меньше.

Поведение

Признавались они все, но каждый на свой собственный манер: один с циничной интонацией, другой молодцевато, как солдат, третий внутренне сопротивляясь, прибегая к уверткам, четвертый — как раскаивающийся ученик, пятый — поучая. Но тон, выражение лица, жесты у всех были правдивы.

Пятаков Я никогда не забуду, как Георгий Пятаков, господин среднего роста, средних лет, с небольшой лысиной, с рыжеватой, старомодной, трясущейся острой бородой, стоял перед микрофоном и как он говорил — будто читал лекцию. Спокойно и старательно он повествовал о том, как он вредил в вверенной ему промышленности. Он объяснял, указывал вытянутым пальцем, напоминая преподавателя высшей школы, историка, выступающего с докладом о жизни и деяниях давно умершего человека по имени Пятаков и стремящегося разъяснить все обстоятельства до мельчайших подробностей, охваченный одним желанием, чтобы слушатели и студенты все правильно поняли и усвоили.

Радек Писателя Карла Радека я тоже вряд ли когда-нибудь забуду. Я не забуду ни как он там сидел в своем коричневом пиджаке, ни его безобразное худое лицо, обрамленное каштановой старомодной бородой, ни как он поглядывал в публику, большая часть которой была ему знакома, или на других обвиняемых, часто усмехаясь, очень хладнокровный, зачастую намеренно иронический, ни как он при входе клал тому или другому из обвиняемых на плечо руку легким, нежным жестом, ни как он, выступая, немного позировал, слегка посмеиваясь над остальными обвиняемыми, показывал свое превосходство актера,— надменный, скептический, ловкий, литературно образованный. Внезапно оттолкнув Пятакова от микрофона, он встал сам на его место. То он ударял газетой о барьер, то брал стакан чая, бросал в него кружок лимона, помешивал ложечкой и, рассказывая о чудовищных делах, пил чай мелкими глотками. Однако, совершенно не рисуясь, он произнес свое заключительное слово, в котором он объяснил, почему он признался, и это заявление, несмотря на его непринужденность и на прекрасно отделанную формулировку, прозвучало трогательно, как откровение человека, терпящего великое бедствие. Самым страшным и труднообъяснимым был жест, с которым Радек после конца последнего заседания покинул зал суда. Это было под утро, в четыре часа, и все — судьи, обвиняемые, слушатели — сильно устали. Из семнадцати обвиняемых тринадцать — среди них близкие друзья Радека — были приговорены к смерти; Радек и трое других — только к заключению. Судья зачитал

приговор, мы все — обвиняемые и присутствующие — выслушали его стоя, не двигаясь, в глубоком молчании. После прочтения приговора судьи немедленно удалились. Показались солдаты; они вначале подошли к четверым, не приговоренным к смерти. Один из солдат положил Радеку руку на плечо, по-видимому, предлагая ему следовать за собой. И Радек пошел. Он обернулся, приветственно поднял руку, почти незаметно пожал плечами, кивнул остальным приговоренным к смерти, своим друзьям, и улыбнулся. Да, он улыбнулся.

Остальные

Трудно также забыть подробный тягостный рассказ инженера Строилова о том, как он попал в троцкистскую организацию, как он бился, стремясь вырваться из нее, и как троцкисты, пользуясь его провинностью в прошлом, крепко его держали, не выпуская до конца из своих сетей. Незабываем еще тот еврейский сапожник с бородой раввина — Дробнис, который особенно выделился в гражданскую войну. После шестилетнего заключения в царской тюрьме, трижды приговоренный белогвардейцами к смерти, он каким-то чудом спасся от трех расстрелов и теперь, стоя здесь, перед судом, путался и запинался, стремясь как-нибудь вывернуться, будучи вынужденным признаться в том, что взрывы, им организованные, причинили не только материальные убытки, но повлекли за собой, как он этого и добивался, гибель рабочих. Потрясающее впечатление произвел также инженер Норкин, который в своем последнем слове проклял Троцкого, выкрикнув ему свое «клокочущее презрение и ненависть». Бледный от волнения, он должен был немедленно после этого покинуть зал, так как ему сделалось дурно. Впрочем, за все время процесса это был первый и единственный случай, когда кто-либо закричал; все — судьи, прокурор, обвиняемые — говорили все время спокойно, без пафоса, не повышая голоса.

Почему они не защищаются?

Свое нежелание поверить в достоверность обвинения сомневающиеся обосновывают, помимо вышеприведенных возражений, тем, что поведение обвиняемых перед судом психологически необъяснимо. Почему обвиняемые, спрашивают эти скептики, вместо того чтобы отпираться, наоборот, стараются превзойти друг друга в признаниях? И в каких признаниях! Они

сами себя рисуют грязными, подлыми преступниками. Почему они не защищаются, как делают это обычно все обвиняемые перед судом? Почему, если они даже изобличены, они не пытаются привести в свое оправдание смягчающие обстоятельства, а, наоборот, все больше отягчают свое положение? Почему, раз они верят в теории Троцкого, они, эти революционеры и идеологи, не выступают открыто на стороне своего вождя и его теорий? Почему они не превозносят теперь, выступая в последний раз перед массами, свои дела, которые они ведь должны были бы считать похвальными? Наконец, можно представить, что из числа этих семнадцати один, два или четыре могли смириться. Но все — навряд ли.

Вот почему, говорят советские люди

То, что обвиняемые признаются, возражают советские граждане, объясняется очень просто. На предварительном следствии они были настолько изобличены свидетельскими показаниями и документами, что отрицание было бы для них бесцельно. То, что они признаются *все*, объясняется тем, что перед судом предстали не все троцкисты, замешанные в заговоре, а только те, которые до конца были изобличены. Патетический характер признаний должен быть в основном отнесен за счет перевода. Русская интонация трудно поддается передаче, русский язык в переводе звучит несколько странно, преувеличенно, как будто основным тоном его является превосходная степень. (Последнее замечание правильно. Я слышал, как однажды милиционер, регулирующий движение, сказал моему шоферу: «Товарищ, будьте, пожалуйста, любезны уважать правила». Такая манера выражения кажется странной. Она кажется менее странной, когда переводят больше по смыслу, чем по буквальному тексту: «Послушайте, не нарушайте, пожалуйста, правил движения». Переводы протоколов печати похожи больше на «будьте любезны уважать правила», чем на «не нарушайте, пожалуйста, правил движения».)

Мнение автора

Я должен признаться, что, хотя процесс меня убедил в виновности обвиняемых, все же, несмотря на аргументы советских граждан, поведение обвиняемых перед судом осталось для меня не совсем ясным. Немедленно после процесса я изложил кратко в совет-

ской прессе свои впечатления: «Основные причины того, что совершили обвиняемые, и главным образом основные мотивы их поведения перед судом западным людям все же не вполне ясны. Пусть большинство из них своими действиями заслужило смертную казнь, но бранными словами и порывами возмущения, как бы они ни были понятны, нельзя объяснить психологию этих людей. Раскрыть до конца западному человеку их вину и искупление сможет только великий советский писатель». Однако мои слова никоим образом не должны означать, что я желаю опорочить ведение процесса или его результаты. Если спросить меня, какова квинтэссенция моего мнения, то я смогу, по примеру мудрого публициста Эрнста Блоха, ответить словами Сократа, который по поводу некоторых неясностей у Гераклита сказал так: «То, что я понял, прекрасно. Из этого я заключаю, что остальное, чего я не понял, тоже прекрасно».

Попытка объяснения

Советские люди не представляют себе этого непонимания. После окончания процесса на одном собрании один московский писатель горячо выступил по поводу моей заметки в печати. Он сказал: «Фейхтвангер не понимает, какими мотивами руководствовались обвиняемые признаваясь. Четверть миллиона рабочих, демонстрирующих сейчас на Красной площади, это понимают». Мне тем не менее кажется, что к тому, чтобы понять процесс, я приложил больше усилий, чем большинство западных критиков, и, ввиду того что советский писатель, который смог бы осветить мотивы признаний, пока еще не появился, я хочу сам попробовать рассказать, как я себе представляю генезис признания.

Сущность партийного суда

Суд, перед которым развернулся процесс, несомненно, можно рассматривать как некоторого рода партийный суд. Обвиняемые с юных лет принадлежали к партии, некоторые из них считались ее руководителями. Было бы ошибкой думать, что человек, привлеченный к партийному суду, мог бы вести себя так же, как человек перед обычным судом на Западе. Даже, казалось бы, простая оговорка Радека, обратившегося к судье «товарищ судья» и поправленного председателем «говорите гражданин судья», имела внутренний смысл. Обвиняемый чувствует себя

еще связанным с партией, поэтому не случайно процесс с самого начала носил чуждый иностранцам характер дискуссии. Судьи, прокурор, обвиняемые — и это не только казалось — были связаны между собой узами общей цели. Они были подобны инженерам, испытывавшим совершенно новую сложную машину. Некоторые из них что-то в этой машине испортили, испортили не со злости, а просто потому, что своенравно хотели испробовать на ней свои теории по улучшению этой машины. Их методы оказались неправильными, но эта машина не менее, чем другим, близка их сердцу, и поэтому они сообща с другими откровенно обсуждают свои ошибки. Их всех объединяет интерес к машине, любовь к ней. И это-то чувство и побуждает судей и обвиняемых так дружно сотрудничать друг с другом; чувство, похожее на то, которое в Англии связывает правительство с оппозицией настолько крепко, что вождь оппозиции получает от государства содержание в две тысячи фунтов.

Языческий пророк

Обвиняемые были приверженцами Троцкого: даже после его падения они верили в него. Но они жили в Советском Союзе, и то, что изгнанному Троцкому представлялось в виде далеких смутных цифр и статистики, для них было живой действительностью. Перед этой реальной действительностью тезис Троцкого о невозможности построения социалистического хозяйства в одной, отдельно взятой стране не мог рассчитывать на продолжительное существование. В 1935 году, перед лицом возрастающего процветания Советского Союза, обвиняемые должны были признать банкротство троцкизма. Они потеряли, по словам Радека, веру в концепцию Троцкого. В силу этих обстоятельств, в силу самой природы вещей признания обвиняемых прозвучали как вынужденный гимн режиму Сталина. Обвиняемые уподобились тому языческому пророку из библии, который, выступив с намерением проклясть, стал, против своей воли, благословлять.

Измена Троцкому

Обвиняемый Муралов восемь месяцев отрицал свою вину, пока наконец 5 декабря не сознался. «Хотя я,— заявил он на процессе,— и не считал директиву Троцкого о терроре и вредительстве правильной, все же мне казалось морально недопустимым изменить

ему. Но наконец, когда от него стали отходить остальные — одни честно, другие нечестно,— я сказал себе: я сражался активно за Советский Союз в трех революциях, и десятки раз моя жизнь висела на волоске. Не должен ли я подчиниться его интересам? Или мне нужно остаться у Троцкого и продолжать и углублять его неправое дело? Но тогда имя мое будет служить знаменем для тех, кто еще находится в рядах контрреволюции. Другие, независимо от того, честно или нечестно они отошли от Троцкого, во всяком случае не стоят под знаменем контрреволюции. Должен ли я оставаться таким святым? Для меня это было решающим, и я сказал: ладно, иду и показываю всю правду». Показания Радека по этому пункту, более тонкие по форме, в основном повторяют ту же мысль. Речи обоих этих людей кажутся мне, оставляя в стороне процесс, интересными в психологическом отношении. Они наглядно показывают, до какого предела могут идти люди за человеком, в чье превосходство, способность к руководству и гениальную концепцию они верят, и где начинается поворот, на котором они его оставляют. Авантюристские и отчаянные средства, к которым решил прибегнуть Троцкий, после того как выяснилась ошибочность его основной концепции, должны были отпугнуть от него более мелких сторонников. Они стали считать его методы безумными. Они не отошли от него открыто уже раньше только потому, что не знали, как это технически обставить. «Мы бы сами пошли в милицию,— заявил Радек,— если бы она не явилась к нам раньше», и это вполне вероятно. Ведь некоторые из их соучастников действительно раньше пошли в милицию, и таким образом заговор был раскрыт.

Люди, верящие в свое дело

Возражения сомневающихся по существу правильны. Люди, верящие в свое дело, зная, что они обречены на смерть, не изменяют ему в свой последний час. Они хватаются за последнюю возможность обратиться к общественности и используют свое выступление в целях пропаганды своего дела. Сотни революционеров перед судом Гитлера заявляют: «Да, я совершил то, в чем вы меня обвиняете. Вы можете меня уничтожить, но я горжусь тем, что я сделал». Таким образом, сомневающиеся правы, спрашивая: почему ни один из этих троцкистов так не говорил? Почему

ни один из этих троцкистов не сказал: «Да, ваше «государство Сталина» построено неправильно. Прав Троцкий. Все, что я сделал, хорошо. Убейте меня, но я защищаю свое дело».

Люди, не верящие в свое дело

Однако это возражение встречает убедительный ответ. Эти троцкисты не говорили так просто потому, что они больше не верили в Троцкого, потому что внутренне они уже не могли защищать то, что они совершили, потому что их троцкистские убеждения были до такой степени опровергнуты фактами, что люди зрячие не могли больше в них верить. Что же оставалось им делать, после того как они стали на неправую сторону? Им ничего другого не оставалось — если они были убежденными социалистами,— как в последнем выступлении перед смертью признаться: социализм не может быть осуществлен тем путем, которым мы шли — путем, предложенным Троцким, а только другим путем — путем, предложенным Сталиным.

Девяносто девять или сто процентов

Но даже если отбросить идеологические побудительные причины и принять во внимание только внешние обстоятельства, то обвиняемые были прямо-таки вынуждены к признанию. Как они должны были себя вести, после того как они увидели перед собой весьма внушительный следственный материал, изобличающий их в содеянном? Они были обречены независимо от того, признаются они или не признаются. Если они признаются, то, возможно, их признание, несмотря на все, даст им проблеск надежды на помилование. Грубо говоря: если они не признаются, они обречены на смерть на все сто процентов, если они признаются — на девяносто девять. Так как их внутренние убеждения не возражают против признания, то почему же им не признаться? Из их заключительных слов видно, что такого рода соображения действительно имели место. Из семнадцати обвиняемых двенадцать просили суд принять во внимание при вынесении приговора в качестве смягчающего вину обстоятельства их признание.

Трагикомический момент

Волей-неволей свою просьбу они должны были выражать приблизительно одинаковыми словами, и это наконец стало производить почти жуткое, трагикомическое впечатление. Во время заключительных слов

последних обвиняемых все уже, нервничая, ждали этой просьбы, и, когда ее действительно произносили, при этом каждый раз в неизбежно однообразной форме, слушатели с трудом сдерживали смех.

Для чего усиливать звук?

Однако ответить на вопрос, какие причины побудили правительство выставить этот процесс на свет, пригласив на него мировую прессу и мировую общественность, пожалуй, еще труднее, чем ответить на вопрос, какими мотивами руководствовались обвиняемые. Чего ждали от этого процесса? Не должна ли была эта манифестация привести скорее к неприятным, чем к благоприятным, последствиям? Зиновьевский процесс оказал за границей очень вредное действие: он дал в руки противникам долгожданный материал для пропаганды и заставил поколебаться многих друзей Союза. Он вызвал сомнение в устойчивости режима, в которую до этого верили даже враги. Зачем же вторым подобным процессом так легкомысленно подрывать собственный престиж?

Сталин — Чингисхан

Причину, утверждают противники, следует искать в опустошительном деспотизме Сталина, в той радости, которую он испытывает от террора. Ясно, что Сталин, обуреваемый чувствами неполноценности, властолюбия и безграничной жаждой мести, хочет отомстить всем, кто его когда-либо оскорбил, и устранить тех, кто в каком-либо отношении может стать опасным.

Жалкие психологи

Подобная болтовня свидетельствует о непонимании человеческой души и неспособности правильно рассуждать. Достаточно только прочесть любую книгу, любую речь Сталина, посмотреть на любой его портрет, вспомнить любое его мероприятие, проведенное им в целях осуществления строительства, и немедленно станет ясно, что этот умный, рассудительный человек никогда не мог совершить такую чудовищную глупость, как поставить с помощью бесчисленных соучастников такую грубую комедию с единственной целью отпраздновать, при бенгальском освещении, свое торжество над повергнутым противником.

Решение

Я думаю, что решение вопроса проще и вместе с тем сложнее. Нужно вспомнить о твердой решимости Советского Союза двигаться дальше по пути демократии и прежде всего о существующем там отношении к вопросу о войне, на которое я уже несколько раз указывал.

Демократизация и опасность войны

Растущая демократизация, в частности предложение проекта новой Конституции, должна была вызвать у троцкистов новый подъем активности и возбудить у них надежду на большую свободу действий и агитации. Правительство нашло своевременным показать свое твердое решение уничтожать в зародыше всякое проявление троцкистского движения. Но главной причиной, заставившей руководителей Советского Союза провести этот процесс перед множеством громкоговорителей, является, пожалуй, непосредственная угроза войны. Раньше троцкисты были менее опасны, их можно было прощать, в худшем случае — ссылать. Очень действенным средством ссылка все же не является; Сталин, бывший сам шесть раз в ссылке и шесть раз бежавший, это знает. Теперь, непосредственно накануне войны, такое мягкосердечие нельзя было себе позволить. Раскол, фракционность, не имеющие серьезного значения в мирной обстановке, могут в условиях войны представить огромную опасность. После убийства Кирова дела о троцкистах в Советском Союзе разбирают военные суды. Эти люди стояли перед военным судом, и военный суд их осудил.

Два лица Советского Союза

Советский Союз имеет два лица. В борьбе лицо Союза — суровая беспощадность, сметающая со своего пути всякую оппозицию. В созидании его лицо — демократия, которую он объявил в Конституции своей конечной целью. И факт утверждения Чрезвычайным съездом новой Конституции как раз в промежутке между двумя процессами — Зиновьева и Радека — служит как бы символом этого.

Глава VIII

НЕНАВИСТЬ И ЛЮБОВЬ

Разочарование «демократов»

Страстность, с которой реагировали за границей на троцкистские процессы люди, даже благожелательно настроенные к Советскому Союзу, абсолютно непонятна советским гражданам. Я уже говорил о глубоком разочаровании, об отчаянии многих, видевших в Советском Союзе осуществление своих демократических чаяний и последнее средство спасения цивилизации от гибели. Я говорил об этих людях, которые, будучи не в состоянии освободиться от своих представлений о демократии, были этими «произвольными и насильственными» процессами как бы низвержены с небес.

Неприятное чувство, которое вызывает Советский Союз

Многим это разочарование причинило, несомненно, искреннее огорчение. Однако нашлись и такие, которым оно доставило радость. Страстность, с которой эти интеллигенты реагировали на процесс, вытекает из весьма глубоких источников их души, куда нет доступа соображениям, повинующимся разуму. Она вытекает из неприятного чувства, которое в них возбуждает одно существование Советского Союза, из неприятного чувства, испытываемого ими при мысли о проблемах, которые ставит перед ними эта новая социалистическая государственная формация.

Страх перед социализмом

Дело в том, что многие интеллигенты, даже те, которые считают исторической необходимостью смену капиталистической системы социалистической, боятся трудностей переходного периода. Они вполне искренне желают мировой победы социализма, но их тревожит вопрос о собственной будущности в период

великого социалистического переворота. Сердце их отвергает то, что утверждает их разум. В теории они социалисты, на практике своим поведением они поддерживают капиталистический строй. Таким образом, само существование Советского Союза является для них постоянным напоминанием о непрочности их бытия, постоянным укором двусмысленности их собственного поведения. Существование Советского Союза служит для них отрадным доказательством того, что в мире разум еще не уничтожен; в остальном же они его не любят, скорее — ненавидят.

Желанный «террор»

По этим причинам они с удовольствием, даже не признаваясь себе в этом, пользуются всяким случаем, чтобы придраться к Советскому Союзу. «Загадочность» троцкистских процессов дала им желанный повод поиронизировать над Советским Союзом и заклеймить в блестящих статьях мнимый произвол суда. «Террор», обнаружившийся в Советском Союзе, доказал им, к их вящему удовольствию, что Союз в основном не отличается от фашистских государств и что, таким образом, они поступали правильно, не поддакивая Союзу. Этот «террор» оправдал их нерешительность и вялость в глазах их собственной совести. «Деспотизм» Советского Союза явился для них желанным плащом, под которым они скрыли свою духовную наготу.

Никакой неожиданности

В Советском Союзе это никого не удивило. Впечатление, произведенное процессом Зиновьева, не испугало советскую юстицию, и она не побоялась назначить второй троцкистский процесс. Польза, которую мог принести во внутриполитическом отношении этот процесс, эта публичная чистка собственного дома накануне войны с избытком возмещала возможное снижение морального престижа Советского Союза в глазах неавторитетных иностранных критиков.

Реально-политическое мышление

Никаких иллюзий насчет умонастроений за границей Советский Союз себе не строит. Советские люди утверждают, что только Красная Армия оберегала до сих пор мир от взрыва великой фашистской войны и тем спасла цивилизацию от нашествия варваров. Только благодаря советскому вооружению, только благодаря существованию этой

Красной Армии и — советские люди это прекрасно знают,— только вследствие своей собственной слабости так называемые демократии заключили с СССР союзы. Они заключали эти союзы неохотно, и теперь, когда руководителям демократий наконец удалось своей болтовней убедить парламент и общественное мнение в необходимости собственного вооружения, они еще меньше, чем прежде, стараются скрывать свои антипатии к Советскому Союзу. Советские граждане — реальные политики, которых нисколько не удивила реакция заграницы, вызванная процессом.

«Радек под пыткой»

В своем заключительном слове Радек говорил о том, как он в продолжение двух с половиной месяцев заставлял вытягивать из себя каждое слово признания и как трудно следователю пришлось с ним. «Не меня пытал следователь,— сказал он,— а я его». Некоторые крупные английские газеты поместили это заявление Радека под крупным заголовком — «Радек под пыткой». Полагаю, что я был единственным человеком в Москве, которого удивили такого рода корреспонденции.

Моралисты

В общем, я считаю поведение многих западных интеллигентов в отношении Советского Союза близоруким и недостойным. Они не видят всемирно-исторических успехов, достигнутых Советским Союзом; они не хотят понять, что историю в перчатках делать нельзя. Они являются со своими абсолютными масштабами и хотят вымерить с точностью до одного миллиметра существующие в Советском Союзе пределы свободы и демократии. Как бы разумны и гуманны ни были цели Советского Союза, эти западные интеллигенты крайне строги, критикуя средства, которые применяет Советский Союз. Для них в данном случае не цель облагораживает средства, а средства оскверняют цель.

Гуманность только при помощи пушек

Мне это понятно. Я сам в юности принадлежал к этому типу интеллигентов, провозглашавших принцип абсолютного пацифизма, интегрального отрицания насилия. Во время войны мне пришлось переучиваться. Уже в период войны я написал пьесу «Уоррен Хастингс», в которой изобразил процесс, в свое время так же взбудораживший мир, как ныне московский процесс троцкистов. Но этот

процесс вел английский генерал-губернатор Уоррен Хастингс, один из основателей английского господства в Индии и один из проводников западной цивилизации в этой стране. Он считал эту деятельность прогрессивной, и мы, рассматривая ее в историческом разрезе, пожалуй, согласимся с ним. Уоррен Хастингс приходит к заключению, что «гуманность можно привить человеческому роду только посредством пушек», и, обращаясь к людям, принуждающим его своими гуманными принципами к менее гуманным, чем ему хотелось бы, действиям, он говорит: «Двадцать два года я был свидетелем того, как легкое дрожание руки, вызванное человеколюбием, опустошало весь край. Вы, мои человеколюбивые господа, этого не знаете, но именно вы вынуждаете меня к нечеловечности».

Réflexions sur la violence *

Мне кажется, что каждому из нас во время войны и после нее пришлось по многим различным мотивам пересмотреть свое отношение к отказу от насилия и серьезно подумать над вопросом о насилии. Если такие «réflexions sur la violence», предназначенные для того, чтобы оправдать Ленина, используются также и Муссолини для своего оправдания — Гитлер едва ли слышал когда-нибудь имя Жоржа Сореля,— то от этого они нисколько не теряют в своей правильности. Существует разница между грабителем, стреляющим в прохожего, и полицейским, стреляющим в грабителя.

Проблема для писателя, обладающего чувством ответственности

Выражаясь грубо и просто, в данное время перед каждым писателем, обладающим некоторым чувством ответственности, эта проблема ставится следующим образом: поскольку без внесения временных изменений в то, что ныне называют демократией, социалистическое хозяйство построено быть не может,— решай, что ты предпочитаешь: или чтобы широкие массы имели меньше мяса, хлеба и масла, а ты зато бо̀льшую свободу слова, или чтобы у тебя было меньше свободы слова, а у широких масс — зато больше хлеба, мяса и масла?

Для писателя, сознающего свою ответственность, это нелегкая проблема.

---

* Размышления о насилии *(фр.)*.

Латынь Шекспира

Критиковать Советский Союз не трудно, тем более что хулителям это доставляет благосклонное признание. В Советском Союзе есть неполадки внешнего и внутреннего порядка; их легко обнаружить, их не скрывают, и верно, что для иностранца, прибывшего из Европы, жизнь в Москве пока еще отнюдь не является приятной. Однако тот, кто подчеркивает недостатки Союза, а о великом, которое можно видеть там, пишет в подстрочном примечании, тот свидетельствует больше против себя, чем против Союза. Он подобен критику, который в гениальной поэме замечает прежде всего неправильно расставленные запятые. В первой немецкой заметке о Шекспире было написано: «Мало смыслил в латыни и не знал греческого».

Долой неравенство, долой равенство

В основном все возражения западных интеллигентов против Советского Союза сводятся к двум соображениям эстетического и морального порядка: моральное скорбит, что несоответствие доходов неизбежно должно породить новые классы, эстетическое печалится по поводу того, что руководство Советов идет по пути обезличения индивидуальностей и тем самым к серой уравниловке. Таким образом, эстетическая точка зрения порицает как раз обратное тому, что осуждает точка зрения моральная.

Крупинка правды

Однако в обоих этих возражениях заключается небольшая крупинка правды. Если эти апостолы равенства утверждают, что у более высокооплачиваемых рабочих, крестьян и служащих развивается известное мелкобуржуазное мышление, весьма отличное от того пролетарского героизма, на который претендуют наши моралисты, предпринимая путешествие в Советский Союз, то сказать, что они абсолютно не правы, нельзя. Апостолы неравенства, в свою очередь, боятся, что общность мнений приведет к известному нивелированию личности, так что к концу осуществления социализма Советский Союз превратится в не что иное, как в гигантское государство, состоящее сплошь из посредственностей и мелких буржуа. Это опасение тоже не совсем лишено основания. Дело в том, что, когда общество достигает определенной экономической переходной стадии, а именно когда оно от крайней скудости

переходит к зачаткам благосостояния, в нем волей-неволей проявляются характерные для мелкобуржуазного общества особенности. При этом повышение духовного уровня на первой стадии развития дает такие же результаты, как повышение материального благополучия,— оно приводит к известному однообразию мнений и вкусов. Я уже указывал на то, что основы всех наук не могут быть иначе выражены, как только в одинаковых формах и формулировках, поэтому избегнуть «конформизма» в начальной стадии преподавания невозможно. Однако не представляет сомнений, что мелкобуржуазное мышление будет так же быстро исчезать с возрастающим благосостоянием, как пресловутый конформизм с ростом образования.

Гёте и хулители

Подводя итог сказанному, становится ясно, что Советский Союз таит в себе еще много неразрешенных проблем. Но то, что сказал Гёте о человеческом существе, может быть вполне приложимо к государственному организму: «Значительное явление всегда пленяет нас; познав его достоинства, мы оставляем без внимания то, что кажется нам в нем сомнительным».

Нездоровая атмосфера западной цивилизации

Воздух, которым дышат на Западе,— нездоровый, отработанный воздух. У западной цивилизации не осталось больше ни ясности, ни решительности. Там не осмеливаются защищаться кулаком или хотя бы крепким словом от наступающего варварства, там это делают робко, с неопределенными жестами; там выступления ответственных лиц против фашизма подаются в засахаренном виде, с массой оговорок. Кто не испытал отвращения при виде того, с каким лицемерием и трусостью реагируют ответственные лица на нападение фашистов на Испанскую республику?

Вавилонская башня

Когда из этой гнетущей атмосферы изолгавшейся демократии и лицемерной гуманности попадаешь в чистый воздух Советского Союза, дышать становится легко. Здесь не прячутся за мистически-пышными фразами, здесь господствует разумная этика, действительно «more geometrico constructa»*, и только этим этическим разумом определяется план, по кото-

* Построенная по правилам геометрии (*лат.*).

рому строится Союз. Таким образом, и метод, по которому они там строят, и материал, который они для этой стройки употребляют, абсолютно новы. Но время экспериментирования осталось в них уже позади. Еще кругом рассыпан мусор и грязные балки, но над ними уже отчетливо и ясно высятся контуры могучего здания. Это настоящая вавилонская башня, но башня, приближающая не людей к небу, а небо к людям. И счастье благоприятствует их работе: люди, строящие ее, не смешали своих языков, оии хорошо понимают друг друга.

Да, да, да! Как приятно после несовершенства Запада увидеть такое произведение, которому от всей души можно сказать: да, да, да! И так как я считал непорядочным прятать это «да» в своей груди, я и написал эту книгу.

Перевод с немецкого

Публикуется по книге: Л. Фейхтвангер. Москва 1937. М., Гослитиздат. 1937

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Рукопись этой книги уже находилась в наборе, когда в «Литературной газете» (1990. № 26—27) появилась посмертная полемическая статья известного писателя и историка Н. Я. Эйдельмана «Гости Сталина». И хотя автор не успел завершить работу, редакции показалось, что она будет удачным комментарием к заочному спору двух крупных европейских писателей — А. Жида и Л. Фейхтвангера, расширит исторический фон описываемых в их книгах событий, по-новому осветит многие из них.

Натан Эйдельман

«ГОСТИ СТАЛИНА»

От западных морей
до самых врат восточных
Не многие умы от благ прямых
и прочных
Зло могут отличить...

Пушкин
Незаконченное стихотворение
(написано незадолго до смерти)

1.

В древности, до Петра, из Европы в Россию и обратно ездили редко, на Руси иностранцев практически не читали. Однако стоило Петру пробить окно в Европу, как мы тотчас стали сквозь него взирать на Запад, а они — на нас.

В XIX веке рост российского самосознания, ускорение путей сообщения, усиление книжного обмена выработали более самостоятельную российскую позицию в диалоге Восток — Запад; с другой стороны, внимание к европейскому голосу значительно усилилось, ибо мы сами уж куда больше Европа, чем прежде.

Но вот приходит 1917 год, образуется новая Россия, и происходит новый поворот старинного сюжета Запад — Восток.

О победившей революции пишут все — враждебно, нейтрально, дружески; с первых месяцев, даже дней

нового государства являются на свет дневники, отчеты западных очевидцев, а затем — вереница западных путешественников, гостей, наблюдающих новую Россию, встречающихся с ее лидерами, публикующих свои наблюдения. Наиболее частые цитирования, упоминания, обсуждения проблемы «СССР глазами Запада» (мы говорим о довоенном времени — 1920—1930-х годах) связаны с именами Герберта Уэллса, Бернарда Шоу, Эмиля Людвига, Анри Барбюса, Ромена Роллана, Андре Жида, Лиона Фейхтвангера. Был достаточно длительный период, с конца 1930-х годов, когда предпочитали вообще не цитировать и лишь вскользь оценивать даже сравнительно дружественные к режиму страницы Уэллса, Фейхтвангера и других. Однако при всех «издательских колебаниях» в течение 50—60 лет сложилась и утвердилась довольно простая схема для оценки взглядов знаменитых западных гостей: использовалась двухцветная шкала «друг — враг», разве что с допущением формулы — «Друг, но кое-чего не понял».

Как известно, уже в 1920-х — 1930-х годах многие высказывания западных писателей о Советском Союзе критиковались или оспаривались зарубежными специалистами, политиками. Позже мысль о слепоте или некомпетентности многих авторитетных гостей неоднократно высказывалась А. И. Солженицыным и другими противниками сталинизма. Достаточно заметную, принципиальную попытку оценить западные взгляды на Советскую Россию предпринял член-корреспондент Академии наук И. Р. Шафаревич в статье «Две дороги — к одному обрыву», напечатанной в июльском номере «Нового мира» за 1989 год. Признавая несомненные заслуги известного математика в постановке проблемы и не соглашаясь с многими его выводами, рассмотрим в форме «свободных заметок» некоторые вопросы, которые сегодня мы можем, даже обязаны задать как нескольким давно умершим западным свидетелям, так и самим себе.

Укрепление тоталитарной диктатуры Сталина нуждалось в определенном моральном подкреплении среди разных кругов западного мира. Усиление закрытости советского общества сопровождалось соответствующей маскировкой, мобилизующей коммунистов,

левых, леволиберальных и других лояльных западных сил. С другой стороны, встречи и беседы Сталина и других руководителей с такими фигурами, как Шоу, Людвиг, Уэллс, Ромен Роллан, Барбюс, Фейхтвангер, укрепляли в глазах широких масс, в особенности интеллигенции, авторитет сталинской системы.

Позже будет немало сказано про «обольщение» многих европейских писателей советским лидером, наподобие того, что происходило в XVIII веке, когда Екатерина II укрепляла свою власть и систему авторитетом Вольтера, Дидро и других видных европейских просветителей. Дело, разумеется, не в этих необязательных аналогиях (хотя они очень характерны для неограниченной власти в сравнительно отсталой стране); дело в той загадке, которая со временем, по мере разоблачения сталинских преступлений — тайных и явных, всесоюзных и «всемирных», естественно, снова и снова занимает воображение потомков. Перечисленные в упомянутой статье Шафаревича примеры странного непонимания, равнодушия западных визитеров (искренние восторги по поводу создания Беломорканала, одобрение процессов 1930-х годов)могут быть дополнены многими другими. Нам сегодня нелегко читать, как Бернард Шоу в июле 1931 года замечает: «Коллективизация — это превращение шахматной доски с малюсенькими квадратиками захудалых хозяйств в огромную, сплошную площадь, дающую колоссальные результаты»; писатель решительно отрицает, что Россия — «на хлебе и воде», и утверждает, что «русская революция прошла без тени вандализма. Она сохранила дворцы и церкви прошлого». Рассуждая о терроре, англичанин уверен, что «не сделать яичницу, не разбив яиц», и что наказания не суровы: «инженеры, виновные в саботаже, наказываются работой на своих же предприятиях».

Как не вспомнить к слову реакцию одного из крупнейших отечественных писателей, встречавшегося, кстати, с многими европейскими гостями. Посетив один из новых колхозов в 1932 году, Борис Пастернак писал: «То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел. Целый год не мог спать».

Совершенно разделяя гнев Шафаревича при чтении восторженных западных откликов, удивимся тому простому объяснению этого эффекта, который дается в его статье; дело, оказывается, в том, что тоталитарная и либеральная системы, в сущности, одно и то же, и поэтому западный мир очень усердно защищал сталинскую систему и куда сильнее критиковал СССР в более «мягкие десятилетия» Хрущева и Брежнева: «Параллельность утопических тенденций командной системы и западного общества дает возможность легко взаимодействовать созданным в них экономическим структурам, и грандиозные западные капиталовложения без тех защитных мер, которые Запад мучительно и долго вырабатывал, смогут окончательно разорить страну за несколько десятилетий».

Полагаем, что подобные размышления не выдерживают научной критики, хотя, повторим, ставят проблему. Подобные выводы, кроме всего прочего, обманчивы и опасны своей внешней простотой, эксплуатирующей обычное стремление массового читателя к простым и ясным решениям.

Схема Шафаревича довольно легко опровергается, если собрать воедино все многочисленные высказывания западных деятелей, критиковавших в те годы сталинскую систему. Уинстон Черчилль от своих первых антисоветских речей в 1917 году до знаменитой фултонской речи 1946 года вряд ли заслужил в западном мире ярлык сторонника тоталитарных начал (как известно, после прочтения статей Шоу об СССР Черчилль бросил: престарелый скоморох).

Но ведь люди, подобные Черчиллю и другим «оппонентам» Сталина, куда ближе к механизму западной власти и, согласно Шафаревичу, куда больше, чем либеральные писатели, должны были бы стремиться к тоталитарному единству с московским диктатором.

Кроме того, изучая всю совокупность фактов, мы легко установим, что далеко не все «мастера культуры» высказывались столь просто и одиозно, как Шоу или Фейхтвангер.

Прежде всего это Андре Жид: один из самых популярных в ту пору французских писателей, враг деспотизма и колониализма. В отличие от других гостей СССР он, правда, обладал важным опытом борьбы против обмана, против стремления выдать черное за

белое; он был приобретен им в 1936 году во француз- ском Конго.

Когда журнал «Звезда» иедавно опубликовал «Воз- вращеиие нз СССР» Андре Жида — кннгу, более полу- века предаииую у иас проклятию, оиа поразила ие столько глубииою критики (этим сегодия, пожалуй, не удивить), ио действнтельиым интересом, любовью к народу СССР. Только такое высокое чувство дава- ло право писателю опубликовать через иесколько ме- сяцев после возвращения нз СССР, в коице 1936 го- да: «Я сомиеваюсь, что в какой-лнбо стране сегодня, разве что в гнтлеровской Германин, дух менее свобо- деи, более подавлеи, терроризирован». Итак, А. Жнд не вписывается в схему Шафаревича; ио, может быть, это единствеииое исключение?

Однако н другне «гостн столицы», оказывается, от- нюдь ие просты. Даже Шоу, самый «лояльный сталин- нист», порою огорошивал своих собесединков иеожи- даиными парадоксами. Таков его известный пассаж при посещенин Музея революции, явио не поиравив- шийся «властям предержащим»: «Вы, иавериое, с ума сошлн, что прославляете восстание теперь, когда ре- волюция — это правительство? Вы что, хотите, чтобы Советы были свергиуты? И разве благоразумио учить молодежь, что убнйство Сталнна будет актом бес- смыслениого геронзма? Выбросьте отсюда всю эту опасиую чепуху и превратнте это в музей закона и по- рядка».

Еще сложиее позицня двух других крупнейших ма- стеров — Ромена Роллана н Герберта Уэллса, неред- ко зачисляемых в апологеты Сталнна без необходимых оговорок.

Недавно опублнкованные в журнале «Вопросы лн- тературы» московские дневники Роллаиа открывают сложный процесс размышленнй и понсков. Пнсатель мучительио переживает террор, усиливавшнйся с кон- ца 1934 года, говорнт Сталнну о «тягостном впечатле- нии», которое пронзводнт закои о наказанни детей, иа- чиная с 12 лет.

Ромен Роллаи потрясен цннизмом Молотова н Ка- гановича, рассуждающнх насчет продажи за граннцу произведеиий искусства: «В сущностн, какая нам раз- ннца, в Англин они находятся нлн в Амернке? Рано нлн поздно они все равно будут обобществлеиы н, зна- чит, иавсегда будут иашими». Культ личиости Ста-

лина вызывает самое негативное отношение: «Нескончаемая вереница колоссальных портретов Сталина, плывущих над головами людей. Самолеты, рисующие в небе инициалы вождя. Огромное количество статистов, запевающих перед императорской ложей гимн во славу Сталина. Шествие людей, не спускающих глаз с него, стоящего с поднятой, согнутой в локте рукой».

Наконец, много внимания Роллан уделяет той проблеме, которую особенно ясно понимал Андре Жид,— формированию правящей элиты: «Охраняющая нацию великая коммунистическая армия со своими руководителями рискует превратиться в особый класс и, что всего серьезнее,— в привилегированный класс».

В отличие от А. Жида Ромен Роллан не считал возможным обнародовать тогда свои мысли, запретил публикацию дневников до 1985 года: он боялся, во-первых, повредить своим конкретным собеседникам, а во-вторых, ослабить единый антифашистский фронт.

Наконец Герберт Уэллс. Важно заметить, что с годами отрицательное отношение Уэллса к Сталину усилилось: он решительно осудил открытые политические процессы 1936—1938 годов и между прочим в 1940 году предсказал будущее дело врачей и гибель Сталина, связанную с недоверием к любому медику. «Я разочаровался в Сталине,— писал Уэллс,— благодаря дурацким фильмам, которые он поощрял для пропаганды собственной персоны,— например, «Ленин в Октябре». Троцкий там тщательно принижен, а Сталин сделан мудрейшим героем истории. В присутствии Ленина он скромно, но твердо указывает стратегические пункты на карте и говорит, что надо делать. Он явно пытается переписать всю историю революции для собственного прославления».

Итак, признавая ряд крайних, даже отталкивающих примеров близорукости и антигуманности некоторых крупных деятелей европейской культуры в их оценках Сталина и его режима, мы не должны упрощать события, усреднять противоречивые явления, помнить только то, что подтверждает слепоту, некомпетентность западных гостей, и забывать о последовательной позиции Андре Жида, достаточно сложных взглядах Роллана, Уэллса...

2.

Попытаемся приглядеться к самому механизму заблуждений, иллюзий, ошибок, аберраций «западного зрения» при взгляде на СССР под властью Сталина. Мы должны будем обратить внимание на немалое число достаточно сложных «линз», определявших более или менее значительные искривления реальных предметов.

Без сомнения, обострение экономической и политической ситуации на Западе, «великая депрессия» 1929 года, наступление фашизма, с одной стороны, и громко провозглашенный курс 1-й пятилетки в СССР вызывают повсеместно на Западе новый, естественный прилив интереса к Советской стране: не там ли выход, спасение Европы, человечества? «Именно здесь, в России,— восклицал Бернард Шоу,— я убедился, что новая коммунистическая система способна вывести человека из нынешнего кризиса и спасти его от политической анархии и разрушения».

Упреки же в ошибочности, наивности многих оценок эти замечательные люди могут разделить с величайшими умами человечества (например, Пушкиным, Сервантесом), которые постоянно и регулярно оборонялись иллюзиями против мрачнейшей повседневности. Более того, именно этот способ самосохранения творческой личности позволяет порою, накопив определенный душевный оптимизм, смело заглядывать в будущее; делать наблюдения и пророческие прогнозы, часто противоречащие исходному чрезмерному оптимизму.

Энтузиазм в СССР признавали абсолютно все гости. Самый непримиримый, проницательный — Андре Жид честно констатировал, что по крайней мере о городской молодежи он уверенно может сказать: они полны энтузиазма порыва, оптимизма; писатель признавался, что здесь у него как бы не сходятся концы с концами: люди живут очень трудно, нарастают страх, террор, усиливается элитарный правящий слой, очень много лжи, смешанной с самоуверенными убеждениями в превосходстве над капитализмом,— и при этом многие люди довольны, готовы жизнь отдать за эту систему. Андре Жид делал из всего этого пессимистические выводы, другие же путешественники отступали перед «очевидностью».

В тяжкие минуты горьких сомнений Ромен Роллан заносит в дневник: «Главное впечатление, вынесенное мною из этого путешествия, связано с ощущением мощного прилива жизненных сил, молодости, плещущих через край... Невозможно поверить, что это единодушие продиктовано какой-нибудь инструкцией сверху...»

Правда, вслед за тем писатель углубляется в очень важные объяснения всего этого энтузиазма: «Скорее, можно было бы предположить, что все люди оказались во власти массового психоза, психоза надежды, радости и уверенности...». Позже Роллан осторожно возвращается к этой теме в связи с культом Сталина: «Может быть, как утверждают некоторые, он видит в этом средство для поддержания морального духа войск, гипнотизируя их своим изображением?»

Крупнейшие знатоки не ошибались: в основном они встречались с реальным энтузиазмом 1930-х годов; однако эта реальность тут же расширялась наблюдателем на все группы населения (А. Жид по крайней мере оговаривал, что он не видел крестьянской жизни); энтузиазм подозревался и в связи с такими политическими явлениями, которые на самом деле были элементами усиления тоталитарной диктатуры (процессы, террор). Попытка объяснить эту наивность тем, что высказываются писатели, а не профессиональные политики, причем очень недолго видевшие страну (Шоу — 9 дней, Уэллс — 15, Роллан и Фейхтвангер несколько больше),— все это легко оспаривается не меньшими, а порой и большими заблуждениями ряда профессиональных западных политиков, в течение многих месяцев занимавших видные посты в Москве. Редчайший, едва не одиозный пример — посол США в СССР Джозеф Дэвис, который в своей книге «Миссия в Москву» обнародовал московские дневники, где с полным доверием описываются открытые политические процессы 1936—1938 годов.

За исключением А. Жида остальные приезжие писатели специфического опыта и не имели, и в основном ориентировались на открытое общество либерально-демократического типа; хорошо знакомая им тамошняя дезинформация сильно отличалась от дурмана тоталитарных режимов. (Еще до того, как пуститься в путь, а также во время долгого переезда путешественники формировали стереотип своего будущего воспре-

ния на СССР.) Важнейшим элементом их революционного стереотипа были представления о событиях прошлого (заметим, совсем не столь далекого, каким оно кажется нам теперь): речь идет о французской, английской, американской и других революциях XVII—XIX веков; сверх того, для исторической аналогии использовались и античные образцы.

Бернард Шоу, выступая 11 октября 1938 года по радио, лихо сравнивал большевиков и создателей независимых Соединенных Штатов: Ленин — Джефферсон, Литвинов — Франклин, Луначарский — Пейн, Сталин — Гамильтон.

Чрезвычайно увлекался историческими параллелями Ромен Роллан. Он пишет о «России фараонов. И народ пел, строя для них пирамиды», затем — Древний Рим. Сталин соответствует, по мнению Роллана, древнеримскому императору Августу: «Август», как и полагается, чуть ли не с ненавистью оспорен и освистан не только врагами по партии, не разделяющими его мнения, но и теми, кто составлял гвардию «Антония — Троцкого», и солдатами «Цезаря — Ленина»... Еще более важны сравнения с деятелями Великой французской революции.

Итак, иностранный гость уже многое определил в Советской России, еще не ступив на ее землю.

Буквально с первых же шагов на советской территории начинается «обработка»: особо торжественная встреча на границе, а затем в столице (Шоу говорил, что его встречали, как «самого Карла Маркса»). Затем обычно убедительно опровергались разные глупости и крайности западной пропаганды, доводившие до абсурда некоторые реальные черты советской жизни. Шоу в обычном своем саркастическом духе, несколько заостряя ситуацию, рассказывал, как в Англии его предостерегали, что в России он «будет во власти Чека»: «Вы ничего не увидите, кроме того, что советские пожелают вам показать, вы увидите потемкинские деревни».

Уверенность путешественников, разглядевших через окна вагонов, что в стране нет никакого голода, не требует комментариев. Незнание русского языка приезжими увеличивает возможности определенного воздействия, а также изоляцию от «населения».

Недавно опубликованы материалы переводчицы Фейхтвангера, сотрудницы ВОКСа Д. Каравкиной.

На полях сохранившихся 12 ее отчетов зелеными чернилами отчеркнуты сведения, с точки зрения начальства положительные, «отрицательные» же факты (когда Фейхтвангер не поддается обработке) помечены черными чернилами. Так, 17 декабря 1936 года писатель жалуется переводчице, что первый открытый политический процесс (когда летом 1936 года были казнены Зиновьев, Каменев и другие) лишил Советский Союз двух третей сторонников.

3 января 1937 года секретарь-переводчик доносит о вредном влиянии на Фейхтвангера проникшей к нему Якимовой, которая поведала ему о жилищных трудностях. В тот же день Фейхтвангер спросил, «верно ли, что Пастернак в опале?» — и «рассказал антисоветский анекдот». На вопрос Каравкиной, от кого он это услышал, Фейхтвангер не ответил (впрочем, отмечено, что накануне, 2 января, он обедал, без переводчицы, у Ильфа и Петрова с Катаевым и Бабелем).

4 января с Фейхтвангером беседует заведующий Отделом ЦК Таль. Тема разговора — «демократия и свобода слова», Каравкина докладывает, что Таль Фейхтвангера не убедил.

Последняя информация, сообщенная Каравкиной,— слова Фейхтвангера: «Хотел бы посмотреть, как напечатают в СССР его вещь, в которой он бы изобразил нашу жизнь такой неуютной, какой она ему кажется, что, как ни прекрасно в Советском Союзе, он все же предпочитает жить в Европе».

О характере работы с приезжими многое говорят прелюбопытнейшие записи Ромена Роллана о Ягоде. «Ягода вызывает симпатию,— замечает Роллан.— Не хотелось бы ставить под сомнение то, что он утверждает. Но когда он заявляет, что в СССР отменена цензура писем и что свободно пропускают даже письма белых (он мягко сетует на то, что режим слишком либерален), задаешься вопросом, действительно ли он не знает, что происходит в его департаменте, или же считает нас наивными простаками. Как будто бы мы не знаем, что письма, адресованные нам и нашим друзьям, перлюстрируются и приходят распечатанными, с грубым и бессовестным штемпелем на конверте: «Извлечено из почтового ящика в поврежденном виде, конверт плохо заклеен!»

Главным же «обольстителем» приезжих писателей выступал, естественно, сам Сталин.

Бернард Шоу: «Сталин, лорд-протектор России, живет с семьей в трех комнатах... Часовой в Кремле, который спросил нас, кто мы такие, был единственным солдатом, которого я видел в России. Сталин играл свою роль с совершенством, принял нас как старых друзей и дал нам наговориться вволю, прежде чем скромно позволил себе высказаться».

Завершая тему «сталинских гостей», очень важно отметить, что все они принимали сторону Сталина в его борьбе с Троцким; исходили из того, что Троцкий — сторонник мировой революции, Сталин — за революцию в одной стране и, стало быть, с ним возможен более конструктивный диалог. Многие зловещие реалии сталинской внешней политики, его глобальные претензии для многих открылись лишь после пакта Молотов — Риббентроп в 1939 году.

Признавая несомненные «артистические дарования» Сталина, его отличную осведомленность и понимание, как надо говорить с собеседником, снова и снова повторим, что диктатор прекрасно эксплуатировал обеспокоенность западных интеллектуалов кризисом капитализма, наступлением фашизма.

Крупнейшим испытанием для западных гостей стали открытые политические процессы 1930-х годов. Большинство знаменитых западных путешественников, правда, побывало в СССР до того и реагировало на них уже из-за границы. Мы знаем о глубоком смущении Роллана, беспощадной критике Андре Жида. Уэллс писал (1939 год): «Как большинство людей, я был возмущен этими странными публичными процессами и казнями огромного числа профессиональных революционеров».

По-видимому, беседа со Сталиным и последующая обработка опрокинули почти все сомнения Фейхтвангера; вполне возможно, что именно «высочайший собеседник» или его помощники привели те резоны, которыми писатель аргументирует «подлинность» второго открытого процесса в январе 1937 года. Сегодня нелегко читать строки, которыми Фейхтвангер пытается убедить себя и читателей в невозможности фальсификации процесса и где каждое слово как раз говорит о подобной возможности: «Создавалось впечатление, будто обвиняемые, прокурор и судьи увлечены одинаковым, я чуть было не сказал спортивным, интересом — выяснить с максимальной точностью все проис-

шедшее». Фейхтвангер полагает, что если бы это была инсценировка, то был бы результат многолетних репетиций «выдающихся режиссеров или психологов».

Выводы ничего общего, естественно, не имеют с искусственными, произвольно сконструированными концепциями Шафаревича. Все приезжавшие (включая и Шоу, который, при всех парадоксах любви к тоталитаризму, на вопрос, почему он не остался в СССР, отвечал, что «в Англии ад, а его обязанность находиться в аду») — все были сторонниками либерализма, демократии, коллективизма западного образца.

Да, феномен «слепоты», восхищения ужасным, феномен антигуманных восторгов наблюдается у многих выдающихся деятелей западной культуры. Феномен был, но не абсолютный: мы наблюдаем и отрицание, и сопротивление, и сомнение.

Снова перечислим главные факторы обмана и самообмана: 1. Положение на Западе около 1930 года; 2. Определенный тип западного просвещенного сознания, склонного либерализировать и демократизировать любых собеседников, стараться рассматривать любую цивилизацию (пусть неприемлемую для Запада) как естественную, стремящегося к сопоставлению русской революции с английской, французской, американской; 3. Колоссальный энтузиазм, вера в Сталина и коммунизм значительного числа советских людей; 4. Аппарат дезинформации, идеологической обработки, умелой изоляции гостей от крестьянства, концлагерей и других миров горя, ужаса и террора. Беседы со Сталиным, открытые политические процессы также входят в эту огромную систему обмана...

Публикация *Ю. Мадоры-Эйдельман*

СОДЕРЖАНИЕ

Андре Жид

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ СССР

и Поправки к моему «Возвращению из СССР»

Лион Фейхтвангер

МОСКВА 1937

Отчет о поездке для моих друзей


СНАЙПЕР
РККА
МЕТРО
УДАРНИКУ ПОХОДА ИМ КАГАНОВИЧА


ВОЖДЬ
ВКП(б)
И. СТАЛИН


Готов
к
ПВХО


ГОТОВ К САНИТАРНОЙ ОБОРОНЕ СССР


ПОХОД
1935